

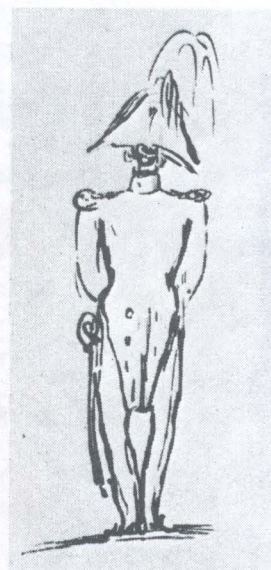
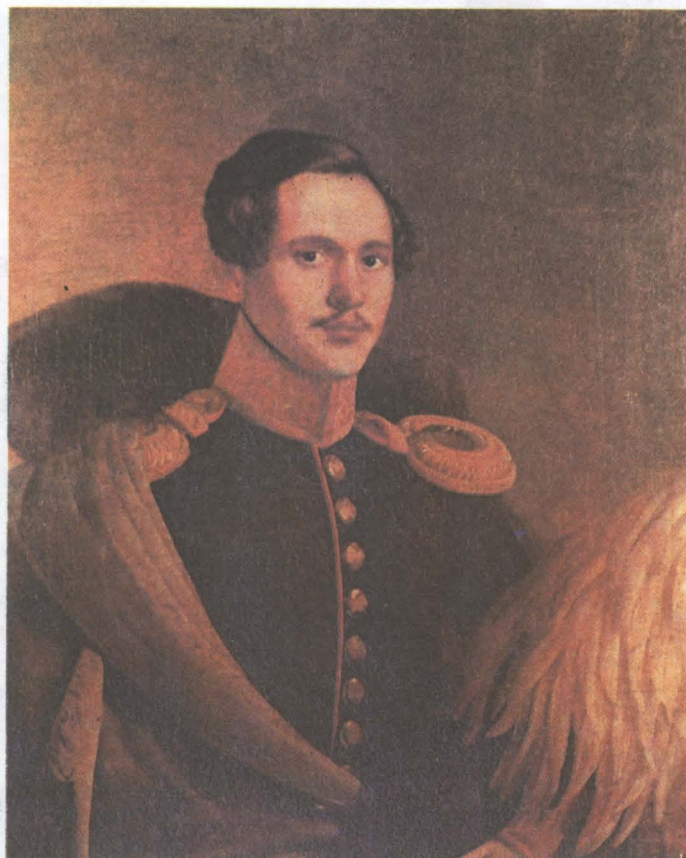
ЮНОСТЬ

10 '89





175 лет
со дня
рождения
Михаила Юрьевича
ЛЕРМОНТОВА



В центре — М. Ю. Лермонтов
в вицмундире
лейб-гвардии Гусарского полка.
Портрет работы
Ф. Будкина. 1834 г.



Рисунки поэта. 1830—1834 гг.
Дуэль.
Тройка, выезжающая из деревни.
Конногрендер.
Офицер.
Конь.

ЮНОСТЬ

10

'89



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Татьяна БОБРЫНИНА
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН
Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора).
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

Точка зрения

ВЛАДИМИР ТИХОНОВ: ЗЕМЛЮ — КРЕСТЬЯНАМ!

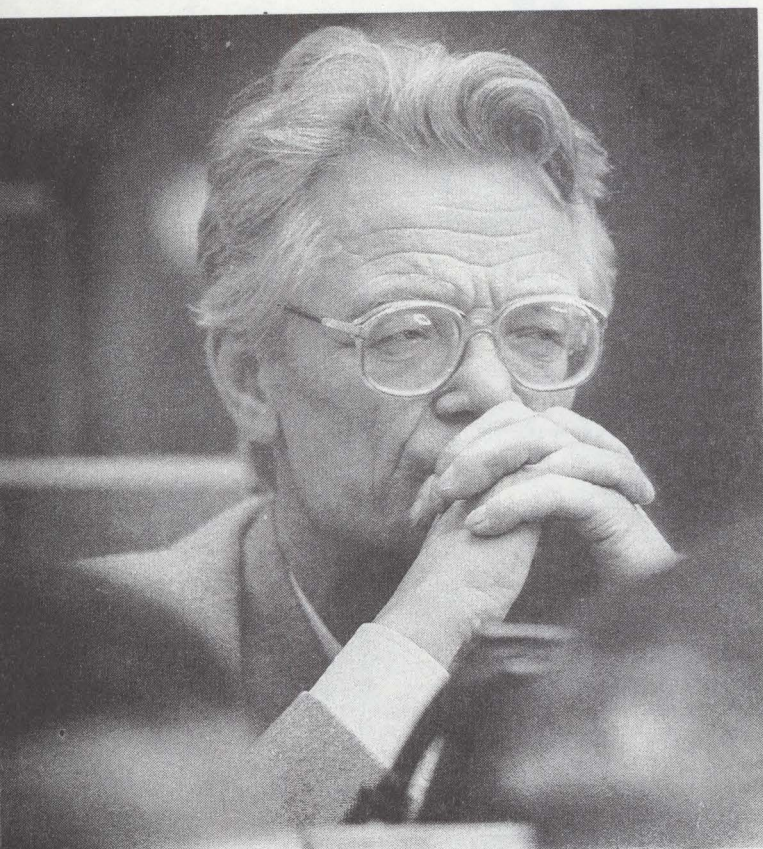


Фото Юрия Инякина

Народный депутат, академик ВАСХНИЛ, председатель Союза объединенных кооперативов СССР В. А. Тихонов представляет ту часть наших экономистов, которые считают, что без радикальных реформ выход из кризиса невозможен. Наш корреспондент Сергей Адамов попросил Владимира Александровича прокомментировать положение дел в сельском хозяйстве.

КОРР. В последнее время мы ожидаем от крупных партийно-государственных форумов каких-то чрезвычайно смелых, решительных действий, но все, как правило, ограничивается разочаровывающими полумерами. Не были исключениями ни Пленум ЦК КПСС по аграрным вопросам, ни Съезд народных депутатов. Как Вы это оцениваете?

В. ТИХОНОВ. Очень точно выразился по этому поводу один семидесятилетний крестьянин: «Не наголодались еще!»

Между тем ситуация с продовольствием в стране становится угрожающей. Я убежден, что если в этом году не будут проведены радикальные изменения в земледелии, то в следующем году нас ждет реальный голод. При 220 миллионах га пашни мы закупает ежегодно 40—45 млн. т зерна, 1,5 млн. т мяса, закупает даже картофель, которого выращиваем в шесть раз больше американцев. И не природа виновата в том, что восьмой год подряд у нас стабильно уменьшается физический объем продовольствия. Причины в политической ситуации, порождающей и поддерживающей административную систему. Правительство уже исчерпало все меры, которые можно предпринять при данной системе. Испытано все — укрупнения, разукрупнения, решения, постановления...

КОРР. Последние решения, связанные с внедрением аренды, наверное, выход из сложившейся ситуации?

В. ТИХОНОВ. Сейчас правительство полагает, что внедрение аренды внутри колхозов и совхозов и есть радикальные перемены. Это миф. Это иллюзия. Аренда земли и хозяйственная самостоятельность крестьян внутри колхозов неосуществимы. И расширяться эта система не будет. Нынешнее положение дел аналогично ситуации 1861—1863 годов. Крестьянину дали волю, но не дали землю. Землю оставили помещику. Современный «помещик» — председатель колхоза, директор совхоза — землю в аренду не даст, а если даст, то, как показывает практика, на совершенно грабительских условиях, на которых арендовать ее попросту нельзя. Ученые предлагают немедленно узаконить все формы землевладения. Но наши предложения остаются без внимания. Например, на Пленуме ЦК партии предложения «дорабатывались» в недрах аппарата, который и свел все к полумерам. А на Съезде среди народных депутатов-аграриев большей частью были председатели колхозов или ударники из передовых, а значит, крепких хозяйств. Крепкие колхозы держатся на сильных личностях, а не потому, что хороша колхозная система. По сути дела, даже самый именитый председатель не является хозяином своей земли. Райком, облизполком, обком, крайком... Всегда найдется нужное звено, которое может его вовремя поправить. Земля принадлежит не ему, а государству, и не все, увы, это понимают.

КОРР. Владимир Александрович, земельная реформа, разработанная эсерами, суть которой «Земля — крестьянам», первоначально устраивала всех. Как получилось, что мы отошли от нее? Может быть, история вопроса прояснит нам, почему мы не так охотно идем на радикальные перемены, на возвращение к лозунгу Октябрьской революции.

В. ТИХОНОВ. История такова. Эсеры представили так называемый «наказ 42-х», основанный на широком опросе крестьянских депутатов Учредительного собрания. Суть его была в том, что земля обращается в общенародное достояние и передается бесплатно тем, кто ее обрабатывает, без всякого выкупа. Ленин согласился на эту программу, справедливо полагая, что она точно отражает требования крестьян. Это было в 1917 году. Но в январе 1918-го в дополнение к известному Декрету о земле был издан менее известный закон о социализации земли, в котором к эсеровской программе добавлялся один существенный момент — вводилась плата за землю. Следующий этап земельных отношений — 1928 год. Совнарком разработал и утвердил положение о социалистическом земледелии. В нем было записано, что вся земля, будучи общенародным достоянием, является собственностью социалистического государства. Государство получило право давать землю, отбирать ее.

объединять крестьянские земли в единую запашку. Вот тогда-то и возникло в российской деревне понятие «выселки». Землю запахивали в единый колхозный клин, и тех, кто не хотел вступать в колхоз, вынуждали выселяться подальше от деревни.

Вскоре право государства распоряжаться землей было записано в Конституцию СССР. Это понадобилось Сталину для проведения сплошной коллективизации.

КОРР. Сейчас мы уже осознали, что у Сталина не было собственных социальных новаций. Он пользовался разработками теоретиков партии. Что было заложено в основу колхозного строительства?

В. ТИХОНОВ. Ленин до 1921 года был сторонником широкого использования системы государственно-монополистической экономики, то есть работы по единому народнохозяйственному плану, под жестким контролем государства. Последняя работа Ленина, в которой он это обосновал — о продовольственном налоге, — опубликована в июне 1921 года. Массу контролировать трудно, а объединив мелких товаропроизводителей в кооперативы, можно осуществить контроль, поставив под него эти кооперативы. Это ленинские идеи. Но дело в том, что к концу 1922 года он, больной, будучи изолированным от руководства партией и страной своими соратниками, пришел к выводу, что строим мы не тот социализм. А тот, который надо бы строить, к нему относились с усмешкой, называя его «торгашеской лавочкой». В работе «О кооперации» он писал, что теперь мы вынуждены переменить точку зрения на социализм. Истинный социализм — это строй цивилизованных кооператоров. То есть Ленин отказался от представлений, которые он вынашивал всю жизнь и которые оказались ошибочными. Но перемене точки зрения не суждено было состояться. Эту работу опубликовали малым тиражом только в сентябре 1923 года, а написана она 4–6 января. Перед выпуском брошюры по парторганизациям пустили письмо, в котором указывали, что написал эту статью человек больной и что публикуют они ее исключительно из глубокого уважения к автору. Но надо, дескать, учитывать состояние Ильича.

Соратники Ленина и не подумали отказаться от взглядов, которые они вместе вынашивали, — от госкапиталистической организации хозяйствования. Именно эту модель и приняли. Это послужило основой для принудительного объединения крестьян в так называемые колхозы, жесткого контроля и централизованного управления хозяйством со стороны государства.

Начиная с 1929 года — года «великого перелома», — начала массовой гражданской войны с крестьянством, которую затеял Сталин, мы лишили крестьянина самостоятельности. Мы превратили его в колхозника первоначально с чисто прикладной целью — изъять хлеб по низким ценам для продажи хлеба на внешний рынок. Экспорт сопровождался голодом российского населения, остающегося без зерна. Историки приводят разные цифры, отражающие число жертв голода тридцатых годов, — от 4 до 10 миллионов человек.

КОРР. Как же получилось, что эта форма управления крестьянством закрепилась и в экономике страны, и в нашем общественном сознании, коль скоро мы не можем отойти от колхозов?

В. ТИХОНОВ. Вы, вероятно, помните историю создания горнозаводской промышленности в России. Тогда Строгоновым, Демидовым и другим промышленникам отдавалась земля из государственной казны, на которой предприниматели строили железодобывательные заводы. К этим заводам приписывались крестьяне из окружающих деревень. Они назывались рабочими с наделом. То есть крестьянин работал бесплатно, но ему сохранялся земельный надел, который служил источником существования. Так вот, наш крестьянин в 1929–1933 годах превратился в такого приписного рабочего колхоза с собственным наделом. В колхозе он работал практически бесплатно, а необходимое продовольствие и деньги получал от личного подсобного хозяйства. Вот что сделали с крестьянином. Естественно, что крестьяне сопротивлялись — явно и неявно... И вот тогда прозвучала знаменитая речь Сталина 1932 года. Смысл ее состоял в том, что, мол, когда крестьянин был единоличником, мы могли ему только советовать, могли его только просить. А теперь единоличников нет, есть колхозы, нами организованные, и мы уже не имеем права пассивно относиться к колхозу, мы теперь ответственны за дела колхоза, значит, мы должны теперь управлять делами колхоза. Сталин говорил это, обращаясь к партийным органам, но это относилось и к советским органам. Функции управления хозяйством взяли на

себя местные власти. Земля формально закреплена за колхозом, но только госорганы могут устанавливать план, устанавливать, когда что сажать-убирать, они устанавливают цены. Крестьянин практически полностью лишен возможности самостоятельно хозяйствовать.

КОРР. То есть сначала лишили самостоятельности крестьянина, а потом и колхозы. И похоже, что мы до сих пор живем по указаниям товарища Сталина.

В. ТИХОНОВ. Точно. Нет его, но дело его живет.

КОРР. За четыре года положение дел в сельском хозяйстве, если судить по полкам магазинов, не только не улучшилось, но и подошло к критической черте. Почему?

В. ТИХОНОВ. Потому что требования о предоставлении хозяйственной самостоятельности крестьянину остаются лишь нерализуемыми лозунгами.

КОРР. В истории нашей страны есть пример, когда подобные лозунги были реализованы, я имею в виду нэп. Чем это обуславливалось?

В. ТИХОНОВ. Был введен рынок и рыночные отношения. Это принципиально важно. С 1918 года политика государства была направлена на ликвидацию рыночных отношений из-за господствовавшего в то время убеждения: рыночная экономика неизбежно приводит к расслоению общества и порождает мелкую буржуазию. Позднее из этого выросла политика «военного коммунизма». И была она не временной мерой, как мы говорим, а рассчитывалась на длительное время.

В 1921 году эта политика потерпела крах. Окончательным толчком к ее ликвидации послужило Кронштадтское восстание, где основным экономическим лозунгом был лозунг «свободы торговли» и отмена принудительного распределения продуктов и товаров. Правительство РСФСР было вынуждено признать политику «военного коммунизма» ошибочной, несостоятельной. Крестьянину было разрешено выращивать то, что он считал нужным, и свободно торговать продуктами своего труда.

Это было в 1921 году, нищенском для России, голодном. И голод этот во многом был искусственным, поскольку был запрещен межрегиональный обмен хлебом. Так вот, начиная с этого голодного года уже к 1923 году в результате замены продразверстки твердым налогом и введения рынка Россия не только заполнила свои хлебные закрома, но и сумела впервые за период с 1915 года выступить в качестве торговца хлебом на мировом рынке. 130 млн. пудов — сравнительно немного, но это была первая ласточка возрождения России как постоянного экспортера хлеба. И в период нэпа мы экспортировали хлеб, накармливая досыта свое собственное население. Возьмем, к примеру, то, что с года «великого перелома» у нас в постоянном дефиците, — мясо. Вот данные за 1926/27 хозяйственный год. Потребление мяса и сала в сельских районах от 39 до 43 кг на душу населения. При этом надо учесть деревенские традиции того времени — посты, желание продать мясо и т. д. Зато в городах потребление мяса составляло в семьях рабочих более 60 кг, а в семьях служащих — 68 кг. Это данные в среднем по стране. Обследования независимой статистики показывают, что потребление мяса в Москве, например, было выше 73 кг, в Иркутске доходило до 90, в отдельных промышленных районах — до 120 кг. Я хочу подчеркнуть, что в то время учитывалось только «красное» мясо. Мясо птицы в то время вообще не учитывалось, не говоря уже о субпродуктах. Наша статистика утверждает, что сейчас мы потребляем 64 кг, при этом в понятие «мясо» включается все, за исключением рогов и копыт, пуха и перьев.

КОРР. Уточните, пожалуйста, это цифры производства или потребления? У нас, как известно, существует огромная разница между тем, сколько мы производим и сколько попадает на стол. Потери гигантские. Я встречал в печати утверждение, что мы теряем — по разным причинам — ровно столько мяса, сколько нам не хватает.

В. ТИХОНОВ. Это цифры производства. Но дело в том, что у нас потребление мяса выводит из валового производства. Мои коллеги из Института США и Канады, считая по единой методике, пришли к выводу, что у нас ПРОИЗВОДСТВО мяса на душу населения не более 45 кг. По моим методам счета этот показатель колеблется от 47 до 52 кг.

Те цифры, которые я привел, говоря о нэпе, у многих вызывают сомнения, им не верят. Ведь получается, что в 1926 году страна питалась лучше, чем сейчас, когда существуют современные технологии, колоссальный технический парк и т. д.

КОРР. Это, как Вы уже сказали, результат того, что крестьянину было дано право самостоятельно хозяйствовать на земле. Но тогда исторические условия были отличными от сегодняшнего дня. Что необходимо сейчас делать, чтобы вернуть крестьянину самостоятельность?

В. ТИХОНОВ. Законодательно закрепить право крестьянина безраздельно владеть землей. Этим мы снимем с государства ответственность за результаты труда, она будет лежать на крестьянине. Но он тогда потребует: «Дайте мне право свободно торговать своей продукцией». И мы должны дать ему это право. Следующий шаг — лишить государственный аппарат права вмешиваться в дела крестьянина, сохраняя за ним только те функции, которые присущи ему как государству, — защита социальных прав потребителя и производителя, контроль за технологией, чтобы она не навредила ни потребителю, ни окружающей среде, и, наконец, взимание арендной платы и налогов по четко фиксированным ставкам.

КОРР. То, что Вы говорите, очевидно. Об этом мы говорим и применительно к другим отраслям хозяйства. Почему же за четыре года мы не можем пойти на эти действия? Неужели нам нужна опять ситуация 1921 года, богатого экстремальными событиями?

В. ТИХОНОВ. Я думаю, что здесь две причины. Первая — политическая. У нас государственно-монополистическая экономика. Монополизирована промышленность, монополизировано сельское хозяйство. Монополизм нуждается в соответствующей административной системе. 18 миллионов управленцев — реально существующие люди. Предоставьте крестьянину самостоятельность, превратите его в свободного арендатора, на чем будет основываться власть бюрократов? На политических лозунгах? Это очень ненадежная опора, и нынешние выборы показали, что там, где ослабились экономические основы власти бюрократов, ослабилась и их политическая позиция. Не всем это нравится. И материалы Пленума ЦК по сельскому хозяйству еще тогда показали, что существуют две позиции. Одна, четко выраженная в докладе Горбачева, состоит в том, чтобы предоставить крестьянину самостоятельность, сделать его свободным владельцем земли на основе ее аренды у государства. И обеспечить разнообразие форм хозяйствования. Вторая позиция, кажется, не отрицает арендных отношений, но ограничивает их рамками колхозов и совхозов. Это тупик, мы уже говорили об этом.

Вторая причина — общесоциального плана. Мы за 60 лет разрушили социальный тип крестьянина и создали что-то совершенно другое. Первоначально, как я говорил, крепостного рабочего с наделом. А теперь наемного рабочего с определенной гарантированной оплатой. Крестьянин знает, что, какими бы ни были результаты его труда, он получит свою зарплату, дающую ему возможность удовлетворять какие-то минимальные потребности. И крестьяне не хотят брать на себя риск получения доходов от неопределенных заранее результатов труда. Обследования, которые проводили мои сибирские коллеги, говорят о том, что примерно 20 процентов опрошенных ими крестьян с охотой готовы идти на аренду. Около 40% колеблются и могут качнуться в ту или иную сторону в зависимости от того, как пойдут дела. Но зато следующие 20% категорически против каких-либо изменений. И, наконец, оставшиеся 20% — это деревенский люмпен, люди, которые не работают сейчас и не будут работать ни при каких других условиях. Так что нам надо действовать решительней.

КОРР. Рассуждая о формах хозяйствования на земле, мы часто имеем в виду центральную часть России, но автоматически переносим разговор на всю территорию Советского Союза, хотя в разных республиках, регионах существовали разные формы землепользования, отличные между собой. Скажем, родовые пастбища в Средней Азии и хутора в Прибалтике. Теперь мы понимаем, что необходимо считаться с традициями народов. Не получится ли так, что и на этот раз мы будем стричь всех под одну гребенку?

В. ТИХОНОВ. В Литве один умный человек, которого я искренне и глубоко уважаю, в разговоре со мной об арендных отношениях сказал: «Владимир Александрович, представьте себе, что у вас был автомобиль, который потом у вас украли. Ваши поиски ни к чему не привели. Спустя какое-то время к вам приходит человек, укравший автомобиль, и предлагает вам взять его в аренду. Как вы на это посмотрите?» Дело в том, что литовский да и любой другой прибалтийский крестьянин до сих пор еще знает границы

земли, которая была собственностью его родителей. Он шагами может пройти по ней и показать ее вам. Но в то же время он готов платить за право хозяйствования на этой земле, не заключая никаких договоров. Ему важно знать, что эта земля провозглашена его собственностью и он вправе передавать ее по наследству своим сыновьям. Это принцип. А в каких формах он будет осуществлен — дело каждой республики.

КОРР. Мы часто сравниваем ход наших реформ с тем, что и как происходит в Китае. Там преобразования в аграрном секторе были куда радикальнее, чем в промышленности. И такое неравномерное развитие китайского нэпа, обусловленное политическими причинами, привело к июньским событиям. Может быть, лозунг «Земля — крестьянам» не берется у нас на вооружение, поскольку, вероятно, породит лозунг «Фабрики — рабочим». Возможен ли такой процесс?

В. ТИХОНОВ. Конечно. Даже просто система аренды земли без официального объявления денационализации в конечном итоге приведет к аренде основных средств производства. Тогда кооперативные и государственные предприятия сблизятся по статусу, станут народными предприятиями, а это будет означать практическую денационализацию, то есть изменение политической ситуации.

КОРР. Не приведет ли денационализация земли к обострению межнациональных отношений? В разные периоды истории многие земли принадлежали разным народам...

В. ТИХОНОВ. Национальные распри усиливаются. Их подогревает полуголодное, полунищесное существование большинства населения национальных окраин. Безработица, низкий уровень доходов. Усилится ли все это? Трудно ответить. Я думаю, что земельная реформа должна предполагать право республик, включая автономные, самостоятельно решать вопрос о форме землевладения в зависимости от местных традиций.

КОРР. Приходилось ли Вам обсуждать вопросы аграрной политики с М. С. Горбачевым? Кто сейчас составляет корпус консультантов по сельскому хозяйству?

В. ТИХОНОВ. Мне приходилось встречаться с Горбачевым, но не очень часто. Хотя материалы в Совмин и ЦК партии представляю значительно чаще. Там есть все материалы, которые составляют основы концепции, о которой я пытался вам рассказать. Что касается консультантов, то, по-моему, постоянных независимых, подчеркиваю — постоянных и независимых, консультантов нет. Есть постоянные, но не очень часто. Хотя материалы в штатном аппарате. Думается, что сейчас настало время, когда больше пользы могли бы принести консультанты постоянные, но независимые. Так как постоянство функций налагает на консультанта значительно больше ответственности, чем в том случае, когда его привлекают, если кто-либо захотел это сделать.

КОРР. Владимир Александрович, последний вопрос о Союзе объединенных кооперативов СССР. Какие цели ставит перед собой Союз?

В. ТИХОНОВ. Это прежде всего создание параллельной экономики, которая в конкурентной борьбе с существующей ныне помогла бы вылечить ее. Это и защита кооперации, в том числе от самой себя — от недобросовестных и случайных людей, ринувшихся в новую экономику ради наживы, защита от рэкета — бюрократического и уголовного. И, конечно же, помощь правительству в выработке стратегической концепции государственной политики в развитии кооперации.

Геннадий
ГОЛОВИН

ЧУЖАЯ СТОРОНА

Повесть

Он протолкался на улицу, уселся неподалеку от входа на чемодан и стал с внимательной тупостью глядеть на свинцовые с чернью снеговые облака, которые, как горы, вздымались, закрывая теперь уже полнеба.

Ни о чем не думал. Просто претерпевал тошную тоску, все еще ходуную в нем.

«По-одпись!» — время от времени думал он с интонацией всхлипа. — «Им по-одпись подавай!»

Не хотелось ни единого движения делать. Хотелось — вот тут — пересидеть жизнь.

— Какие проблемы, командир? — раздался рядом бодро-веселый голос. Чашкин поднял глаза и увидел того кучерявого, об которого давеча споткнулся возле справочной.

Тот по-прежнему был безмятежен, весел и улыбчив.

— Какие уж тут проблемы... — вяло отмахнулся Чашкин.

Парень привычно-легко уселся рядом на корточках.

— С 373-го?

— Чего «73-го»? — не понял Чашкин. Потом вспомнил: — А-а! С него, будь он не ладен!

— Тоже в Москву?

— Ну.

— Не горюй, командир! Как-нибудь улетим! — наугад успокоил парень. — Постой! А ты в очередь-то записался? — обеспокоенно спросил он вдруг, очень тронув, заметив, Чашкина этим беспокойством.

— В какую еще очередь? Мне сейчас только очереди не хватает!

Парень быстренько объяснил, что скоро обещали сформировать рейс на Москву, и все пассажиры с 373-го уже записываются в порядке живой очереди.

— Вон у той бабы, видишь?

Чашкин оглянулся. Действительно, какая-то шустрая чернявая бабенка, тесно окруженная народом, писала что-то в большие листы, разложенные на подоконнике.

— Давай-ка, батя, я и тебя запишу! — великодушно предложил кучерявый. — Я эту бабенку знаю — мы рядом летели. Паспорт есть?

Чашкин напрягся.

Парень с ходу догадался и расхохотался:

— Да не бойся! Мне твоя ксива ни к чему. Фамилию только надо, номер-серию... для билета.

— На! — согласился Чашкин и, достав бумажник, извлек паспорт.

Кучерявый переписал цифры на спичечный коробок и побегал в аэровокзал.

Чашкин видел, как он протолкался к бабенке, отбрасываясь от наседающих сзади людей, как стал что-то втолковывать ей. Потом Чашкин увидел, что он достает деньги.

— Зачем деньги давал? — строго спросил Чашкин, когда парень, оживленный, снова возник рядом.

— Не бери в голову, отец! Мне ведь тоже лететь. Я тебя, батя, впереди себя воткнул. Но-но! — вскричал от тут же, увидев, что Чашкин уязвленно-купеческим жестом полез за деньгами. — Не обижай, командир! Лучше, знаешь, что сделаем? Пойдем-ка пивка найдем! Ты — как?

Чашкин превосходительно усмехнулся:

— Пивка... Здесь и воды с-под крана не найдешь.

Парень засмеялся. Улыбка у него была совершенно обезоруживающая.

— Ха! Места надо знать! Я тут, батя, в прошлом году три месяца в командировке кантовался. Так что мал-мала знаю, где чего дают! Пошли?

Они пошли к стеклянному кубику, над которым немощно тлела надпись «Полет», и, едва вышли из-под стены аэровокзала, их тотчас прохватило лютым, совсем зимним ветром.

— Что без шапки-то? — сочувственно спросил Чашкин, заметив, что парень заметно поджался в коротенькой тощей курточке.

— Э-э! — храбрясь отвечал кучерявый. — Нам, людям Севера, ваши погоды — Сочи! Так... — продолжил он деловито, — постоя пока здесь. — Они подошли к заднему входу неосвещенного кафе. — Тебя как звать? Сейчас, дядя Ваня, все будет в лучшем виде! — И, окликая наугад какую-то тетю Машу, парень исчез за дверью.

С тревогой, отдаленной, смутной, Чашкин остался ждать, чувствуя совершенно необъяснимую словами ложь всего происходящего: на пронзительном ветру, в потемках незнакомого города, с чемоданом, он стоит почему-то и зачем-то у дверей закрытого кафе, ожидая...

— Гони трояк, дядя Ваня! — Весь аж сияя от деловитого азарта, парень выскочил снова. — Пиво, конечно, все выжрали! Но бутылочку мы с тобой, дядя Ваня, точно сгношим!

— Нужно ли? Бутылочку-то? — вяло воспротивился Чашкин. — Зачем?

— А со свиданьем! А со знакомством! — Против этого улыбчивого парня, положительно, устоять было невозможно. — Ты сам подумай! Ночь нам тут торчать? Торчать! Нет, конечно... — Тут он сделал обиженное лицо. — Если, конечно, не желашь... со мной...

— Да ты что, паря? — поспешно сказал Чашкин. — На! — И достал из нагрудного карманчика трешку из своих «расхожих», как он называл, денег.

Тот опять убежал и мигмом воротился, держа на газетке несколько окаменелых маленьких булочек, зачерствевшие ломтики сыра, сморщенное яблоко. За пазухой он держал и бутылку.

— Держи, дядя Ваня, стакан! Держи закуску! — тараторил он, когда они уселись на скамеечке против входа в аэропорт в голом, а летом-то, наверное, густом кустарничке. — Здесь менты бродят, так что давай по-быстренькому! Держи! — Он протянул Чашкину стакан, бутылку пряча за пазуху. Чашкину вдруг показалось, что бутылка уже была отпита.

— Давай ты первым! — сказал Чашкин.

— Не могу! Язва! — объяснил кучерявый. — Надо хоть что-нибудь в пасть кинуть. Не то так скрутит! Да ты пей, пей! — добавил он с нетерпением.

Чашкин выпил.

— Ну и вино у тебя... — сказал он, с отвращением морщась. — Из чего только делают?

— Вино как вино, — холодно и неприязненно сказал парень и громко выплюнул сырные крошки, которые пытался прожевать. И вдруг посмотрел на Чашкина взглядом, от которого тому стало не по себе.

— Ты чо это? — удивился Чашкин. — Ты, может, это?.. Но было поздно.

— А я ничего, дядечка, ничего... — услышал он издали голос парня. — А тебе вроде как не по себе?

— Ах ты гад какой! — грустно сказал Чашкин и начал крениться на кучерявого. В голове у Чашкина быстро густел чернющий дым. Ни рукой ни ногой пошевелить он не мог.

— А ты поспи, дядечка. Поспи, фраерок. — Это были последние слова, которые услышал Чашкин, намертво засыпая.

...Он почувствовал, что его трясут за плечо.

Потом услышал голос.

Потом понял, что это голос Анюты. Но проснуться все никак не мог.

— Вставай! Еле отыскала тебя! Бежим скорее! Я с 68-м договорилась! С хоккеистами сядешь!

Усилившись, Чашкин стал открывать веки.

— Ну да проснись же! — продолжала она трясти его. — Пьяный, что ли? Бежим скорее! Вместе с хоккеистами, я договорилась, полетишь!

— Ага! Да! Слышу я! — прохрипел Чашкин, вскочил и вдруг сразу же побежал, кренясь почему-то набок и потому — в сторону от аэропорта.

— Ты куда? Нам сюда! — услышал он голос Анюты и вдруг встал как вкопанный.

— Чемодан! — вскрикнул он и бросился назад в кусты.

Чемодана не было.

С обмирающим сердцем сунулся за пазуху. Бумажника тоже не было.

Быстро обшарил все оставшиеся карманы. Нигде ничего не было.

— Пойдем скорей! Посадка уже... — опадающим голосом, уже догадываясь, что произошло, сказала Анюта, подходя к нему.

— Ограбил!! — трясущимися губами сказал Чашкин, слезо глядя на женщину. — Все как есть подчистил! И деньги — пятьсот рублей было. И документы, и билет.

— Ох ты, господи! — воскликнула женщина. — В милицию надо! Ох, господи ты мой! И посадка ведь уже! А куда ж без документов? Ты посмотри, может, где-нибудь завалялся?

— В бумажнике паспорт-то был! — с отчаянием сказал Чашкин, все-таки еще раз обыскивая карманы.

Восемь копеек отыскал он в кармане пиджака и смятую телеграмму.

— Вот все мои теперь документы! — сказал он, горько рассмеявшись.

— Изосимова! — какая-то женщина подбежала, ухватила Анюту за рукав. — Срочно к Степанычу! Не слыхала, что ль, по радио выкрикали!

— Да погоди ты! — отвечала Анюта. — Человека, вишь ли, подчистую обокрали.

Та равнодушно отозвалась:

— Пусть в милицию идет... — и снова набросилась на Анюту: — Да беги же скорее! Он уже испиховался весь! Неохотно уступая женщине, которая влекла ее за рукав, Анюта торопливо говорила уходя:

— В милицию заяви, слышь? Где я тебе давеча показала — будь там. Я тебя разыщу! Слышишь?

— Слышу, — отвечал Чашкин. — Не глухой, слышу... — отвечал, с усилием сдерживая слезы.

— Будем искать!

Лейтенант закончил писать протокол и объявил это таким живо-бодрым голосом, что ясно было: если и будут искать, то хрен чего найдут.

— Отыщешь его... ветра в поле!

— Ну, это ты зря! Эй, Лихолитов!

Два милиционера в углу азартно играли в шашки. Один из них, самый молоденький, поднял голову.

— Глянь-ка в ориентировках, товарищ Лихолитов, кто у нас малинкой в последнее время балуется?

— Слушаюсь! — с шутливой готовностью отозвался молоденький и, с сожалением оглядываясь на доску, пошел к железному шкафу.

«Ах, милка моя, ягодка-малинка!» — напевал он там, перебирая и рассматривая бумаги.

— Пойду-ка я... — сказал Чашкин, с усилием поднимаясь из-за стола.

— Завтра начальство явится — далеко не уходи!

— Не могу я ждать до вашего завтра.

— Куда ж ты без документов, отец?!

— Не могу я до завтра. Мне — мать хоронить.

— Ну смотри... Только ведь, если найдем, будешь нужен!

— Найдете, как же... Пойду я. Спасибо.

— Не за что! — ответил лейтенант, и в ответе том явственно прозвучало «...баба с возу...».

— Пропадите вы все пропадом! — неизвестно к кому обращаясь, бормотал Чашкин плаксивым голосом, выбираясь из милиции на улицу. — Пропадом пропадите все!

— Пропадите пропадом! — продолжал он бубнить про себя и тогда, когда вместе с десятками других стоял возле решетки ограждения и рассматривал тех, кого удостоили доверием лететь первым рейсом в Москву.

Решетки ограждения образовывали подобие коридора. Коридор был жестоко и ясно высвечен ртутным светом прожекторов.

По обе стороны молчаливо и угрюмо толпились черные люди, и сквозь строй их недобрых взглядов шли и шли на летное поле самые достойные и самые проверенные из тех, кого ждала Москва в эти труднейшие, даже можно сказать, драматические, судьбоносные, можно сказать, дни.

Здесь шла небольшая — три человека — делегация местного обкома во главе с Самим, на лице которого сквозь маску неизбывной скорби, которую он носил вот уже целый день с сегодняшнего утра, отчетливо глядело и раздражение оттого, что из-за ремонта депутатской комнаты ему приходится идти вместе со всеми. («Народ и партия — едины, конечно, — читалось на этом лице, — но не до такой же степени, чтобы пихаться в общей очереди!») Два сопровождающих его лица — в одинаковых ратиновых пальто и одного рисунка мохеровых шарфах — изо всех сил старались оберечь шефа от соприкосновений с грубой толпой и руками изображали даже некие телохранительные движения, как бы некасаемо обнимающие туловище драгоценного сюзерена.

Здесь шла — в полном составе — хоккейная команда из Подмосквы, в очередной раз проигравшая свой очередной матч местной команде, однако не испытывавшая от этого никаких, судя по всему, огорчений: иностранно разодетые мальчишки с траченными постоянной усталостью лицами подхихкивали друг над другом, подпихивали друг друга, совсем детскими какими-то играми забавлялись: щелчками, тычками, подножками... — они наверняка не могли не знать о невосполнимой утрате, которая постигла и их и все прогрессивное человечество, но им (как и прогрессивному человечеству) начхать было на того, кто возлежал сейчас в Москве, в здании бывшего Дворянского собрания, хотя он, говорят, и был большой поклонник той игры, в которую они играли... — они были счастливы, что из-за траура следующая игра наверняка будет перенесена, их отпустят по домам, можно будет покружиться среди дворовых дружков и поддружек, побаловаться шампанским, а главное, всласть, до упора выпастаться, и в ожидании этого они, мальчишки, не могли не радоваться, хотя старший тренер, пожилой озабоченный еврей с роскошно-седой головой в дорогой серой дубленке, то и дело поглядывал на них с раздраженной укоризной, а на шедших позади обкомовских деятелей — с осторожной опаской и заранее извиняющейся улыбкой.

Здесь шли раскованной походочкой удачливых воров три молодчика, летевшие с Севера, где они наторговали на базарах казенными мандаринами столько, что могли купить бы не только три несчастных билета на дефицитный этот рейс,

но и все места в самолете, однако, хоть и чувствовалась в их повадке привычная хамоватая пренебрежительность ко всем, кто по ту сторону (прилавка ли, ограждения ли), хоть аккредитивы и купюры, хрустящие по карманам, и придавали им много вольготной уверенности в преодолении всех и всяческих препятствий, однако разговор вели они печальный, тревожный и растерянный, и вот, глядя на них, можно было и вправду подумать, что безвременный уход из жизни выдающегося разгуляй-экономиста, мелиоратора и профессионального борца за мир безмерно угнетает их, свертывает прямо-таки в безысходность. «Как жить дальше, дорогой? — казалось, вопрошали они друг у друга. — Без столь мудрого руководства как жить-то теперь?!» ...Впрочем, если б знать язык, на котором печально вздыхали эти мужественные люди, стало бы ясно, что огорчены они вероломным каким-то приятелем, который посчитал вдруг себя обиженным и в то время, когда они честно торговали казенными мандаринами в труднейших климатических условиях Крайнего Севера, развил недостойную мужины действительность, чреватую для каждого из них многими финансовыми (и не только финансовыми) бедами.

Здесь шла дородная женщина в норковой боярской шапке — местный совпроф, — жалко и жалобно оглядываясь то и дело, отыскивая в толпе Лешика, личного своего шофера, который так весело и легко распрощался с ней, с какой-то такой многосмысленной интонацией сказал: «Счастливо погулять в Москве!» Так беспечно и облегченно отвернувшись уходить, что у нее, пожилой женщины, сразу же грозно и грязно заклеблились подозрения, замелькали в воображении бесчисленные длинноногие сикушки с милловидными детскими личиками и проститутчьими глазами, — она часто их видела возле своей машины — возле машины своего Лешика, который, как и у многих женщин ее положения, был и за носильщика, и за слугу, и за шашлычника на пикниках и (так редко!) за партнера по постели, и она уже кляла себя за то, что решила ехать в Москву, хотя и знала, что не ехать было нельзя, ибо совсем еще не ясными выглядели выводы, к которым могла прийти ревизия, работавшая у них в октябре, а в такие дни, как эти — в дни смены власти, — любая двусмысленность в выводах комиссии могла обернуться ужасающей драмой.

Здесь шел очень печальный, очень малозаметный гражданин — техник-смотритель городского ЖЭКа, чье имя было одинаково хорошо известно и миру правоохранительных органов, и миру, прямо противоположному, причем и те и другие относились к нему с одинаковой уважительностью и опаской; он взял десять дней за свой счет, чтобы навестить больную сестру, и вот тоже летел в Москву, ибо срочно нужно было улаживать с нужными людьми неотложное дело, связанное с пальбой, которая затеялась вдруг на маковых плантациях в тишайших предгорьях Тянь-Шаня между застенчивыми провинциалами его команды и нахальными пришельцами какого-то доселе неизвестного московского Бати; эта стрельба (с применением легкого автоматического оружия и дважды гранат РГД) явно нарушала годами установившийся порядок, а он, техник-смотритель, всегда любил порядок, и потому печать печали лежала на его исхудалом лице, когда он шел по летному полю на самолет.

Здесь шли также:

известный в городе стоматолог-частник, чьими зубами жевало все высокое начальство в городе и которому нынче позарез нужно было в столицу «за материалом»; актер местного театра, которого неожиданно-негаданно пригласили вдруг на пробы в кино и который, конечно же, в лепешку расшибся, но добыл всеми правдами и неправдами билет на вожделенный рейс; шла жена местного военкома, решившая навестить наконец-то московскую свою подругу; шел застрявший по пьяному делу в Сибири сельскохозяйственный обозреватель центральной газеты, чье чудовищно опухшее, багровое лицо и оловянно вытаращенные глаза заметно выделяли его из окружающей толпы; шел местный промторг — иронично и весело глядящий перед собой — в нарочито неказистом пальто, смешного покроя собольей шапочке, со школьным портфельчиком под мышкой и в жутко стоптанных башмаках, один из богатейших людей губернии; шла сестра-хозяйка облизопомовского «гостевого дома» — молодая дама, весьма схожая и внешне, и походкой, и взором на недешевую шлюху, какой она, в сущности, никогда и не переставала быть со времен своей бурной юности; шел с заплаканным, нервно подергивающимся лицом ветеран легендарной 18-й армии, который добился биле-

та на самолет единственно лишь грубыми угрозами придать политическую окраску отказу лететь ему на похороны любимейшего своего комиссара, чью смерть он и в самом деле воспринял как катастрофу, поскольку только-только навострился по-настоящему складно излагать свои воспоминания о нем; шел здесь и деревенский знахарь-ведун, который излечивал, сказывали, все болезни на свете настоями таинственных таежных трав, приправленных для яркости экскрементами белой тундровой куропатки, и которого сверхсрочной телеграммой вызвали в Москву, на улицу Грановского к стопятидесятилетнему ветерану международного рабочего движения, который еще десять лет назад дал слово пережить всех и все, и международное рабочее движение в том числе...

...И еще очень многие шли, во многом подобные тем, о которых здесь сказано.

Среди шагающих к летному полю Чашкин, не слишком почему-то удивившись, заметил и Деркача Вячеслава Ивановича, директора.

Он шел наиболее из всех счастливый и радостный и посматривал вокруг так, словно бы ждал всеобщего восхищения по поводу события, случившегося в его жизни.

...А случилось с ним — как в самой бредовой из тех фантазий, которыми он тешил себя, сидючи долгими вечерами в гостевой комнате Дома приезжих в компании с бутылкой коньяку и синюшными буфетными котлетками...

Был звонок — тот самый, долго и мучительно жданный телефонный звонок.

Знакомый бурчливый голос, при звуках которого сердце Деркача тотчас скакануло и затрепыхалось под горлом, пронес с интонациями, как всегда, грубоватыми и отечески насмешливыми:

— Не надоело еще баклуши бить на курорте-то своем?

— О-о! — косноязычно и страстно воскликнул Вячеслав Иванович.

— Не желаешь ли в столицу сбежать денюха на три, а может, и на побольше? Не слышу ответа!

— Так ведь как прикажете, Игнатий Иванович! — нашел наконец слова Вячеслав Иванович, вспомнив, что Игнатий Иванович всегда любил в добрую минуту, чтобы ему ответствовали с интонациями как бы гоголевского чиновника, Добчинского какого-нибудь, Бобчинского.

— Ну вот теперь слышу. Есть мнение, Вячеслав Иванович, включить тебя как представителя от района в траурную делегацию области. Чтob к пяти часам был в приемной! Будет разговор.

А потом был разговор! И разговор был настолько приватный, что у Деркача нет-нет да и возникало ощущение сладостного кошмара. Сам говорил с ним на такие темы, с такой откровенностью и прямотой отзывался о вышестоящих лицах, что не могло быть сомнений: свершилось! Его, Вячеслава Ивановича, вновь возвращали из небытия!

Дело, ему порученное, казалось на первый взгляд простым и невинным. Нужно было походить в Москве по старым знакомым, оставшимся еще со времен того директорствования. Навестить — по делу, разумеется, — высоко вознесшихся земляков. Вообще потолкаться в сферах, Деркачу доступных, и попробовать уяснить одно-единственное: «Что впереди?»

Предполагалось, что грядет мужик крутехонький, и в таких обстоятельствах жизненно необходимо было знать, куда будет поворачиваться рулевое колесо, кому надо кадить, а на кого капать.

Почему выбор пал на свергнутого в ничтожество Деркача? Вячеслав-то Иванович, понятное дело, мнил, что из-за бесценных деловых его качеств. Вернее же было бы предположить, что здесь работал закон, действующий в крысиных стаях: в непонятно изменившихся обстоятельствах вождь всегда высылает на разведку больную крысу. «Если и пристукнут, то невелика потеря!»

Вот такой больной крысой и был Деркач.

Однако у Деркача (хотя он сам о себе этого не знал) было одно немаловажное преимущество перед многими: репутация человека, который был гоним при прежней администрации. И это тоже не упускал из виду Игнатий Иванович, посылая именно Вячеслава Ивановича в Москву. «Повернуть может по-всякому», — рассуждал Игнатий Иванович. Лишний козырь: «А кто тебя из деревни вытаскивал? Вспомни!» — в будущем вряд ли помешает.

Дабы миссия Вячеслава Ивановича протекала успешно,

вез он в багаже пять пар разного размера женских пимов (для жен, любовниц, дочек), четыре шапки из меха рыси производства промкомбината местной промышленности, каинистру спирта, настоящего на оленьих пантах (для двух высоких земляков, к которым впрямую с подарками соваться было рискованно, но которые от «мараловки» не должны были бы отказаться, поскольку и тот и другой недавно обженились на молоденьких своих секретаршах), для одного из знакомцев, страдавшего припадками сентиментальности, заготовлена была коробка конфет, выпущенных спецехом областной кондитерской фабрики, которые формой должны были напомнить ему о конфетах-подушечках времен его голодного босого детства и о которых, как было доподлинно известно, он не раз со слезой в глазу вспоминал.

Кроме того, вез Деркач и массу безделушек из нефрита для секретарш, фирменную, старинных рецептов водку (для мужиков попроще) и на всякий случай плотный конверт денег, врученный ему лично Игнатием Ивановичем с добродушно-свирепым наказом дать по возвращении отчет в каждой на каждую шлоху истраченной копейке.

Он шел в толпе счастливых со счастливым лицом и счастливо поглядывал по сторонам, и взгляд его нечаянно пал на Чашкина, который, вяло обвиснув на решетке ограждения, без всякого выражения рассматривал идущих к самолету.

Какая-то тень озабоченного воспоминания промелькнула на миг по лицу Вячеслава Ивановича. Но только тень. И только на миг. Незачем ему было вспоминать. Да и недосуг.

Чашкин поглядел еще немного и стал проталкиваться от забора.

Надо было что-то делать. Под лежачий камень вода не потечет. Но что надо делать, он не знал. Да и сил никаких не было после проклятой этой «малинки» что-то делать.

— А ты почему не улетел? — раздался вдруг рядом начальственный строгий бас. Сосед по самолету возвышался над Чашкиным. — У тебя же телеграмма.

— Ага, — кисло поморщился Чашкин. — Телеграмма, да не та... Им нужна смертная, а у меня оказалась, вишь ты, предсмертная!

— И что делать намерен?

— Ничо не намерен. Куковать намерен... Обокрали тут меня — вчистую! — и чемодан, и деньги-документы.

Тот даже крикнул от досады.

— Что же ты за валенок такой, прости господи!

— Да вот уж... такой...

— Что? Все деньги, до копы, украли?!

— Да не-е... хмыкнул вдруг Чашкин. — Загажник остался. В тренировочных четвертной был назначен. Вот он остался.

— Ну и что же ты сопли развесил?! — загромыхал сосед. — На четвертной билет ты и до Хабаровска можешь доехать!

— В Хабаровск мне не надо. Мне — в Москву. Мать хоронить надо, — тупо отозвался Чашкин. — Да только как теперь? Документов-то нет.

— На поезд, дурья башка, кто у тебя документы будет спрашивать? Собирайся! Я здесь приятеля встретил, поедешь с нами на вокзал.

— «Собирайся»... — иронически повторил Чашкин. — Мне собраться — только подпоясаться.

— Тем более! Следуй за мной!

Начальственный сосед пошел к аэровокзалу, а Чашкин на ватных ногах потелепался следом. Не было сил ногами ходить!

Когда наконец добрал Чашкин до входа в аэровокзал, начальник стоял уже с чемоданом и смотрел на Ивана гневно.

— У тебя что, с ногами не в порядке?

— В порядке... было. Этот дурью меня какой-то опоил, чтоб обокрасть-то. Вот и нет сил поэтому... Вы идите. Я до вокзала как-нибудь сам...

Человек, которого Чашкин не сразу и приметил в потемках, рассмеялся с восхищением:

— Вот это да! Вот это страсти-мордасти! Тлетворное, средневековое влияние Запада, я полагаю...

— Ну не скажи! — отозвался сосед. — Это почтенный сибирский способ грабить купцов на постоянных дворах. Так что не «тлетворное влияние», а напротив — «возрождение добрых старых традиций». Ну? Пойдем потихонечку? — обратился он к Чашкину.

И они пошли.

И опять, как и днем, когда покидал свое место на балконе, возникло у Чашкина чувство, что он совершает непоправимое. Здесь была надежда. Здесь была женщина по имени Анюта, которая не даст пропасть. А впереди?

А впереди был вокзал. И, как выяснилось вскоре, начальство здесь тоже шустило вовсю. В кассах требовали московскую прописку. По перрону бродили милицейские патрули.

Пришел поезд. Чашкина научили, что и как делать: вместо билета протянуть проводнице квадратиком сложенный четвертной.

Никому никогда не давал он взятку. Таким вот дурнем прожил. Были, конечно, моменты в жизни, когда нужно было дать, но он никогда не мог перебороть себя. Ему было стыдно за того человека, которому он должен «дать».

Ясное дело, что у него и на этот раз ничего не получилось.

Он походил вдоль вагонов, и выбор свой остановил на пожилой усталой женщине, которая ему больше всех понравилась. Однако не тем, чем требовалось, понравилась она ему. (Сам того не сознавая, он отыскивал по привычке человека почестнее и отыскал, как оказалось, точно.)

— А ну катись отсюда, поганец! — вскричала женщина, увидев протянутые деньги. — Хочешь, чтобы я милицию к тебе позвала?

И глянула на Чашкина так, что он мигом проникся: она и его причислила к тем бесчисленным прохвостам, которые почти совсем уже заполонили жизнь, от которых чем дальше, тем больше уже и житья не оставалось, к тем гаденышам, которые везде и всюду изо всех сил ползли-карабкались вверх, чтобы во всем быть не такими, как все, и которых она, честный человек, не могла не ненавидеть! Таких-то и Чашкин с трудом терпел. Тем язвительнее был стыд, которыми окатило его!

Поезд поплыл мимо. Чашкин стоял.

В дверях тамбура он вновь увидел ее. С державным флажком в руке монументально возвышалась она. Глянула на Чашкина — сверху вниз — с брезгливостью.

— Что? Опять не сел? — Сосед по самолету вновь возвысился над Чашкиным.

— Да вот... — промямлил тот. — Чего-то не умею, что ли?

— Не тушуйся! Мы тоже не сели! Мы тут, брат, вместо этого в ресторацию проникли. Но через час ташкентский будет, не тушуйся! В 21.30!

Чашкина вдруг ознобом изумления окатило. Половина десятого всего лишь! Всего лишь полдня прошло (а ему казалось, что месяц) с той минуты, как Антониди будила его: «Телеграмма!» Всего ничего прошло, а он в каком-то неведомом городе Н., на темном перроне, ждет ташкентский поезд, чтобы сесть зайцем...

Третий из их компании — сосед называл его Виктор — слегка пьяноватый и оттого оживленный, страшно деятельный, все время куда-то убежал, что-то разузнавал, прибежал, оживленно что-то рассказывал. Чашкин, однако, мало слышал: его дико клонило в сон. Он давно бы уже заснул, если бы не голодная тоска в животе. «Последний раз я ел сегодня утром, — вспомнил он, — да ведь и не поел толком!»

И когда он вспомнил об этом, вой в желудке стал совсем уж истощным.

Его замутило. Он успел отбежать в сторону и вырвал слякотной, дурно пахнущей слезью.

— Час от часу не легче! — недовольно сказал начальник-сосед, когда Чашкин с заплаканным лицом вернулся к скамейке.

— С утра ни крошки не ел...

— Не тушуйся! Дай только в поезд сесть. Мы с Виктором кой-чего припасли... — И вдруг грязно выругался: — Смотри!

На перрон один за другим вываливались парные патрули, расходились вдоль путей, вставали, как нетрудно было догадаться, там, где будет посадка в вагоны.

— Виктор! Посмотри, что они творят! — вскричал начальник своему приятелю, будто именно он и пригнал сюда милицию.

— Без паники! — заорал в ответ Виктор. — Последние три вагона наши! Точно! У них с начальником каждого поезда договоренка: последние три вагона не трогать! Сядем! По двадцатке!

Стали доставать деньги. Чашкин извлек свой заветный четвертной. Сдачи ни у кого не оказалось.

— Ладно! — пренебрежительно сказал начальник. — В Москве рассчитаемся.

Виктор оказался прав. Возле трех последних вагонов милиции вовсе не было.

Толпа штурмовала проводников. Проводники брали деньги и, как билеты, совали в кармашки планшетов, называя номер места.

Наконец и они ворвались в вагон.

— Шестое, седьмое, восьмое! — ликующе орал Виктор. — Забраться и затаиться!

Чашкин ездил в поезде последний раз лет пятнадцать назад. Но даже и ему показалось, что вагон этот подцепили где-нибудь на кладбище металлолома. Пластик на стенах был яростно ободран. Сквозь стекла ничего нельзя было разглядеть: настолько они грязны и закопчены были. Обрывки бумаги, консервные банки, бутылки, всякая прочая дрянь валялись в коридоре, вспученный линолеум которого напоминал волны. На потолке зияли ржавые разводы протечек.

— Ух ты! — мимоходом восхитился Виктор. — Чудо развитого социализма! — И стал рвать перекосившуюся дверь купе.

В купе на верхней полке, руки сложив на животе, спал человек в позе покойника.

Поезд тронулся.

— Ура! — шепотом крикнул Виктор. Сел на грязный матрац, облегченно вздохнул: — Неужели едем? Едем! Ну, теперь можно и отпраздновать!

Начальник сидел у окна и старался хоть что-то разглядеть за закопченным стеклом. Ничего не было видно. Одни только угрюмые медленные тени.

— Какая пакость! — сказал он вдруг с сильным чувством. — Какая все-таки пакость! Ве-ли-кая дер-жа-ва!

Виктор выкладывал на стол свертки. Добыл из-за пазухи бутылку с синей ресторанной печатью.

— Вот за нес-то мы сейчас и выпьем! — оживленно отозвался он. — За великую нашу, за неделимую нашу державушку! Благо и время для этого, и место для этого подходящие! А мы ведь так и не познакомились? — вспомнил он вдруг, взглянув на Чашкина, очарованно сидящего в уголке у двери. — Вас как звать-величать?

— Иван.

— Славное имя! А вот меня — Виктор. А вот того сердитого молодого человека — Иннокентий. Иннокентий, разумеется, Гаврилович...

Он стал открывать бутылку, и тут сосед, спящий на полке, вдруг с мукой в голосе застонал.

— Ого! — одобритительно отозвался Виктор. — Чутье у человека есть! Эй, сосед! — Он потолкал спящего. — Вставай ужинать! — Но тот, опять же со стоном, резко отвернулся к стене.

Виктор добыл из кармана ножичек, стал обстоятельно резать колбасу — тоненькими тщательными ломтиками. Чашкин не выдержал глядеть — резко бросился и схватил кусок хлеба, лежащий с краю. Стал быстро-быстро жевать, сладостно перемагая судороги в гортани. Виктор покосился, но ничего не сказал.

Чашкину стало стыдно. От стыда у него даже слезы закипели на глазах. Но не мог он ничего с собой поделать!

— Ну вот! Прошу к столу! — объявил наконец Виктор. — Вам! — Он протянул кружечку Чашкину. — Как гостю!

— Нет-нет-нет! — воскликнул в панике Чашкин.

Иннокентий, угрюмо до этого молчавший, вдруг заржал: — Го-го-го! Он теперь ученый! Он теперь ни в жисть первым пить не станет! Правда, Иван?

Чашкин смущенно захихикал: — Да не-е... Я бы поел сперва.

И не дожидаясь разрешения, опять стыдно-торопливым жестом цапнул со стола кусок хлеба.

— Господи! — сказал в сердцах Иннокентий. — Господи! Господи! Господи! — Взял кружку, отчетливо выпил, крякнув.

Затем выпил и Виктор.

— Ну? А теперь? — протянул он кружку Ивану.

Чашкин выпил и мгновенно понял, что не надо было бы пить. Его сразу повело. Протянул руку за кусочком колбасы (давно не пробовал колбасы) и промахнулся!

— Да ты поближе сядь!

Он попробовал пододвинуться и вдруг упал головой в воюющий в желтых разводах матрац.

— Эк тебя развезло!

Чашкин с трудом приподнял голову и все-таки до колбасы дотянулся. Сунул в рот и опять упал. «Больно уж тоненько нарезал», — с укоризной подумал он и задремал.

— ...на краю! — услышал он сквозь мелкий сон голоса соседей. — Год-два, не больше. Работать никто не хочет, да и разучились работать. Вот пить зато научились, как никто в мире...

— Научили!

— Способные, стало быть, ученички оказались! Ты наш завод знаешь — 24 тысячи. Так вот: ежедневно четыре тысячи прогулов!

— По стране, слышал, 15 миллионов.

— Можно ли так жить? Имеем ли право?! Нефть-газ — на Запад. Лес — на Запад! Только ведь этим живем. Мы, милый ты мой, уже сырьевой придаток, а никакая там не великая держава! Колония мы вшивая, которая громкими словесами пытается нищету свою прикрыть!

— Только слепой может не видеть. Для начала разрушили. Посеяли ералаш несусветный во всем: в экономике, в науке, в морали. Довели до грани голода — уже, считай, довели! — уже, считай, целое поколение выросло, которое колбасу за роскошь считает, а карточки — за обычное дело. А теперь, когда довели до ручки, жди: явятся к нам благодетели! Концессии, займы, совместные предприятия... Сибирь, Дальний Восток — япошкам? — пожалуйста! Мурман, Север — англичанам и разным прочим шведам? — будьте любезны! Без единого, заметь, выстрела! Зато завалят нас колбасой, которую они не жрут! Завалят барахлом, от которого затоварились! И ошачливенный наш народ громкие, проникновенные гимны воспоеет благодетелям-завоевателям!

«Как сладко говорит! — думал Чашкин сквозь сон. — Так говорит, будто бы даже радуется тому, о чем говорит! Как будто ему хорошо оттого, что плохо. А ведь прав: плохо, куда как плохо!»

— Это ж старинный рецепт: «Чем хуже, тем лучше!» Главное-то в чем? Поручить, разбить, рассорить, растоптать! Эта страна у них — как кость в горле. Остальных уже сожрали. Еще, пожалуй, Индия... В идеале им что нужно? Наверху — элита. Ниже — сытое быдло. И чтоб — никакой души! никаких идеалов! Нароботался, нажрался, поглазель в ящик — и спи, не дергайся!

Тут спящий на верхней полке вновь протестующе застонал.

— Этот еще дергается...

— И все-таки — уверен! — ничего у них не выйдет! Есть народ. Есть мудрость народная. Есть народный инстинкт самосохранения!

— Но молодежь. Наше поколение они не одолеют наверняка! Но молодежь-то они уже и сейчас убивают! Что в школе творится, ты ведь знаешь...

— Метод, конечно, гениальный. Гениально простой: любовь, самую разумную мысль, любое разумное суждение, идею доводить до нелепицы, до абсурда...

— Все жду, когда же наконец кто-то крикнет во весь голос: «Измена!» Жду и, ты знаешь, боюсь. На фронте не было ничего страшнее, когда кто-то вдруг кричал: «Измена!» Кровь прольется, много крови.

«Во! — усмехнулся сквозь сон Чашкин. — Уже до шпионов договорились. Молодцы ребята!»

— Не знаю... Может, и измена. Но вероятнее всего другое: виновата сама система. Порок в ней самой. Она не может не быть ориентированной на саморазрушение, если в основе ее выдвижение к власти не самых достойных, не самых порядочных, не самых принципиальных! Какая система может долго функционировать на такой основе? Нарушен — в самой своей сути — основной закон природы — закон отбора наиболее достойных! Система перевернута! — вот в чем дело. Кто сейчас, как правило, всплывает вверх? Дерьмо или пустышка. А самое ценное, самое самородное, самое творческое внизу! Человек партийный, скажи: кто сейчас стоит в тысячных очередях на вступление? Тот, кому это необходимо для карьеры, для движения вверх по ступенькам. У кого, скажи, больше шансов подняться по служебной лестнице? У того, кто говорит правду? У того, кто жаждет истины? Или — у того, кто умеет задницу лизать начальству, кто умеет с каждой глупостью, изреченной начальством, согласиться восторженно! — чтобы потом, когда и он наконец овладеет властью, ему задницу лизали, с любовью его глупостью восторженно соглашались?

«А главное, что работает никто не хочет...» подумал Чашкин. — Каждый в начальники рвется. Каждый норовит

без очереди. Каждый норовит быть не таким, как все, жить не так, как все...

Вагон вдруг начал дико вихляться, забренчал всеми своими разболтанными суставами, затрясся, как в припадочной дрожи.

Чашкин испуганно сел.

— О-о! — приветственно воскликнул Виктор. — Вовремя проснулся! Сейчас наш слипинг-кар начнет разваливаться на части. Эту минуту должно встретить по-мужски. Как вы думаете, Иннокентий Гаврилович?

— Думаю, что, — лаконично согласился тот.

Виктор взялся за полуопустевшую бутылку.

— Мне не надо бы... — вяло сказал Чашкин.

— Надо. На этом вибростенде без этого не уснуть!

— Вот вы здесь говорили «они», «они»... — удивляясь собственной смелости, спросил Чашкин. — Кто это «они»?

— Они, — кратко ответил Иннокентий.

— Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаия... — непонятно объяснил Виктор.

— «Они» — это те, кому мы позволили сесть себе на шею и кого везем сейчас, грязно при этом ругаясь.

— Кое-кого из них ты видел сегодня. Их в отличие от нас в Москву пустили.

— Ладно, — сказал Чашкин, от напряжения утомившись. — Ясно, что ничего не ясно, — и выпил предложенную ему кружечку.

Должно быть, спиртное входило в какую-то таинственную реакцию с «малинкой»: Чашкина опять вдруг мгновенно покосило, и он обессиленно ткнулся лицом в вонючий матрац.

«Гад! — подумал он о Викторе. — Ведь говорил же тебе, не надо мне!» — и опять стал бултыхаться в мелководье непрочного, мучительного своей неопределенностью сна.

— Говорят, что на стульчаке загнулся «выдающийся» наш. Может, и не так. Да наверняка не так! Но я вот о чем думаю: до какого же отвращения к своей персоне нужно было довести православных, чтобы они ему такую унижительную смерть сочинили!

— Да уж, довели, это точно... Всю Россию довели. Был Иван Грозный. Будет Иван-дурак. К этому и ведут.

— Сами виноваты, что именно «ведут». Как корову — на живодерню. А мы идем!

— Не люблю я этого «сами виноваты»... Ну, скажи, а что может вот этот наш Иван? А мы с тобой что можем? Если честно?

— Приехали! Значит, будем ждать нового «выдающегося»! Будем ждать, хныкать, фиги в кармане делать и надеяться! Все! Спать пора! Хватит!

— Насчет «спать» ты прав. А относительно другого вряд ли. Нужно думать всем вместе. Много. Так, как никогда еще не думали. Много. В каждом доме. Засыпая, просыпаясь. Всем вместе. Думать об одном! И вот тогда...

— Оптимист ты, однако.

— А что останется? Не вешаться же?

Они умолкли.

Чашкин тоже потихоньку погрузился в сон.

Станный это был сон: какой-то тихий, проникновенный вопль тоски, который слагался и из заунывного стука колес, и из ощущения себя униженным, оскорбленным, бессильным, поправленным, скрюченным во сне в загаженном этом вагоне при свете гаденкой желтенькой лампочки под потолком, и из внятного знания, что вокруг — ночь, что вокруг — бескрайнее убогие преддверия поля, бедная его Родина. А над головой стонет во сне человек. А за стенкой вагона — тоска, российская железнодорожная тоска без конца и без края...

И траурные мелодии, которые без устали все лились и лились из всех репродукторов страны, меньше всего имели отношение к тому, кто все так же невозмутимо и прилежно возлежал в пустом полутемном тихом зале в гробу, напоминающем цветочную клумбу, в которую, казалось, он погружается все глубже и глубже, так что одни только стеариново-грязные, хоть и подмрумяненные скулы, заостряющийся нос и как бы отдельно возложенные густые брови выглядывали наружу. Траурные мелодии звучали не по этому человеку, они звучали о стране, казалось, о народе, которые вот

этот господин, по-настоящему одаренный лишь одним умением — умением лавировать, высказываться, оставаться всегда на плаву, своей бездарностью, упрямым безволием и безграмотностью довел до тихого краха, милостиво позволяя себе подобным править угодное им (и ему) право, жестоко, хотя и без особой крови, побивая всякого, кто не был подобен им (и ему) или по крайней мере не желал делать вид, что подобен... Эти мелодии, за день угнездившись в каждом, казалось, закоулке чашкинской памяти, продолжали звучать Ивану и сейчас, во сне. Они все звучали, звучали, и казалось Чашкину, что скорбь этой унылой музыки — о нем.

Вячеслав Иванович Деркач, прислонившись головой к стенке такси, тоже подремывал в этот час, помурлыкивая про себя те же самые траурные марши Шопена. Однако поскольку настроение его по-прежнему было далеко от скорбного, то мурлыкал он их на развеселые слова, которые не вспоминались со студенческих лет. «Умер наш дядя, — мурлыкал Деркач, — очень жалко нам его! Нам он в наследство не оставил ничего! А тетя хохотала, когда она узнала, что дядя нам в наследство не оставил ничего!»

Он похмыкивал, воображая в истерике бьющуюся невдомому тетю, и, одновременно же, с наслаждением думал о том, как привычно расположится в гостиничном люксе, вскипятит чашек, потом вытянется на кровати под крахмальными скользкими простынями, самую малость поспит, а с утра — сядет на телефон!

У него слегка даже взбултыхивало сердце, когда он думал о том, что ему предстоит. Тревожно взбултыхивало сердце, но и радостно.

«Ах, голубчик! — с нежностью думал он о вельможном покойнике. — Какой ты умница, что наконец-то помер и освободил местечко, и начнется из-за этого великая катавасия, перетасовка вселенская, суeta, смута! Если бы не ты, ничем бы мне не выбраться, ничем!»

С недоумением и весельем оглянулся он памятью и не поверил себе: «Неужели заброшенный тот поселочек, паршивенькая та фабрика, сидения с бутылкой наедине, безнадёга — неужели все это было? Еще этим утром — было?»

«Ну, теперь-то уж все! — свирепо-весело сказал он себе. — Никогда не вернусь я туда! Буду землю грызть! Буду руки целовать. Буду кадыки зубами рвать! Но никогда не возвращусь я туда!»

Тут смутно вспомнилась ему Люба, и он неуверенно подумал, а не взять ли и ее с собой на новое место. Верную секретаршу хорошо воспитывать из таких вот — неизбалованных, всем тебе обязанных. Но тут же поморщился: «Незачем!»

И ровным счетом ничего не значит — ни для него, ни для нее, — что, не сдержав радости после звонка, обнял он ее сегодня утром и, вдруг почуввав, как преданно прижалась она к нему, жадно вдруг задышавшая, задрожавшая... короче, перепихнулись они тут же, на скользком клеенчатом диванчике его кабинета... Ни он, ни она тем более никакого удовольствия не получили — мудрено было бы получить, когда в коридоре уже собираются на планерку, а здесь — колготки, толстые рейтузы, кальсоны, просты господи!.. Ладно! Такого добра он и на новом месте найдет, хотя... хотя, как ни крути, а в предбаннике человек должен сидеть преданный, а преданных делают из таких, как Люба, облагодетельствованных, тобой осчастливленных. «Может, все-таки взять?..» — снова подумал Деркач и тотчас поймал себя на том, что он аж плавает в самодовольстве, размышляя так и о таких деталях будущего номенклатурного своего быта.

Совершенно, конечно, не ведая, что за тысячу верст от поселка кто-то вспоминает о ней и даже решает за нее ее судьбу, спала в родительском доме на строгой девичьей кровати под портретом Валерия Леонтьева и девушка Люба, которой ничего не снилось в этот поздний час, кроме ощущения покоя и освобождения, которые она остро и свежо слышала в себе весь этот день — с нынешнего утра.

О том, что произошло между ней и Деркачом в кабинете, она вспоминала со смехом: «Как воробей на воробьюху — прыг! Тыр-тыр! И — чирик-чирик!»

И вовсе не от этого испытывала она чувство покоя и свободы. Теперь она была уверена, что уже не будет больше мучиться своими от всех потасовками (и потому как бы даже стыдными) сжутированными наваждениями ожида-

ния запаха — наваждениями, которые уже стали пугать ее своей странностью и мгновенным, словно бы даже наркотическим, обезволивающим действием. Она ведь и прильнула-то к Деркачу в то утро не за тем, о чем он подумал, а затем, чтобы вплотную наконец надышаться, удышаться заморским тем дурманом и — освободиться наконец! И вот теперь она была уверена, что — свободна, и потому спала с ощущением легкости, покоя, тихого веселья — молодая, освобожденная.

А за четыреста километров от Чашкина, в темном подмосковном домике, чуть освещенная пламенем толстой свечи, при свете которой старушка, водрузив на нос очки, читала псалтырь, — покоилась в вечном сне и матушка Ивана Чашкина, и казалось, глядя на нее, что это не сон, а спокойное важное ожидание того мига, когда придут к ее изголовью милые ей люди и скажут последние «прости».

Чуть заметно колебался пламень свечи от неслышных сквозняков. Пахло увядающими цветами. И старая женщина, стоически перебарывая дремоту, быстро проговаривала, обращаясь неведомо к кому, древние темные словеса спасительных молитв.

— А-а-а! — закричал человек, спавший на верхней полке. Свесил вниз голову, безумными глазами оглядел спящих и вновь, как в последнем отчаянии, опрокинулся в сон.

Чашкин от крика этого проснулся с гулко заколотившимся сердцем. Не сразу и сообразил, отчего проснулся.

Вагон по-прежнему злобно и яростно бросало из стороны в сторону. Чудом казалось, что его еще не сорвало с рельсов.

Чашкин поднялся и пошел на поиски туалета.

При ночном освещении вагон еще определеннее напоминал зловещую трущобу.

Дверь в туалет была заперта. Чашкин подергался, осторожно постучал, стал терпеливо ждать.

Через некоторое время ему стало невозможно ждать, и он дернул дверь к проводнику — спросить...

Два человека в милицмейской форме, проводник и какой-то железнодорожный начальник в форменной фуражке, с красной повязкой на рукаве раскладывали по столу деньги и билеты.

Билеты лежали пренебрежительно отдельной грудой. Деньги — их, было видно, распределяли — разложены были в неравномерные кучки.

Нетрудно было догадаться Чашкину, что здесь происходит.

Он прятался от дверей и быстро пошел, почти побежал по коридору.

— Стой! — почти тотчас услышал он за спиной и остановился в покорном ужасе.

— Из какого купе? — спрашивал, подходя, молодой милиционер с радостным, жестоким и азартным выражением охотника, наступившего добычу.

— Тут где-то... — промямлил Чашкин. — Не помню точно... — Он боялся навредить своим попутчикам.

— Ну-ка, зайдем! — И милиционер повел Чашкина, цепко ухватив за рукав назад, в купе проводников.

Ни денег, ни билетов на столике уже не было. Все трое воззрились на Ивана, страстно изучая.

— Этот — на каком месте? — спросил милиционер у проводника.

Проводник изобразил на лунообразном лице недоумение: — Не знай такой. Первый раз вижу. Может, трупой вагон?

С Чашкиным что-то стряслось. Его вдруг ударило в дрожь от вида этой наглой, лоснящейся рожи. И, затрясшись, он с дикой ненавистью вдруг вскричал, пытаясь дорваться до проводника:

— Ах ты! Первый раз, гад, видишь?! И двадцать рублей моих — тоже не видел?! Суч-чара! Удавлю!

— Совсем пальной... — сокрушенно закачал головой проводник. — Пальница нада...

— А тебя — в тюрьму надо! Думаешь, не видел, чем ты тут занимаешься?

— Пальница нада... — продолжал качать головой проводник. — Совсем пальной.

— А сейчас как раз остановка будет, — бодро-весело сказал сидящий милиционер.

— Горохов Яр... — солидно подтвердил пожилой начальник поезда.

— Ах вы, гады!! — возорал тут Чашкин на всех вместе. — Вы тут одна шайка-лейка! Бандюги! Пользуетесь тем, что...

— Ну, хватит, батя! — сурово сказал державший Чашкина милиционер, сгибом локтя придавливая ему горло. Чашкин захрипел, но дергаться продолжал.

Поезд стал тормозить, два милиционера сноровисто, с удовольствием даже, потащили Чашкина в тамбур.

Трехгранкой один из них отворил дверь, и они стали ждать, когда поезд остановится.

Поезд остановился, но они еще малость помедлили. Дождались, когда состав снова дернется, и только тогда — «А ну-ка, давай!» — толчком в спину и коленом под зад — со смехом вышвырнули Чашкина из вагона.

Он пал на колени, но тотчас вскочил, чтобы прокричать им:

— Гаденыши! Паскуды!

— Пальница иди! — крикнул один из них со смехом.

— Совсем пальной! — добавил второй.

Чашкин нагнулся, пошарил по земле и с хорошим круглым булыжником в руке побежал за поездом, стараясь поравняться с тамбуром.

С выражением на лицах самой неподдельной торопливой трусости они, суетсяя и мешая друг другу, стали захлопывать дверь тамбура.

— А-а! — торжествуя захохотал Чашкин и кинул.

К сожалению, промахнулся.

— А-а! — закричал он еще раз, но уже с интонацией несостоявшегося мщения.

А затем в третий раз прокричал: «А-а-а!» — теперь-то уже с досадливыми нотами смертельно раненного человека.

Последний вагон увихлял вдаль.

С неимоверным трудом, чудом каким-то удержался Чашкин, чтобы не броситься на четвереньки и не начать грызть в бессильной злобе рельсы, по которым умчал поезд.

Непроглядно темны были небеса над головой, мрачно-черна земля.

Чашкин шел, на ощупь отыскивая ногами колею дороги, и слепо отверстыми глазами страстно глядел вперед, ничего почти не видя, кроме кратенькой грустно-желтенькой цепочки огоньков, слабо посверкивавших на краю горизонта.

Он шел без всякой надежды — просто нужно было куда-то идти — и временами словно бы пропадал, словно бы срывался в густую вязкую тьму сна — не сна, обморока — не обморока, во тьму, которая была еще непрогляднее, нежелая ночь, которая окружала его.

— Катюха! — временами постанывал он в голос. — Катюха!

Ему почему-то именно перед дочкой было стыдно за то унижение, которому он подвергся.

Но и, надо сказать, какую-то ехидную усладу одновременно же чувствовал он в себе — от того, что вытворяет с ним жизнь. Он слышал, впрочем, и то, что обиды, и стыд, и оскорбления, переносимые им, еще вполне терпимы. Русский человек, он ощущал в себе достаточное еще вместилище и для нового страдания, и для нового холода, и для новых обид, хотя страдал он уже по-настоящему, и было ему холодно по-настоящему, и обидно по-настоящему. Странное испытательское любопытство легонько пошевеливалось в нем: «Сколько же еще можно? Неужели еще можно?!» — и с бродяжьей этой отвагой в душе легче почему-то было идти во тьме по дороге, хотя он вовсе и не знал, куда ведет эта дорога и по этой ли дороге нужно ему идти.

Наконец дорога стала заметно тянуть вверх, и Чашкин с облегчением различил чуть засветлевшее вокруг полотнище неба и зазубренную кромку леса, который окружал дорогу и от которого такая кромешная царила вокруг Чашкина темень. Сейчас лес как бы отступал — вниз и в края.

На полевом просторе заметно зябко потянуло ветром. Но терпеть еще было можно.

С восхищенной радостью Чашкин подумал о том, какой он молодец, что догадался подождать под брюки еще и шерстяные тренировочные штаны. Дрянь-пальтецо, правда, ветерком уже пробивало, но если крепко зажаться локтями, поднять воротник, потеснее запахнуть шарф, — терпеть было можно.

Можно было еще терпеть! — и Чашкин, малость приободренный поредевшим мраком вокруг, шагал как хорошо

заведенный, бережно и прилежно следя в себе эту едва теплящуюся искорку бодрости и веры.

Мысли возникали кратенькие. Даже и не мысли это были, так, беглые картинки прошедшего дня. И, странное дело, сейчас он уже не слышал в себе такой же горячей, ядовитой обиды, как совсем еще недавно.

«Они не виноваты!» — косноязычно вырвал он наконец из себя, как бы вслепую, на ощупь пошарив в словесных потемках.

«Они не виноваты!» — сказал он, и ему стало почему-то ужасно легко от этой мысли, хотя он и не сумел бы внятно ответить, о чем именно эта мысль.

Он помнил странное, кошмаром отдающее ощущение, которое не единожды за этот день посещало его. Ему постоянно сегодня чудилось, что за некоторое время до него, Чашкина, этой же дорогой (не той, по которой он шел сейчас), этими же местами прошел какой-то неведомый ему пакостник, лжец, хитрец, подлая какая-то гадина и так напакостил, так нагадил, такое отвращение к себе посеял, что люди (не сразу-то и спохватившись) все то, что готовы были по справедливости излить на того пакостника и гаденыша, принялись наугад изливать на кого попало — и друг на друга изливать, и на Чашкина, коли он тут оказался. Чем он лучше других?

Мутно, неумело размышлял Чашкин.

«Они не виноваты!» — за эти слова он ухватился как за спасательный, спасительный круг, пытаясь хоть как-то выразить ту горячо им ощущаемую неслучайность того, почему все эти люди были именно такие, а не какие-то другие:

и тот улыбчивый, так вероломно обошедший с ним жулик, разве случаен он был в униженной толчее, бестолочи, убогости аэровокзала? Где же ему еще было жить, как не здесь?

и тот неплохой наверняка мужик, начальник отдела перевозок, который явно хотел, но не мог посадить на самолет Чашкина, — он ведь тоже не случаен был, поскольку не случайны были бумажки-инструкции, подписанные какими-то не случайными чиновниками и в соответствии с которыми, с бумажками, никак не можно было сажать Чашкина в самолет;

и даже та шайка-лейка, на которую он так глупо напоролся в поезде, разве она была случайна? Разве мог кто-то иной водиться в том грязном, ободранном, пакостном вагоне?

Неведомый какой-то негодяй уже прошел по всем тем местам, и заразный смрад, который он распространял вокруг себя, нигде не исчез. Напротив, он, как ржавчина, стал разъедать все вокруг — и то, что людей окружало, и самую душу людей — и люди, потраченные этой заразой-ржавчиной, в запоздалом рвении обнаружить виновника всех своих бед, всего окружающего разора, слепо бросались теперь в тоске и непомерной метельности на любого-всякого, не умая понять, что это и есть один из главных симптомов поразившей их заразы.

Не знавший никакой другой жизни, кроме жизни поселка, которая была и уныла, и скупа, и невесела, Чашкин тем не менее не мог не видеть, какие унылые потемки, какая свирепая, сиротская тоска царит в эти дни над его страной.

Привыкший считать, что невеселение его жизни — это его личное невеселение, а вокруг все несравненно бодрее и наряднее, и страна его, которой он не забывал время от времени всеу гордиться, наверняка живет жизнью совсем не такой, какой живет его заброшенный богом поселок, — привыкший думать так, Чашкин болезненно был поражен тем унынием и смиренным убожеством, в каком обретались здесь люди. Словно бы скверный туманчик повсюду стоял в воздухе, а воздухом этим надо было дышать, но невыносимо тяжело было этим воздухом дышать.

Он вспомнил господ, которые шустро и весело шли на посадку в самолет как бы сквозь строй злобных и усталых взглядов тех, кого в Москву не пустили. И неожиданно вспомнил слова, которые часто повторял его дед: «Кому — война, а кому — мать родна!»

Эти, которые спешили на самолет, не испытывали ничего из того, о чем пытался размышлять сейчас Чашкин. Им наверняка вот так-то веселее всего и укладистее всего было жить. Только в таких-то потемках, только в убожестве этом они и могли жить, как им желалось: весело, сытно, привольно, гжучее наслаждение испытывая от того, что они живут не так, как все!

Чашкина поразила простота этой мысли. Его даже как бы шарахнуло прочь от несомненной крамолы, которую содержала эта догадка: «Они и не хотят, чтобы было по-другому! Им не выгодно, чтобы было по-другому!»

Не сказать, что в предыдущей жизни он вовсе не задумывался о загадочной силе сильных мира сего. Но он всегда с равнодушием и ленью отворачивался от этих размышлений, ибо его жизнь с жизнью вверху сидящих почти никогда и почти никак отчетливо не пересекалась.

Он был по характеру из тех (к счастью, а может, и к несчастью), еще не очень редких в русском народе людей, которые поражают своим крайним, пренебрежительным нелюбопытством к жизни верхов.

Нелюбопытство это корнями своими имело не столько психологию известной поговорки о свином рыле в калашном ряду, сколько опасливую брезгливость — именно брезгливость, — очень сходную со страхом заразы и сильно умноженную на превосходительно-ленивое неодобрение вообщее такого образа жизни — неодобрение, которое наверняка было унаследовано от тьмы поколений предков, которые если что и умели по-настоящему, так это молчаливо и хмуро, на совесть работать нужную для жизни работу.

Однако и то необходимо заметить, что чересчур уж много было в нелюбопытстве этом равнодушия. Ровного, толстого, как слой ила, равнодушия — и к ним, и к себе, к сожалению.

И в эту ночь Чашкин, достаточно уже изъязвленный обидами, оскорблениями и унижениями, впервые — украдкой! — подумал о том, что, может быть, не вовсе правильно прожил он полста своих лет. Неинтересно ему было, кто и как им вертит. От нелюбопытства? Да! Но ведь и от лени же. Но ведь и от трусости.

...Он подумал о матери, к которой он вряд ли успеет с последним своим целованием. И тотчас — старательно остерегаясь греха кощунства — подумал что-то вроде этого: «А нет ли в том, что он не успеет, что мать уйдет в землю, не попрощавшись с ним, — нет ли в этом какой-то справедливости? Высокомерной, жестокой — но справедливости? Ведь и она тоже, безответная и смиренная, в какой-то мере виновата, что он, ее сын, возник на земле именно такой — безответный, смиренный, доступный всякому помыканию?»

Нехороша была мысль. Все существо Чашкина горячо затрепетало, несогласное с ней! Если и была в этом какая-то справедливость, то это была нелюдская справедливость — справедливость нелюдей! Не может быть справедливости в том, пылко и косноязычно подумал Чашкин, что старуха, жизнь честно прожившая, всю жизнь спины от работы не разгибавшая, за всю жизнь не укрывшая, не убившая, счастья толком не знавшая, достатка не имевшая, в бога верившая, согрешений бежавшая, — не может быть справедливости в том, что ее лишают последней погребальной малости и милости.

Только потому и лишают, что вельможено разлегался в это же время в городе по соседству точно такой же, в сущности, человек, который, впрочем, тем-то от нее и был отличен, что жизнь прожил иначе: черной работы всю жизнь бежал, на каждом шагу лгал, чужие почести, чужие деньги, чужой труд крал, верил не в бога, а во всеислие человеческой слабости и подлости;

человек, который на пути к власти был много раз унижаем и по одному по этому, дорвавшись до власти, сам упоенно унижал людей, унижал страну — хотя бы одним только фактом своего непоколебимого присутствия наверху;

человек, который был посмешищем всей страны и мира, однако главший сам и заставлявший лгать о себе других;

человек, как родных, пригрезивший нечистых на руку;

человек, чью кончину в многомиллионной стране, быть может, только десяток тысяч встретили с искренним горем, а большинство — с облегчением избавления...

«Разве есть в этом справедливость? — думал Чашкин. — Или я, просидев полвека в углу, ничего уже не могу понимать? Где добро? Где недобро? Где правда? Где ложь?»

«Какая такая злобная болезнь поразила за время моего отсутствия эту всегда добродушную, милосердную страну! — удивлялся Чашкин, а потом вдруг, с интонацией «И поделим тебе!» задал вдруг злой и неожиданный вопрос: «А почему же тебя, парень, нигде не было, когда это происходило?!»

Дорога заметно круто стала уходить влево, и тускло-золотые огонечки, к которым он с такой надеждой вот уже который час шел, тоже стали послушно уплывать, но в другую сторону, вправо.

Идти, потеряв пусть далекую, пусть недостижимую, но цель, сразу же стало тоскливо и тошно.

Все же, с мукой поколебавшись, он выбрал дорогу. По накатанности колеи нетрудно было определить, что машины здесь не редкость. Дорога почти наверняка должна была привести к большому жилью.

Однако он шел еще и час, и два, прежде чем с высокого холма открылись ему в светло помутившемся мраке темные спящие дома, выстроенные в несколько порядков, и с десятков фонарей, горящих чахлым накалом вдоль главной улицы.

И тут он — разом — понял вдруг, насколько устал. Усталость аж заголосила в нем. Чувствуя, как помрачается в глазах, Чашкин еле-еле успел доковылять до обломка какой-то бетонной опоры, валявшейся на обочине, и как под колени подкошенный рухнул!

Ни в одном из окон не горел свет. Чашкин отстраненно удивился: пора было бы и скотине готовить, и на дойку собираться, пора было бы и в гараж идти тем, кто при машинах... Странно жили тут люди: спали.

...Когда он открыл глаза, огни в домах кое-где уже светились. Горело электричество и в казенном, обильно застекленном павильоне — то ли в магазине, то ли на автостанции.

Со стонами и слезами, миглом вскипевшими на глазах, Чашкин поднялся и на одеревенелых ногах, с мукой покрывавая, побрел вниз по дороге, которая уже заметно обозначилась в мрачно-серой мути только-только начавшегося рассвета.

Он понятия не имел, что ему следует делать, даже отдаленно не предполагал. Просто — внизу были огни, внизу были люди, и единственный шанс не сгинуть был ему в том, чтобы оказаться среди людей.

На маленькой асфальтированной площади возле тускло освещенного павильона царило оживление: стояли два автобуса с уже работающими моторами, несколько грузовиков, а в аквариумной внутренности автостанции сонно слонялись люди — с десятком черных фигур.

Чашкин вошел в павильон, и тут с ним случилось странное: он увидел, как он вошел. Глазами вот этих зазубрих, невыспавшихся людей.

Вошел больной старичок, еле волокащий ноги, жалко и болезненно поглядывающий вокруг.

Безчаянно взгляд его упал вниз, и он тихо ужаснулся: брюки на коленях были сплошь залепаны грязью, на ботинках налипло. Застыдившись, он быстро ушел на крыльцо, стал пытаться хоть как-нибудь почиститься.

На крыльцо неподалеку то и дело с озабоченной торопливостью всходили люди. Те, кто выходил, были уже неспешны, как бы отяжелены. Сразу же принимались закуривать.

Чашкин пригляделся и различил надпись «Буфет». Едва прочитал — тотчас охнуло все внутри от забытого до поры голода!

Как по сне, вяло сам себе сопротивляясь, пошел туда.

В небольшом зале было отраднo тепло. Мучительно пахло какой-то подливой.

У Чашкина перехватило горло от захлестнувшей слюны.

Он встал, не решаясь почему-то далеко отходить от дверей, и стал медленно шарить по всем карманам в поисках какой-нибудь мелочи — хотя и знал прекрасно, что, кроме восьми копеек, ничегошеньки у него нет.

Уборщицы в буфете не было, — может быть, она просто не попевала, — грязные тарелки с недоедками, с кусками надкусанного хлеба громоздились по всем столам. Вновь придвинувшие просто сдвигали посуду к середине, привычно приспособливались с краю.

От стыда и ужаса того, что он сейчас сделает, у Чашкина болезненно и тонко зажужжало во лбу, наглухо заложило уши.

Словно бы сквозь сон двигаясь, он сделал шаг к ближайшему столу и быстро-быстро стал хватать вдруг куски и обломки хлеба с тарелок, тут же запихивая их в карманы пальто, с трудом терпя стыд и ужас того, что он совершает. А когда терпеть не стало уж сил — готовый зарыдать, выскочил назад, на крыльцо!

Тяжело, как после погони, дыша, ослабев и дрожа ногами

от позора им совершенного, он склонился на перила крыльца и, отвернувшись от всего мира, жадно стал напихивать рот хлебом, который он быстрым тайком отламывал в кармане и от которого сладостная тотчас возникла боль в челюстях, и чревоугодные торопливые судороги зашевелились, одна опережая другую, в нежно возопивших от счастья тканях глоталища, и благодарное томное успокоение стало воцаряться в желудке.

Кто-то большой и тяжелый (Чашкин услышал, как жалобно запрогибались доски) вышел на крыльцо.

Остановился рядом, за спиной Чашкина, стал прикуривать.

Чашкин, перевесившись через перила, отвернувшись к стене, спешно набивал рот хлебом.

— Чего, отец? Бичуешь? — спросил вдруг стоящий сзади, обращаясь к Чашкину своим, но и очень осторожным, из боязни обидеть, тоном.

Чашкин не мог отвечать. Быстро прожевывая, он оглянулся на говорящего через плечо, и движение это выглядело движением затравленного зверька.

Задавший вопрос был и в самом деле грузин, высок, шоферски толсто одет. Лет тридцать ему было. Простое круглое лицо с напряженно написанным на нем выражением сочувствия.

Чашкин не ответил. Тогда грузин повторил те же слова, но по-иному:

— Чего бичуешь-то, отец?

Проглотив наконец, Чашкин воскликнул — воскликнул нечто, поразившее и его самого: «И-я-я!!» Все лицо у него, оказывается, было как бы оочеченным от непрорвавшейся слезной боли.

— Я-я! — еще раз попробовал он и наконец почувствовал, что вот сейчас разрыдается.

Вывалил телеграмму:

— Вот! Летел. Рейс отменили. Обокрали! С поезда ссадил! Видишь? — И по-детски скривился лицом в ожидании плача.

Тот взял телеграмму. Повернув к свету, падающему из буфетного окна, стал с недоверием читать. Читал долго.

— Чего-то ты, отец, загибаешь... — слегка даже обиженно сказал он. — Если, говоришь, летел, значит, должен был долететь. Как же так?

— Э-э! — с гортанными нотами воскликнул Чашкин. — Не могу я... говорить. «Должен!» Они Москву закрыли! «Загибать-я...»! Э-э! — Он опять отвернулся к перилам, и слезы наконец посыпались у него по щекам.

Ему было стыдно, что он плачет, что он плачет вот так, на виду, и аж сотрясается весь от неумения своего плакать, но не плакать уже не мог — слишком уж много всего, черного, накопилось!

— Новая деревня Московской... — прочитал мужик. — Так тебе, отец, знаешь еще сколько добираться?

Чашкин, переставая плакать, почти уже успокоенный и облегченный, повернулся:

— Не знаю я ничего. Она же померла уже. Когда уезжал, сестра позвонила: померла уже. Мне на похороны бы успеть!

— Ну, это ты навряд ли успеешь, — безжалостно и просто сказал грузин. — Хотя... — Тут он стал разглядывать дату отправления. — Одиннадцатое, что ли? А нынче вроде бы только двенадцатое. Если бы тебе до Турищева добраться, оттуда трасса на Москву — машин много...

Вернул телеграмму. Стал молча курить, не столько размышляя о чем-то, сколько — было заметно — что-то с трудом в себе преодолевая.

Чашкин, утомленный плачем, с покорством, но без всякой надежды смотрел на него.

— Видишь почту? — сказал наконец мужик. — Минут через двадцать подойдешь. Мне вообще-то в Химмаш ехать, но я тебя до Турищева подброшу, может. Ну, только смотри, отец! Если обманул... — Тут же, впрочем, эту неуместную угрожающую ноту оборвал.

С облегчением сунул в карман, протянул трешку.

— Ты тут тем временем поешь чего-нибудь. Не дело — со стола недоедки таскать! — И пошел вниз по ступенькам, не оглядываясь.

Чашкин смотрел вслед ему ошеломленно.

«Почта»? — вспомнил он вдруг. Повернулся было к дверям буфета, но тут же сделал еще один оборот и, боясь передумать, пошел к домику, на который показал шофер.



— «БЕЗ МЕНЯ НЕ ХОРОНИТЕ ИВАН»,— прочитала девчонка вслух и быстро побежала карандашом по бланку, подсчитывая слова.— Срочная?— Она с мимолетным любопытством глянула в лицо Чашкину.

— Не знаю,— растерялся Иван.— А хватит?— И показал трехрублевую свою бумажку.

Хватило. Осталась еще и мелочь.

С чувством, что он совершил непоправимую глупость, истратив все деньги, он снова пришел к буфету.

— Хлеба дай,— сказал он продавщице, красномордой бабе с мелкими, чахлыми кудряшками на голове.

Она будто бы даже с наслаждением сразу заорала:

— Что-о?!— с долгожданным удовольствием заорала во весь свой пропитой голос:— На все?! А что я буду людям к горячему давать?

— Ну дай хоть сколько-нибудь...— попросил Чашкин, внезапно оробевши.

Баба смахнула его копейки в сторону. Пренебрежительно и грубо тюкнула три-четыре раза тесаком по буханке, толкнула Чашкину куски по мраморной грязной поверхности прилавка: «На!»

Запихивая куски в карман, Чашкин отошел, не осмелившись спросить сдачи.

Теперь у него опять не было ни копейки. Зато был хлеб.

Странное дело, но, совершив несомненное благодеяние, водитель в дальнейшем стал словно бы испытывать сожаление от случившегося с ним. Сделался хмур, неразговорчив, будто бы даже и враждебен.



На вопрос об имени отозвался свысока:

— А тебе-то зачем? — Потом все же добавил: — Юркой зови. Не ошибешься.

Чашкин примолк. Юрка тоже минут двадцать вел машину молча. Яростно, с азартной ненавистью выкручивал баранку, не давая машине сползти в разъезженную колею.

Затем дорога полегчала, и столь же быстро настроение у Юрки изменилось. Он покосился на забывшегося в уголок, то и дело задремывающего Чашкина и сказал:

— Если, ты говоришь, Москву закрыли, то могут и шоссе перекрыть. Что делать-то будешь?

— Не знаю.

— Э-эх, батя! — с интонацией ругани выговорил шофер. — Угрозило же тебя!

— Да уж не говори, — слегка заискивающе согласился Чашкин. — Угрозило.

— Кто по специальности-то?

— Макальщик, — привычно ответил Чашкин, но тотчас, почуввав что-то вроде стеснения за столь невнятную мастерскому человеку специальность, поправился: — Гальванщик то есть.

— А-а... — явно не слыхав о такой профессии, отозвался Юрка.

...А Чашкин вдруг подивился своему стеснению. Никогда еще не стыдился он своей профессии: работал и работал, не очень-то и плохо зарабатывал. А вот сейчас (от соседства, должно быть, с человеком, который дело имеет с механизмами, с умным железом машин) недомерком себя ощутил.

На хорошем-то заводе давным бы давно уже поставили

автомат вместо Чашкина. Работа-то нехитра: вынуть чушку из одной «химии», перенести в другую «химию». Не дурак, он, конечно, догадывался об этом.

Иногда даже — очень, впрочем, косвенно — задумывался: — «А что будет, если приспособят на мое место какого-нибудь робота? Ни профессии у Ивана Чашкина, ни образования. Куда идти?» Тут же, впрочем, успокаивался: до пенсии пять лет, а за это время они никак не соберутся. Да и невыгодно им! Меняет безотказного, двухжильного, дешевого Чашкина на капризный какой-нибудь дорогостоящий механизм, которому, поди, еще и наладчик будет нужен, и техобслуживание, и запчасти из-за границы. И все же...

И все же — едкий, неприятный сквознячок обвевал душу при таких размышлениях. Как ни увертывайся, а получалось именно так: вполне могли бы и без Чашкина обойтись на этой земле.

— Обокрали-то как? Со мной тоже случай был...

Чашкин откликнулся оживленно, не давая себя опередить:

— У-у! Знатно он меня обокрал! — чуть не с восхищением ли откликнулся.

...После рассказа, почти уже беспечального, Юрка тоже с восхищением покрутил головой:

— Д-да! Ничего не скажешь! Умелец!

— Уж такой уж умелец, что как жив-то остался, прямо даже не знаю! — заулыбался и Чашкин, довольный, что рассказом своим угодил благодетелю.

— В другой раз умнее будешь! — неожиданно грубо оборвал шофер. Опять начиналась хлябь разбитой тракторами дороги.

Чашкин послушно примолк. Перепады Юркиного настроения повергали его в робость. Не то чтобы он боялся, что тот не довезет его до места, ссадит (хотя, конечно, и этого боялся). Чашкин боялся — не смеется — нечаянно нарушить в Юрке то состояние благородного сострадания, в которое он его нечаянно вверг и которое ужасно того красило.

Сам того не сознавая, Чашкин боялся разочароваться в Юрке.

Ему и одного аэрофлотовского белозубого жулика хватит, чувствовал Чашкин, до конца жизни.

— Вот паразитство! — со злобой проговорил вдруг Юрка. — Из-за одного человека! Да кем бы он ни был! — Юрка отчаянно крутил баранку влево-вправо, и ненависть к дороге, которую он одолевал, адресовалась прямоком, кажется, к тому, о ком он заговорил: — Столько людей! Из-за одного человека! Ну, а другие — как? — спросил, успев взглянуть на Чашкина. — Ты поездом поехал, а другие — как?

— В аэропорту остались. Кто домой вертаться стал, кто как...

— Во паразитство! — еще раз повторил Юрка. — В Америке-то если бы ихний помер, да они бы по судам свой аэрофлот затаскали!

— Сказал тоже! «В Америке»...

— Да в любой нормальной стране! — продолжал воевать с дорогой Юрка. — Развели бар-рдак!

— Им выгодно... — несмело сказал Чашкин, вспомнив недавние свои ночные размышления.

— Точно! — обрадованно согласился шофер. — Выгодно! Вот эту дорогу они каждый год ремонтируют! Декабрь настанет, сам увидишь, будут тут как тут! А то, что по весне она опять поплывет к едрене матери, им на это начхать! Зарплата идет? Идет! Галочка, где надо, стоит? Стоит! Им это, конечно, выгоднее, чем один раз сделать как следует, а потом — только мелочевый ремонт. И так — везде! Зла не хватает! Паскуда на паскуде и паскуду за собой тянет! Уу-у-ух, доиграются они в конце концов!

Они въехали в деревню. Дорога и здесь была вдребезги разбита. Озерами стояла гудронно-черная грязь.

Собачонка выскочила из-под забора, вздумала вдруг с лаем броситься под колеса, но в последний момент на краю дорожной топи остановилась, побрехала вяло и, посрамленная, повернула назад.

Возле одного из домов стояли трактор с железной волокушей, два самосвала, запыленные грязью «газик».

— Ну-ка, стоп! — радостно воскликнул вдруг Юрка. — Посиди-ка маленько! У меня тут крестная живет...

Подрулил к забору и поспешно выпрыгнул из кабины. Угодил в грязь, весело заматывался, по-журавлиному подымая ноги, пробрался на сухое, исчез за калиткой.

За оградой слонялись какие-то молодые парни — все как один в резиновых сапогах, в одинаковых стеганых куртках — все как один пьяные.

Там шла гульба, и Чашкин догадался, что его путешествие — конец.

Отломил в кармане кусок хлеба, стал жевать-пожевывать, пытаясь хоть этим утишить внезапную свою печаль.

Один из парней вывалился вдруг из калитки, чуть не упал в грязь, однако устоять сумел. Побрел рыдающей походкой вдоль улицы, дико ныряя головой чуть не до земли, шараясь из стороны в сторону, но каждый раз мастерски удерживаясь на краю дорожного болота.

Что-то спешно прожеывая, страшно оживленный и веселый, выскочил Юрка. Сказал, усаживаясь:

— Фу ты, едреноть! Еле вырвался! Свадьба у них. Второй день гуляют! Вчера должны были расписаться — чтоб все чин чинарем — а им в загсе говорят: «Всенародный траур, а вы веселье хотите устроить?!...» Они подумали, подумали... Не пропадать же закуске? Да и гостей двадцать человек приглашали. Ну и решили: пока так, без печати пока...

Он немного помолчал, весело одолевая дорогу, потом засмеялся:

— Мать невесты плачет! «Обманут они тебя, дочка!» А Петруха — парень шепутной, он — может! Хе-хе!

И после еще одной паузы — осторожно, с ноткой извинения — сказал то, чего ждал и чего боялся Чашкин:

— Я тебя, отец, вот что... До асфальта доведу, а дальше — извини, не смогу: выпимший. Ты не боись, там до Турищева совсем ничего — километров девяносто — машин много бегае, ать-два, голоснешь, любой подвезет! Не обижаешься? — Он внимательно покосился на огорченное лицо Чашкина.

Тот поторопился ответить:

— Что ты! И за это спасибо не знаю какое! Выручил.

— Главное, паразитство, что они мне стакан все-таки влили! А то бы я тебя до Турищева мигом бы домчал! Но там, вишь ли, ГАИ больно уж свирепый стоит.

— А тебе, ты говорил, куда-то еще надо было?

— В Химмаш? Подождут маленько! К ним тоже мимо поста надо ехать. Я уж лучше назад! Не то крестная обидится...

До асфальта оказалось совсем недалеко.

Юрка, угрюмо промолчавший всю эту дорогу, сказал на прощание с нотками досадливого извинения:

— Ты это... не сердчай! Старайся грузовые ловить — там народ получше. — Подумал, что бы еще добавить, сказал: — Ну, будь! — С лязгом захлопнул дверцу, яростно взревев мотором, в три коротких приема развернулся — и поспешил назад.

Чашкин опять остался один.

В тепле кабины грязь на коленках подсохла. Постирующими движениями он потер ткань, отряхнул и несколько ободрился: теперь он несколько меньше походил на бича.

Мимо него с ревом пронеслись грузовики. С гудением, почти неслышным, но музыкальным — легковушки.

Он прикинул и решил, что здесь попутку ему вряд ли поймать. Дорога тут шла под уклон и лишь километрах в двух начинала карабкаться в гору. Гораздо ближе, конечно, было пройти немного назад — туда, где плечо седловины только начиналось, — но он упрямо пошел в сторону Турищева. Ни единого шага пути не хотел он терять даром.

...Он не поверил своим глазам, когда первый же грузовик тормознул возле него.

— Тебе куда, дядечка? — Совсем молоденький ясноглазый парнишка, перегнувшись через сиденье к открытой двери, с весельем глядел на Чашкина.

— В этот... Турищев.

— Не-е... Парнишка даже огорчился. — До поворота на Липовку — могу! Хочешь?

Чашкин полез в кабину.

Уже тронулись, когда он с тревогой воскликнул вдруг:

— Только у меня денег нет! Я забыл сказать...

— Нет так нет, — легко отозвался шофер. — Вдвоем-то веселее?

— Да уж... А до этой, до Липовки, далече?

Ему уже не хотелось вылезать из кабины — очень уж хорошо, безмятежен, ясен был этот паренек! («Вот бы Катюхе такого бог послал!» — смутно подумал он.)

— Тридцать кмэ. Ты нездешний, что ли?

— Нездешний. Совсем нездешний.

— В гости! — догадался паренек.

— Какие уж тут гости! — с досадой отвечал Чашкин. Не

хотелось ему огорчать светленького парнишку своими невзгодами. — Летел, вишь ты, в Москву, а оказался у нас тут...

Все же, видя полнейшее непонимание паренька, неохотно и скупо рассказал.

Тот не только не омрачился, но, напротив, пришел прямо-таки в восхищение.

— Вот это да! Ну, Расса-матушка! Такое только у нас может!

— При чем тут Расса? — рассердился Чашкин. — Она сейчас по аэропортам да вокзалам шарахается, наша Расса!

— Бюрократизм! — легко и весело воскликнул тогда паренек. — У нас в части лектор один выступал: бюрократов этих на всю страну миллионов или пятнадцать, или двадцать, точно не помню. Короче: трое работают, четвертый бумажки пишет. Им зарплату оправдывать надо? Надо! Вот и пишут, кто больше... Сейчас все умные стали, что ты! Я в армию уходил, шофер у нас был — Булыга. Сейчас прихожу, а он — уже в кабинете сидит! Освобожденный партком! Два телефона, галстук. Вот те и Булыга!

— Из армии-то давно?

— Полгода.

— Женился?

— Не-е! — Паренек засмеялся. — Я погожу! У нас девчонко-то в Липовке много. Недавно вот и десятиклашек на ферму пригнали — по комсомольской путевке. Но, главное дело, привести мне ее некуда, если что... У нас еще две сестры и братишка маленький, и все в одном доме. Вот построюсь — с лесопилкой я тут вроде договорился — вот тогда уже...

— Слушай! — вспламенился вдруг Чашкин, мигом забыв все свои невзгоды. — Давай, я тебе та-а-кую девку сосватаю?! А? Любючку звать. Скромница! Умница! Красавица! Что ты, каких-то, прости господи, по комсомольским путевкам будешь брать? Здесь — гарантия! Хозяйственная! Работящая! Школу только что на пятерки-четверки кончила! Давай я тебе ее адресок дам, а? У нас, если честно, парни в поселке не держатся. После армии только один вернулся. А ведь жаль — та-а-кая краля пропадает!

— А чо, батя! — весело откликнулся паренек после краткого размышления. — Возьми там в бардачке карандашик, пиши! Я в армии тоже с одной переписывался — Красавино Ивановской области. Она потом, правда, чего-то замолчала.

— Она тебе фотку пришлет, так ты сам, как на крыльях, к ней полетишь!

— Заметано, батя! — пряча бумажку с адресом во внутренний карман, бодро сказал шофер. — На свадьбу, в случае чего позову! Не сомневайся!

— А ты бы это... — несмело сказал Чашкин. — Свой бы тоже адресочек сказал. Она, я попрошу, и сама, может, напишет?

— А что ж! Пиши! Пусть только фотку первым делом шлет. Значит, так... — И он, сбавив зачем-то скорость, внимательно заглядывая время от времени в то, что пишет Чашкин, продиктовал адрес.

— Ну вот как славно! — с облегчением и прямо-таки счастьем в голосе воскликнул Чашкин, упрятав бумажку поглубже в карман с отчетливым ощущением, что упрятавает он драгоценность.

Ему сделалось легко и свежо — впервые за последние сутки.

— Ну вот! — объявил паренек. — Поворот на Липовку. Мне за комбикормом ехать, а то бы довез тебя куда надо.

— Спасибо и так, милый человек! — со стариковскими, слегка и его самого удивившими нотками в голосе отозвался Чашкин.

— А кrale скажи, чтобы первым делом фотку слала! — крикнул напоследок паренек. — Ну, а меня, ты уж постарайся, опши как надо! Заметано? — И, засмеявшись, хлопнул дверцей, укатил.

Просветленно потихонечку улыбаясь, Чашкин пошел вдоль дороги и даже забыл на какое-то время махать попутным машинам.

У него было веселое, легкое чувство добро совершившего человека.

Он уже живо представлял их рядышком — Любку и этого ясного паренька — и у него сердце радовалось: так уж они славно гляделись рядышком!

«А что ж... — невянятно размышлял он, — и будут жить. И хорошо будут жить! И детишек наваляют штук пять — таких же ясноглазых, веселых. И вырастят их — работящими, незлобными, светлыми — какие и они оба. А потом

у детишек детишки пойдут... И так оно и будет катиться колесо — как солнце по небу — от восхода к закату, и будет земля населяться все больше и больше ясноглазыми, веселыми, незлобными, работящими...»

Как и всякий человек, живущий в глуши, он исправно и рьяно глядел телевизор, слушал радио, вполне веря каждому изреченному диктором слову. Но ему всегда чудилась какая-то затаенная подловатая неправда в том, как безудержно восхваляют почему-то беспокойно мятущихся по земле людей, преимущественно молодых, всевозможно надсмехаясь при этом над людьми, живущими жизнью обыкновенной. Он никак не мог взять в толк, почему человек, ежедневно всю свою жизнь идущий на одну и ту же фабрику, честно работающий, честно растящий из своих детей новое поколение, — почему этот человек в чем-то хуже неприкаянного перекати-поля, который шарахается по всей стране, нигде подолгу не задерживаясь, ни к чему и ни к кому не прикипая... А то, что от таких вот побродяжек одна только бестолочь, пьянство, безотцовщина и распутство, — это как бы и не касалось тех, кто сидел в телевизионных департаментах. Они, знай, восхваляли этих обеспокоенных, ищущих, где бы полегче да покрасивше!

Сорвать человека с места, размышляя Чашкин, много ли ума надо. Посули ему новые земли, новые деньги — вот уже и нет его в родном доме! Потому-то и идет разор по земле, потому-то и стервенеет народ, что от дома оторван, от корня, и все ищет, ищет без всякой надежды то, что ему посулили, что ему вообразилось по глупости юных лет, чего на самом-то деле и не существует!

«А им это выгодно! — опять поразившись простоте разгадки, подумал Чашкин. — С побродяжками, у которых ничего за душой нет, управляться-то легче! Им вот такие, как Любка с этим пареньком (ах, как славно было бы, если б сладилось у них!), им такие вот — как серпом по заднице! Потому и насмешничают над ними, потому-то и злятся на них, живущих обыкновенно, что бояться их!»

«Ух, леший тебя раздери! — восхитился сам себе Чашкин. — Так ведь оно и есть! Боятся! Взбаламученному задумываться некогда. А вот спокойный человек, веский, рано или поздно укажет пальцем, кто именно и за ради чего взбаламучивает жизнь!»

И он, опять с нежностью подумав о Любке и будущем ее женихе, успокоился душой, крепко вдруг уверовав, что ничтогошеньки в конечном счете у них, у тех, кто наверху, не получится, потому что велика земля и полно на ней честных, работающих, понимающих настоящее человечье предназначение на земле, и не может такого быть, чтобы их дурили бесконечно.

Между тем, хотя было и утро, над землей смеркалось.

Непроницаемо-серое небо опустилось к земле. И вскоре мелко, торопливо посыпал снежок. Тотчас задул и ветер — серые шустрые змейки заструились по асфальту.

Чашкин сразу же озлился. Воротник пальтеца поднял, зажался локтями. Все чаще оглядывался в надежде на машину. Машин, однако — словно бы из-за непогоды, — сразу же сделалось мало. Пролетели, завывая, два или три огромных фугона «Совтрансавто». Несколькo легковушек, водители которых Чашкина пренебрежительно не замечали, проскочили с торжествующим, самодовольным жужжанием.

Лишь через полчаса появился грузовик. Чашкин замахал отчаянно, как терпящий кораблекрушение.

Водитель в богатой кожаной куртке, усатенький, с золотым перстнем на пальце, высунулся, спросил с неудовольствием:

— Куда?

— В Турищев, — снизу вверх глядя, сказал Чашкин.

— Давай!

— Только у меня денег нет! — вспомнил сказать Чашкин, уже взявшись за дверь.

Водитель тотчас зло и небрежно дернул у него дверцу из рук. Почти прикрыв, сказал в щель:

— Денег нет — на автобусе езжай! Ишь, халявщик нашелся!

— Ах ты, гнида! — сказал ему вслед Чашкин. — Чтоб у тебя... чтоб тебе... — И не нашел чего пожелать красавицу. — Из-за копейки ведь мать родную продашь! — сказал с укоризной.

Однако тут же, не успев крохобор в кожанке скрыться из виду, возле Чашкина тормознул «жигуленок».

— В город? — спросил хмуро глядящий, плохо выбритый мужик. — Садись!

Чашкин теперь-то глядел не снизу вверх на владельца машины, а свысока.

— Денег нет! — ответил он со злым хамством в голосе.

— Садись, кому говорю! — осерчал небритый. А когда Чашкин стал поспешно залезать в кабину, добавил: — У меня тоже нет. Так что не один ты такой.

Чашкин, стараясь понезаметнее, озирался. Он впервые ехал в такой машине.

— Ремень накин! — сказал небритый.

Чашкин не понял.

Тот перегнулся через него, добыл откуда-то ремень, переклестнул наискось, щелкнул.

— А это зачем? — спросил Чашкин. Тот глянул на него с нескрываемым интересом. — Я первый раз в такой машине... — объяснил Чашкин.

— Чтобы во-он туда не полетел, ежели столкнемся.

— А-а... — сказал Чашкин.

Они проехали несколько минут молча, а потом небритый вдруг заговорил:

— Скажи-ка мне, простой человек, который никогда даже в «Жигулях» не ездил, скажи-ка мне, как вот это называется. Слушай! Приходит из района письмо. Без подписи, правда. Так и так. В одном хитром доме отдыха для людей не от мира сего — за полгода — слушай! — реализовано: 394 килограмма икры! Шесть тысяч банок крабов, шпрот, печени трески! 565 килограммов осетровых балыков, 888 килограммов свиных балыков, полтонны буженины! 165 килограммов кофе и 68 килограммов индийского чая! Проверяю. Все точно! В районный продторг именно столько и поступало. Проверяю отчетность в хитреньком том доме отдыха. Также все точно! Именно столько и поступало. Заметь, что за полгода там отдыхающих было от силы семьдесят человек! Вопрос: «Куда все это девалось?» Пишу материал, несу главному. Главный кричит: «Ура! Мы всем вставим фитиль!» Кое-кто полетит у нас вверх тормашками, кричит. А дальше — приходит письмо из района. Подписи: секретарь райкома, предрика, начальник милиции. Приложение: протокол о злостном нарушении общественного порядка — мною, разумеется, — которое выразилось, во-первых, в попытке изнасилования старшей медсестры дома отдыха, во-вторых, в хождении в пьяном виде и нагишом по главной улице райцентра, в-третьих, в выкрикивании антисоветских лозунгов! Приложение к протоколу: заявление жильцов гостиницы, возмущенных поведением представителя области — то есть меня, разумеется, — двадцать шесть подписей! О фактах, которые я проверял и которые подтвердились, ни слова, заметь! Так вот, скажи-ка мне, старик, как это называется?

Чашкин слушал разинув рот.

— Как прикажешь называть все это, простой человек? — еще раз с настойчивостью повторил небритый.

И тут Чашкин, вспомнив разговоры в купе поезда, брякнул:

— Измена!

Тот поглядел на него пораженно.

— Как-кое ты слово вспомнил, старик! — сказал он восхищенно. — Ах, какое слово! ИЗМЕНА! Именно так. Только так. Как ни взгляни, а именно так!

И он опять угрюмо замолк, глядя на дорогу.

— Ну, а с вами как?

— А со мной просто! Крабами, икрой и тем, куда они девались, мне теперь заниматься некогда. Занимаюсь тем, что доказываю: я не верблюд!

— Какой верблюд? — не понял Чашкин.

— Анекдот. Бежит заяц. «Ты куда бежишь, заяц?» — «Да вот, объявили, что всех верблюдов будут кастрировать!» — «Так ты же заяц! Чего бояться?» — «Э-э...» — говорит заяц. — Доказывая потом, что ты не верблюд...»

Чашкин маленько подумал, а потом вдруг стал смеяться, весь аж дробненько сотрясаясь, аж до слез из глаз!

Глядя на него, заулыбался и небритый.

— Ух ты, леший ты раздери! «Доказывая потом...» — заливался Чашкин, — «что ты... что ты не верблюд!» Ну-у, уморил! — А потом, отсмеявшись, вдруг спросил очень серьезно: — Докажете?

Тот, помолчав, ответил:

— Жизни не пожалее.

— Ну, подавай вам бог! — пожелал Чашкин, опять с недоумением обнаруживая в своем голосе стариковские нотки.

В Турищев приехали, когда уже смеркалось. По дороге случилась поломка, и часа два хозяин копошился на холоде в моторе, а Чашкин спал, сладко привалившись головой к мягко обшитой стенке машины.

Ему мало что снилось, кроме того, что он опаздывает и что ему хочется есть. Не просыпаясь, он отламывал в кармане кусочки хлеба и совал в рот.

В городе небритый показал Чашкину, куда надо идти, чтобы попасть на Московский тракт, а сам умчался в противоположную сторону, окончательно опаздывая по нештучным своим делам.

Чашкин пошел.

После тепла машины в сквозняковом этом городе его знобило. С каждой минутой знобить стало злее, и он понял, что если вот сейчас, в ближайшие полчаса, не согреется как следует, то наверняка заболит. С ним такое уже бывало. С лютой тоской, чуть ли не до всхлипа, вспомнились ему какие-то вечера, когда, продрогший, хлюпающий носом, он заваливался дома на диван под два ватных одеяла (а сверху еще и овчинный тулуп!) и, напившись чаю с медом, с малиной, сладко перемогал недуг, который вот-вот должен был одолеть его, но никогда не одолевал! За все время работы он лишь один раз бюллетенил, да и то из-за ожога кислотой.

Но здесь, в сумеречном этом, насквозь продуваемом городе, согреться было негде.

Он зашел в несколько магазинов. Но толкаться там без дела было неловко (он боялся к тому же, что его примут за карманника), и Чашкин вскоре опять уходил, не успев как следует проникнуться теплом.

И ужасно много было в этом городе милиционеров! При виде их ноги сами уносили Чашкина прочь — в какие-то новостройки, в пустыри какие-то угрюмые, в трущобные подворотни.

По его расчетам, не так уж и поздно было, но от низкого, опять пригрозившего снегом неба в городе было темно, скверно, тошно и страшно.

Все-таки и здесь ему повезло!

Вдоль одной из улочек тянулась огромная, безобразно обляпанная асбестом труба — от теплоцентрали, должно быть. В одном месте она делала, неизвестно почему, П-образное движение, и вот тут-то Чашкин приметил что-то вроде шалашика из коробчатого картона, фанеры и горбылинок, сооруженного наверняка детишками.

Иван заглянул внутрь и обнаружил, что асбест здесь с трубы отодран, чернеет железо и от железа этого банный струится жар.

Он даже закричал от счастья, когда забрался внутрь этой хижинки, уселся на покосившийся ящик и почувствовал, как медленно и мощно начинает течь сквозь него жар от трубы.

Это было именно то, что требовалось. Именно сейчас, ни минутой позже. Он задремал.

...Разбудило его гнусное ругательство, раздавшееся за стенкой и изреченное совершенно ангельским, детским голоском.

Лист фанеры, который служил здесь дверью, отставили в сторону, и внутрь шалаша стал залезать мальчишка. Заметив Чашкина, приостановился.

— Это наше место! — сказал он без испуга, хмуро.

— Конечно, ваше, — согласился Чашкин. — Я сейчас погреемся и уйду, не бойся.

— Еще чего... — независимо усмехнулся мальчик. — Бояться...

Снаружи раздался все тот же ангельский голосок:

— Ну, чего ты там застрял? — И опять ругательство.

Первый мальчик влез. Следом за ним появился другой — удивительно на него похожий — младший, наверное, брат.

— Дверь закрой! — приказал старший, увидев, что тот испуганно и недоуменно уставился на Чашкина. — Дядя сейчас погреемся и уйдет, не!

— Что ж вы так ругаетесь-то, ребятки? — сказал Чашкин.

Те не нашли что ответить, промолчали оба.

Старший добыл свечу, приладил ее в колечком свитую проволоку оплетки, зажег.

— Ишь, как хорошо тут у вас... — искренно сказал Чашкин.

— А то... — согласился старший. Ему было лет десять, младшему — лет восемь. Они были так похожи, что, если бы не разница в годах, можно было бы сказать, что они близнецы. И оба — несомненно — походили лицом на отца.

Сели, как два воробья на веточке, рядышком — в одина-

ковых и одинаково бедных синтетических курточках, в одинаковых байковых шароварах. Даже ботинки у них были одинаковые.

Сели и с какой-то поспешностью даже стали смотреть на огонь свечи. И пламень свечи с отчаянной грустью стал отражаться в их немигающих глазах.

— Ну, давай, что ли! — сказал старший, с трудом оторвав взгляд от огня.

Младший из-за пазухи вытащил, поставил на землю бутылку. Извлек батон хлеба.

— Что это у вас? — ужаснулся Чашкин.

— Вода, — превосходительно усмехнулся старший. А младший добавил: — Мы только воду пьем.

Старший отломил от батона горбушку, отдал брату. Другую горбушку отломил себе. Середку протянул Чашкину: — Хотите?

Чашкин подумал было отказаться, но рука его сама жадно схватила кусок и понесла ко рту.

Мальчишки сидели, без жадности пожевывая хлеб. Время от времени брали с земли бутылку, запивали. И опять безотрывно глядели на огонь.

Младший сказал:

— Сюда менты часто заглядывают. Нас-то они не трогают — знают, что детдомовские.

— А я уйду скоро, — сказал Чашкин. — Согрелся. Мне сидеть нельзя.

— Вы попейте, — сказал старший, коротко поглядев в лицо Чашкину. — Мы уже...

— Хорошие вы ребята, — честно сказал Чашкин и стал пить из бутылки.

— А хлеб, если хотите, возьмите! — сказал младший. — У нас его в столовке навалом!

— Хорошие вы ребята, — повторил Чашкин, боясь, что сейчас расплачется. — Дай вам бог, чтоб все было хорошо.

Он смотрел, как они сидят рядышком, горемычные братишки, и ему казалось, что он все знает о них! И, глядя в их лица, он упорно вдруг принялся думать об их отце (мать он с презрением миновал размышлениями). «Где тебя носит, парень? — спросил он отца этих мальчишек. — На какую такую жизнь променял ты их, дурень? Где ты еще найдешь такую веру в тебя, такую преданность тебе, такую безоглядную любовь? Какие такие сладкие пироги прельстили тебя, что ты бросил их, родных, на произвол жизни, на всю жизнь заразил их тоской об отцовской руке, о мхумрой отцовской ласке, в ответ на которую они наперебой готовы были бы отдать всех себя, всю свою крохотную жизнь? Ах ты, дурак, дурак! Или — не повезло — за решетку угодил? Или — по глупости да по молодости к бутылке прислонился? А она-то, стерва, тебя и сгубила? Возвращайся, дурень, пока они еще помнят тебя и тоскуют о тебе! Вернешься — тремя счастливыми будет больше в России. Не вернешься — кара тебе страшная! — за то, что тремя несчастными будет больше!» И что-то еще, такими же невнятными восклицаниями рвущееся из души, думал Чашкин, глядя на печальный остренький отсвет свечки в глазах этих неприкаянных пацанов.

— Пойду я, — сказал Чашкин со слезами на глазах. — Спасибо за хлеб. — И, пролезая мимо них, он по очереди погладил каждого по коротко стриженному, одинаково ершистым головкам.

Старший протестующе вынырнул из-под ладони. Младший замер, напрягшись, будто бы в тревоге, будто бы в ожидании, будто бы в надежде.

Теперь Чашкин уже окончательно не знал, куда идти.

Стемнело. Он старался держать в сторону, где было побольше света.

Довольно скоро он выбрался на улицу, где было и светлее, и оживленнее, чем везде. С треском разбрызгивая слякоть, пролетали машины. Ярко освещенный, битком набитый, проплыл троллейбус, живые еще Чашкиным не виденный.

Он выбрал паренька, который бездельно подпирал стенку, и спросил про шоссе на Москву. Тот поглядел на него остекленевым, отупелым взором. Чашкин кончил говорить — парень отвернулся и снова с равнодушием стал разглядывать улицу. Чашкин боязливо, как от больного, отошел.

— А хо-хо не хо-хо?! — вдруг крикнул ему вслед парень и визгливо засмеялся.

Ежась, Чашкин ускорил шаг. «И ведь не пьяный вроде, — подумал он с недоумением. — Сумасшедший, что ли?»

После этого Чашкин собеседников стал выбирать осторожнее.

Никто не знал, где шоссе на Москву. «На Москву?!» — переспрашивали они таким тоном, словно речь шла о дороге на Луну.

Наконец ему повезло.

Старушка — видимо, старая учительница, — ядовитая и сухонькая, как стручок перца, охотно остановилась, поставила на землю тяжелую сумку, выслушала и стала долго объяснять, называя номера автобусов, троллейбусов и подробно рассказывая, где и как надо делать пересадки.

— Мне бы как-нибудь так, чтобы пешком... — кротко сказал Чашкин.

— А почему? — начала было старушка, но тут же перескочила вдруг на выговаривающий тон. — А почему вы, пожилой человек, в таком виде? Вам не стыдно? Вы, видимо, выпиваете?

Она говорила напористо, с удовольствием, так что Чашкин не находил и щелки в ее разговоре хотя бы слово сказать в оправдание.

— Ведь у вас же наверняка внуки! Вы поглядите, в каком вы виде! Отправляйтесь сейчас же домой! — Она говорила с ним так, как разговаривала, должно быть, с учениками.

— Матушка! — встал наконец Чашкин. — Куда мне — домой? В чужом я городе! Ограбили тут меня!

— Значит, правильно, — выпивши были.

— Не был я выпивши! Мне в Москву надо! Ни копейки не оставили! Потому-то и нужно мне шоссе на Москву — может, кто-нибудь и подвезет ради Христа! А вы меня костерите...

— Если все — так, как вы говорите, то вам надо сюда! — И она показала на какое-то серое, угрюмое здание, в котором повсюду светились окна. — А не на улице денег выпрашивать!

Чашкин от изумления даже задохнулся.

— Там, если вы говорите правду, вам выпишут бесплатный билет и отправят.

Она еще раз с большим сомнением оглядела Чашкина с ног до головы и, нагибаясь к сумке, добавила:

— Сбоку, где стеклянный подъезд, — приемная. Идите! Если вы не лжете, там вам и бесплатный билет выпишут.

«Выпишут. Как же...» — с усмешкой бормотал Чашкин. Однако шел туда, куда показала эта на диво яростная старуха.

Ни вахтера, ни милиционера (чего особенно опасался Чашкин) в стеклянном подъезде не было. Две двери выходили в этот подъезд. Он дернулся в одну — было закрыто. Из-за другой доносился голос телевизионного диктора.

Чашкин стукнул в притолоку и вошел.

Он вошел и обомлел. За столом сидел Деркач.

— Что у вас? — спросил Деркач и снова с интересом повернулся к телевизору.

Тут Чашкин понял, что обмшурился. Это не был его директор. Хотя похожи они были, как близкая родня. Такой же синевато-серенький костюмчик, галстук с переливом, алая цацка на лацкане и — бритвенный пробор в жирно намазанных волосах.

Чашкин протянул выручалочку-телеграмму. Тот бегло глянул.

Чашкин принялся излагать подробности, но родственник Деркача почти просительно вдруг перебил его:

— Давай-ка, дед, посмотрим! Очень важно... — и опять устремился взглядом в телевизор.

Чашкин послушно стал смотреть.

...На экране все то же — замедленное, сонное и чинное — длилось похоронное торжество. Так же спешно бежали люди по залу, бросая насильственно-любопытные взгляды в сторону пышного, похожего на клумбу сооружения, на котором, всем уже посторонний, еще более, чем в прошлый раз, похожий на мертвеца, возлежал покойник. Стояли, браво окоченев в предписанной им серьезности, солдатики с бутофорскими винтовками. Грузные, одинаково одетые начальники стояли, напрягаясь, в ряд, и все то же выражение надуманной скорби было натянуто на их лица.

Чашкин с любопытством покосился на хозяина приемной. Тот зрил в экран телевизора — жадно, отыскивающе! Какой-то немыслимо азартный интерес был для него в этом тягостном действе.

— Во-о! — воскликнул он вдруг со счастьем в голосе. — Видишь? — И ткнул пальцем в какого-то сумрачного очкастого мужа. — Вот этот!

— Чо «вот этот»? — не понял Чашкин.

Тот, оторвав взгляд от экрана, снисходительно объяснил: — Председатель похоронной комиссии... А это значит, что он-то и будет!

Чашкин опять ничего не понял.

— А почему? Если начальник похоронной этой... команды... так, значит, он и «будет»? Закон, что ль, такой?

— Закон не закон, а — точно!

Очкастый мужик с лицом филина стоял возле какой-то двери, мимо него проходили какие-то другие мужики, бережно жали руку, поклонялись головами...

Скучно было Чашкину. Ему хотелось уйти — тем более что он чувствовал, что ничем ему этот деркачевский родственничек не поможет.

Знакомый диктор появился на экране. С гримасой врущего человека, которому уже надоело врать, а врать надо, он стал скорбно восклицать, изредка заглядывая в бумажку:

— Нескончаемым потоком со всех концов нашей страны, всего мира идут и идут в эти дни тысячи телеграмм от государственных деятелей... руководителей партий и правительств... от миллионов простых тружеников...

Чашкин хихикнул.

— Ты что? — строго глянул на него хозяин приемной.

— Вон как врут-то! — сказал Чашкин, сам удивляясь тому, до чего легко быть смелым, когда нечего терять. — «Тысячи телеграмм от миллионов тружеников». Во врут-то!

Тот на секунду задумался и тоже, скрыто, хмыкнул. Потом с интересом посмотрел на Чашкина.

— Ну ладно! Рассказывай, что случилось... — Тут же, впрочем, вдогонку строго заметил: — Тысяча телеграмм от миллионов тружеников — это вполне возможно. Если, к примеру, одна телеграмма — от десяти тысячного завода? А? Соображай!

Чашкин нехотя рассказал о происшедшем с ним. Не было у него никакой надежды на этого мужика.

— Та-ак... — явно растерянно проговорил тот, с неудовольствием свалившейся на него заботы глядя на Чашкина. Видно было, что он раздумывает сейчас об одном: как бы Чашкина половчее сплавить.

— Своих денег у меня, к сожалению, нет. Если билет оформить, так это только завтра. Зав. транспортного отдела — в командировке, к сожалению. Приходи-ка ты завтра! Позвонишь вот по этому телефону! — Он быстренько начеркал что-то на листке календаря. — Понял?

— Завтра так завтра, — вяло сказал Чашкин, подошел к столу, но взял с него не листок календаря, а свою телеграмму. — Вы мне рассказали бы, как на шоссе выбраться, которое на Москву.

— Это очень просто! — С готовностью и радостью засидевшегося человека тот выскочил из-за стола, подошел к окну. — Иди сюда! Видишь улицу? По ней выйдешь на улицу Ленина. Вот по улице Ленина и иди — она и есть Московское шоссе!

— С паршивой овцы — хоть шерсти клок! — бормотал Чашкин, выходя из стеклянного подъезда.

«Ну, ты, что же, старая, врала мне?» — вспомнил он вдруг язвительную старушку, объяснявшую про троллейбусы, автобусы и пересадки.

Он остановился, соображая, в какой стороне улица, на которую ему показывал из окна начальник приемной. К нему тотчас подошел молодой, мордастый, неизвестно откуда вынырнувший.

— Ты чего здесь толчешься? — строго и угрожающе спросил он вполголоса.

— Да вот... в этой... в приемной был, — с изумлением глянул на него Чашкин.

— Проходи, проходи! Не задерживайся!

— Да я вот не соображу, как на улицу Ленина выбраться.

— Проходи, я кому сказал! — уже со свирепостью в голосе просвистел тот. — Вон там твоя улица Ленина!

— Ну вот... Так бы и сказал, милый, — по-стариковски отозвался Чашкин, начиная движение. Спасибо, милый... — И, уже уходя, из любопытства оглянулся.

Невзрачный человечек в каракулевой шапке пирожком, напоминающей высокий колпак, с папочкой под мышкой торопливо вышел — как выбежал из дома и, не оглядываясь по сторонам, нырнул, будто в убежище, в большую черную машину, поджидавшую его в пяти шагах от дверей.

По разные стороны от машины маячили в отдалении еще человек шесть молодых и мордастых.

«Э-э! — догадался Чашкин. — Так это ж охрана! —

И ужасно удивился: — Неужели кому-то нужен этот ханурик?.. — А потом подумал рассудительно: — Им, однако, виднее. Стало быть, чувят: есть из-за чего бояться!»

Он шел по шоссе в сторону Москвы, и знание того, что именно эта дорога ведет к цели и он наконец-то выбрался именно на эту дорогу, — знание это укрепляло его.

Он двигался как заведенная кукла, смутно чувствуя, что только такая ходьба позволит ему пройти как можно дальше.

Он шел и абсолютно ни о чем не думал.

Он был не человек уже, а как бы аппарат для ходьбы, и человек в нем глубоко дремал тоскливой черной дремотой.

...Проснулся он оттого, что ткнулся в борт грузовика, остановившегося перед ним на обочине.

Он обошел угол кузова и, вновь засыпая, пошел дальше, но тут услышал оклик:

— Ты что же, дедушка, голосуешь, а сам мимо идешь?

Чашкин в удивлении остановился, оглянулся.

— Тебе куда надо-то?

— В Москву я...

— Эва! До Москвы не довезу, а до Фуфаева могу! Садись!

— Христа ради довезешь, тогда сяду!

Тот заржал от удовольствия:

— Ну ты, дедка, юморист! Договорились: «Христа ради»!

Чашкин неторопливо подошел. Взялся за ручку распахнутой дверцы. А влезть на ступеньку не смог — от боли в мышцах ног аж захныкал!

Шофер дал ему руку, легко втянул в машину.

— И чего ж ты, дед, в Москву намылился? — оживленно спросил он, вырывая на асфальт и разгоняя машину.

— Ко святым местам, батюшко... — скупно и значительно отвился Чашкин.

— ЦУМ — ГУМ — «Детский мир»? Понятно! Сам недавно был. Зубную щетку купил — три недели обмывал, жена до сих пор не разговаривает. Анекдот хочешь? «Ж-ж-ж...» (он изобразил жужжание), «Чм-мо!» (тут он издал поцелуйный звук). Что это такое?.. Вот видишь, не знаешь... Это — «визит Ильича на Кубу»!

Чашкин ничего не понял, хотя на всякий случай ухмыльнулся.

Шофер объяснил: «Ж-ж-ж-ж» — это самолет летит. «Чм-мо!» — это Ленка у трапа целуется! Врубился?

Чашкин опять ухмыльнулся, хотя опять ничего не понял.

— А вот, слушай, тоже случай был... — начал и он и рассказал про зайца, который боялся, что его примут за верблюда.

— А то еще вот, слушай! Русский, англичанин и француз поспорили...

...А Чашкина тут ошеломила такая тяжелая стремительная дремота, что он вдруг клонул носом и стукнулся лбом о панель кабины. Очнувшись на секунду, выпрямляясь, и опять рухнул в сон, откинувшись затылком к спинке сиденья. Это даже и не сон был. Это была какая-то черная, бешено понесшаяся сквозь него горестная метель!

Это был сон о матери, хотя она и не представляла его взору. Это был сон об отсутствии матери. О черной зияющей пустоте, которая осталась после ее ухода. О тошном страхе жить ему в этом мире — без матери.

И черный торжествующий, злорадный ветер этого сна несказанно едко язвил его душу тысячью каких-то запоздалых сожалений, напрасной, уже в никуда обращенной нежностью, немотой так и не высказанных никогда ласковых слов к матери, жгучими проклятиями себе...

И — наконец-то — он заплакал о матери, сквозь сон, не открывая глаз! Отдохновенно, исчерпывающе заплакал — ощущая, что хоть и не уменьшается мера горести в нем, но все же легче и проще становится на душе.

— Э-эй, дедка!

Чашкин услышал, что шофер толкает его в плечо.

— Что это с тобой? Я ему анекдоты травлю, а он... Э-эй!

Чашкин открыл мокрые глаза, утерся кулаками.

— Заснул я, парень, — сказал он извиняющимся голосом. — Должно, приснилось что-то.

— У тебя, может, чего случилось? Может, заболел?

— Да нет. Ничего не случилось. Что может случиться?

— ...а то я недавно тоже одного вз... Мужик как мужик. Сидим — разговариваем. А он вдруг ка-ак заорет! Ка-ак давай биться! Пена изо рта! Этот оказался, как его... эпилептик!

— Ну, а ты чего?
— Чего... Вытащил на обочину...
— И бросил?! — ужаснулся Чашкин.

Парень обиделся:

— Ну ты, дед, даешь! Бросил... Машина тут какая-то сразу остановилась. Мужик толковый оказался: отвертку ему в зубы, меня на ноги посадил. Тот подергался-подергался — прочухался! И, ты знаешь, ни хрена не помнит! О чем до последнего слова разговаривали — помнит, а дальше — тишина!

Они помолчали. Потом Чашкин спросил:

— Ты мне вот что скажи... От того места, куда меня привезешь, далеко ли еще до Москвы будет?

— От Фуфасова-то? Да не-е! Километров двести... А ты все же, дед, сознайся, чего это ты в Москву намылился?

— Ко святым местам, сказал же.

— В Лавру, что ли? Без булды? Если в Лавру, то тебе и того меньше: километров сто пятьдесят. А ты что же, верующий?

— Будто бы ты неверующий...

— Этого я, честно, не знаю! — признался шофер. — Что-то такое должно, конечно, быть. Наши деды, что уж, вовсе дураками были? Во-о! — воскликнул он вдруг с оживлением. — Хочешь, расскажу? Со мной лично был случай! Слушай! Нужно мне было как-то ехать в Демьянск, за запчастями. С утра. И вот просыпаюсь, а у меня такая мутота на душе — хоть вой! Гадом быть. Не хочу я ехать! Хоть убивайте! Что-то, чувствую, со мной в этой езде случится. Или авария. Или наезд совершу. Что именно случится, не знаю, но только не хочу я ехать! Боюсь я ехать! Слушай дальше. Посылаю жену. Скажи, дескать, что заболел, что с похмелья мучаюсь, чего хочешь скажи, но пусть сегодня вместо меня кого-то другого посылают. Ну, вот. Послали вместо меня Стасика, был у нас такой, совсем пацанчик, только что с курсов. И — что же ты думаешь? — едет он обратным рейсом, и за два километра от того места, где я тебя посадил, навстречу ему «зилек» с прицепом! И вот у «зилка» того прицепа вдруг отрывается, волчком по шоссе — бац! — Стасику тому прямо в кабину!! Жив он, правда, остался. Ног у него только по сих отщипали. Калека, в общем, на всю жизнь. А ты говоришь...

— А совесть-то не мучает, что он вместо тебя оказался? — неожиданно прокурорским тоном спросил Чашкин.

— Ага, — просто сказал шофер. — Я ему теперь и дровишек, когда себе везу, подкину... и с бутылочкой когда-нибудь заедешь... Он-то не знает! Он-то думает, что я по дружбе или там из жалости. Иной раз и сам просит помочь. А я-то знаю! Но молчу. Вот тебе, пожалуй, второму рассказываю, поскольку чужой. И жене велел. Убью, сказал. Если ты хоть кому-нибудь, хоть полслова обронишь, — убью! Такие вот дела. Ты, дед... (он постарался сказать это с усмешкой), когда там будешь, свечку или чего там надо поставь, чтобы, значит, как это называется, не знаю... Меня Тимуром звать, Тимкой.

Ноги у Чашкина прямо-таки криком закричали, когда вылез он, почти вывалился из кабины и утвердился на земле.

Страшно было начинать шагать. Он с полминуты постоял в нерешительности. Потом пошел. Сначала пошатываясь и похрапывая на каждом шагу, потом — как уже приносившийся ходить: с одушевленностью то есть механизма, никуда по сторонам не глядя, никуда будто бы и не стремясь.

Через некоторое время он поймал себя на том, что думает о шофере, который только что его подвозил, и об истории, которая с тем приключилась.

Нечаянно обнаружив это, он тотчас принялся размышлять и о том удивительном, что с ним, Чашкиным, произошло: по чьему он, Чашкин, так обвинительно расспрашивал парня о том, не мучает ли того совесть? Только ли потому, что личина калики перехожего, идущего ко святым местам (личина, которую он принял не без удовольствия), требовала от него именно в таком тоне говорить с шофером? Или он и в самом деле имел какое-то свое, собственной верой заслуженное право так говорить с маловерующим?

Он стал думать о Боге, о себе, о своем к нему отношении и не мог не признать, что в этой стороне его жизни лежит как бы огромное пространство пустоты. То есть он никогда не отгораживался стеной отрицания от Бога, но никогда и не обращал взоры свои к нему. Море ленивого равнодушия простиралось между ними.

Он вдруг подумал: если он, Чашкин, был равнодушен к тому, кого называют Богом, то ведь и тот, кого называют Богом, вправе быть (и он наверняка был!) столь же равнодушным к нему, Чашкину! И не от этого ли так скучно, так убого, словно бы серенькой пылью припорошена, оказалась прожитая им жизнь?!

Это предположение поразило его.

Он вспомнил школьную свою знакомую Наталью Флегонтову. Как они встретились случайно в райцентре (она жила теперь там, за военкомом), как стояли посреди ярмарки, грустно вспоминая школьные годы, расспрашивали друг друга о жизни, о детях (у всех все было хорошо, то есть обыкновенно), и вдруг Наталья, не договорив о дочери: «...в институт вот собирается...» — вдруг в изумлении потрясения замолкла! Уставившись прямо в глаза Чашкину, спросила с болью:

— И это все?! — Потом еще раз, уже почти со слезами повторила: — И это все, Ваня, что и должно было быть?!

Тогда-то он не очень понял, о чем она. А вот сейчас догадывался. И что именно имела в виду Наталья, и отчего у него да и у Натальи, да и у других такая пасмурная, такая водовозная получилась жизнь.

Если ОН есть, догадывался Чашкин, то никакого ЕГО милосердия не хватило бы на эту тьму равнодушных к НЕМУ, глумящихся над НИМ, отрицающих ЕГО! ОН не мог не покарать их, но из милосердия своего покарал лишь равнодушием своим! Просто оставил их одних, сирых и убогих, на произвол устроенной ими жизни!

И, взволнованный этой догадкой, Чашкин вдруг принял торопливо молиться, обращаясь куда-то туда с просьбой простить! А когда счел, что просьба о прощении достаточно, стал просить, чтобы они дали ему силу идти! И чувствовал стыд в себе, потому что не мог ведь не знать, что из корысти обращается, а не по истинной вере, совершенно одновременно допуская, что все просьбы его впустую, и то, что (кто же их знает?), может быть, и помогут...

Странно ему было со стороны смотреть на себя, молящегося.

Странно, но не смешно и не стыдно.

Он продолжал идти и, когда сзади вспыхивал свет фар, механически начинал семафорить левой рукой, не оборачиваясь и уже почти не надеясь, что кто-то остановится.

Машин в этот час было совсем мало, и все машины торопились по домам.

Вдруг «Москвич», резко завизжав тормозами, свернул перед ним на обочину. Открылась дверца, и молодой, почти мальчишеский голос спросил:

— Вам докудова, дядечка?

— Туда, — показал Чашкин. — Довезите, сколь сможете.

В машине прозвучал еще один, такой же юный голос:

— Да брось ты его, Серый! Ты только посмотри на него!

— Замолкни! — сказал Серый в глубь машины. — Давай, дядя, садись! — И потянулся открыть заднюю дверцу.

— Да вы езжайте, сынки... — сказал неуверенно Чашкин.

— Садись, садись, дядя! Что ж мы зря тормозили?

Чашкин сел на заднее сиденье. Там сидел еще один, совсем паренек, а у другой дверцы — девчушка лет шестнадцати, то ли обиженно, то ли простуженно дышавшая в шарф.

Они поехали.

— Ну вот... — продолжая прерванный, видимо, рассказ, заговорил тот, кого называли Серый. — Висит Кирпич на заборе, джинсами зацепился и орет: «Пацаны! Дерните кто-нибудь!» — Все засмеялись, будто сказано было что-то очень смешное. — Сторож из ружья — бац! Кирпич от страха ка-ак заорет: «Дядечка! Я больше не буду!» — Тут все заржали так, что даже машину, кажется, повело по шоссе зигзагом. — Ка-ак заорет! Ка-ак дернется! Джинсы — вжик! — Все покатывались со смеху, кроме Чашкина и девочки. — Мы потом смотреть ходили... Так он от страха желе-зный прут в дугу согнул!! — После этих слов они даже хрюкать начали.

Не нравились Чашкину эти мальчики.

— Да! — отсмеявшись, весьма серьезно сказал Серый, который был у них за главного. — В субботу... может, кто-то забыл, — тут он многозначительно посмотрел на мальчика, сидящего рядом с Чашкиным, — на «елку-моталку» идем! В пять собираемся возле стройки. Меньше чем двадцатью человеками идти туда — гроб! Весь гемоглобин выпустят. Ты, Лоб, — он обратился к шоферу, — Казика зови, Берендея, Лобзика.

Лоб сказал:

— Угу. К Берендею брат из армии приехал, десантник. Вот бы его нам, а?

— Да уж... — мечтательно отозвался Серый. — Мы бы им устроили «хрустальную ночь». А ты, Буба, — он обратился к мальчику рядом с Чашкиным, — тащи Халяву, Саботажников, всех трех, они ребята крутые... Кто там еще рядом с тобой?

Тот, кого звали Бубой, промолчал.

— Так, значит? Ну-ну... — непонятно, но с отчетливой интонацией угрозы произнес Серый и, полуотвернувшись, стал смотреть на дорогу.

Тот, что сидел за рулем, попытался перевести разговор:

— Сява говорил, что ему братишка из Питера кассету «Пинк Флойда» прислал.

— Стоп! — сказал вдруг Серый. Лоб непонимающе поглядел на него. — Тормози!

Серый повернулся к Чашкину:

— Здесь, дядечка, нам сворачивать. Так что довидзения! Буба поспешно помог открыть дверь, и Чашкин вылез. Он прошел всего несколько шагов, когда услышал вновь голос Серого:

— Дядя! Эй! А про денежки-то забыл? Нехорошо детишек накалывать!

Серый вылез и подходил теперь к Чашкину.

— Так у меня же нет, — растерялся Чашкин. — Я думал, вы просто так...

— Слышишь, Лоб, — крикнул в кабину Серый, — он говорит, что у него денег нет!

— Да что ты?! — с деланным изумлением сказал Лоб и тоже стал выбираться из кабины. — Да не может такого быть!

— Он так говорит.

— А я одного бензина сколько на него пожег... — посетовал Лоб.

— Да-а, — огорченно протянул Серый. — Что ж делать-то? Подержи меня, Лоб.

— Вы что, ребятки? — сказал Чашкин.

Лоб зашел за спину Серого, просунул ему в подмышки руки, и тот, высоко вдруг подпрыгнув, резко дрыгнув ногами вперед, ударил Чашкина, норовя попасть каблучками в лицо.

Он попал ему в грудь. Чашкин упал.

— Ах ты, гад! — вскричал припадочным голосом Серый и стал бить упавшего Чашкина ногами, как футбольный мяч.

Чашкин скрючился, поджал колени к груди, зажал голову руками.

Он очень удачно примостился: близко к машине, спиной к ней, — так что когда они норовили попасть ему по почкам, ничего не получалось у гаденышей.

Вдруг удары прекратились. Чашкин услышал:

— Ты что, Буба?! — Серый пыхтел, кем-то отгаскиваемый.

— Ну и подонок же ты!

— Хочешь, чтобы и тебя так?

— Только попробуй! — В голосе Бубы слышно было полное отсутствие страха.

«Молодец мальчик. Спасибо», — подумал Чашкин, все еще ожидая ударов и сжимаясь в комок.

— А-а! — бессильно и злобно провыл Серый. — На брательника надеешься?

Тут раздался из машины безмятежный, с капризинками голосок девочки:

— Ну, вы поедете когда-нибудь или нет? (Девочке, видите ли, надоело ждать. «Ах, какая сучонка!» — с отчаянием подумал Чашкин.)

— Правда, Серый, — примиряюще сказал Лоб, — уже и машину надо на место ставить. Того и гляди хозяин прочтнется.

— Ладно! — сказал Серый. — Но только ты, Буба, еще попомнишь этот день!

«Переедут еще...» — обеспокоился Чашкин. Он лежал чуть впереди и чуть правее переднего бампера. Когда гаденыши пошли расслаживаться по местам, он быстро-быстро, как перекасти-поле, перекувырнулся несколько раз и стал лежать рядом с кюветом.

Он так и лежал, в комок скрюченный, пока не загудел мотор, пока машина не уехала, пока вонь от ее выхлопов не развеялась в чистом воздухе.

Только после этого он позволил себе расслабиться и глубоко вздохнуть.

Вздох отозвался острой болью в груди. Чашкин закашлялся. Дышать после этого стал осторожнее.

В общем-то неплохо отделался, определил Чашкин, пройдя несколько шагов. Кроме боли в груди — от того, первого каблучками удара, — всерьез больно было только ногам, поскольку именно голени в основном-то и принимали все удары. Кисти рук тоже были сплошь в ссадинах и синяках, напоминали пухлые скрюченные клешни, но они не очень-то и беспокоили.

Хорошо хоть спину спрятал, подумал Чашкин, это прямо-таки счастье, что я так ловко приспособился.

Однако через пять минут ходьбы он услышал, что не так уж все ладно обошлось. На разные лады, то тут, то там, стали подвывать все ссадины, ушибы, а может, и переломы, которыми наградили его эти трудные подростки. Особенно стало досаждать то, что он не мог нормально вздохнуть. Каждый более или менее глубокий вдох отзывался болью, от которой Чашкин невольно скрючивался и руки прижимал к горлу.

Но боль, самая острая, с каждым шагом все более свирепеющая, была все же в ногах, где все кости ниже колен были избиты особенно жестоко.

Теперь он шел как на подламывающихся ходулях. И после каждого шага, отдающего ослепительно черной вспышкой боли, все замирало у него внутри — в отчаянии страха перед новым шагом.

Его все время так и тянуло: встать на четвереньки и попробовать передвигаться так, чтобы только не испытывать этой пытки ходьбой.

О тех, кто его бил, ему неохота было думать. Несколькими раз со смутным «спасибо» уважительно вспомнил мальчика по кличке Буба. Но в общем-то недосуг ему было думать об этом: боль, ожидание боли, претерпевание боли — вот это занимало его по-настоящему.

Он даже не заметил свет фар, вспыхнувших сзади. Шел себе и шел, как на разболтанных протезах, внимал увечьям.

Машина поравнялась с ним и поехала самым малым ходом.

Передняя дверца распахнулась, и человек в милицмейской форме молча и изучающе стал рассматривать Чашкина, преодолевающего дорогу.

— Далеко путь держишь? — бодрим, дневным голосом спросил наконец сидящий в «газике», нагледевшись на Чашкина.

Чашкин прохрипел что-то неопределенное, махнув рукой вперед. Он даже не взглянул на говорящего.

Машина еще немного проехала рядом, потом отстала, и вдруг резким светом озарилось все вокруг Чашкина!

Он словно бы проснулся. Оглянулся. На крыше «газика», слепя глаза, светил маленький прожектор.

Чашкин поспешно отвернулся. Тут перед ним уже стоял милицмейский.

— Документы есть?

Чашкин промычал отрицательное.

— Почему?

— Ограбили, — с клекотом сказал Чашкин. — Избили.

— Кто ограбил? Кто избил?

— Пацаны ваши. На машине.

— Описать можете? Какие они из себя?

— Сволочи, — сказал с усилием Чашкин и закашлялся.

— Где живешь? Адрес?

Чашкин сквозь мучительный кашель отмахнулся:

— Далеко... Не здесь.

— Ну-ка давай-ка! Садись к нам в машину — разберемся! — Милицмейский взял Чашкина за рукав. Тот робко попробовал высвободиться.

— Мне в Москву надо! Похороны у меня!

— Ишь ты! В Москву! — восхитился милицмейский. — Так тебя там и ждут, такого красивого! Давай-ка для начала к нам заедем, а потом уже в Москву-то!

Задняя дверь «газика» была уже распахнута. Там было что-то вроде клетки.

Взвывая от боли в ногах, Чашкин кое-как забрался. Дверцу захлопнули. На оконце была решетка. Решеткой же отделялась и кабина, где сидел молчаливый штатский и куда бодро-спешно, как после удачной охоты, забрались на переднее сиденье милицмейский с шофером.

Машина побежала по шоссе, свернула на плохой асфальт. Чашкин в тоске закрыл глаза. Он всем нутром своим слышал, что его везут в сторону!

— Вылезь!
Чашкин вылез.
— Иди!
Чашкин пошел.
За прилавком, похожим на тот, что был в отделе перевозок, сидел и иронически улыбался младший лейтенант.
— Вот, товарищ лейтенант! Подобрали на шоссе. Идет, говорит, в Москву. Документов нет.
— Ага. А почему же у тебя, дорогой товарищ, нет документов? — очень искренно, казалось, поинтересовался лейтенант.

— Обокрали.
— Ай-яй-яй! — в шутку ужаснулся лейтенант. — Обокрали?! Ну, и как же тебя обокрали?

Чашкин стал рассказывать. Говорить ему было трудно: болела грудь, да и неохота ему было говорить. Он видел, что натужным, насильственно-кратким его словам не верят.

— Там, в аэропорту, протокол составляли, — вспомнил он. — Вы, так свяжитесь...

— Ага! — совсем развеселился лейтенант. — Прямо сейчас и свяжемся! По спутниковой связи! — Однако тут же стал серьезный и даже грозный. — А теперь давай-ка и мы протокол составим. Но чтобы без вранья у меня! Понял? Фамилия?

— Чашкин.

— А может, Плошкин? Ты подумай! Ну ладно... пусть будет пока Чашкин.

— Я на похороны летел. У меня же телеграмма есть! — Чашкин полез за пазуху.

— Может, у тебя там еще что-нибудь есть? Логвиненко, обыщи-ка его!

Логвиненко обшаривал Чашкина, а лейтенант читал тем временем телеграмму.

— Вот! — сказал Логвиненко. — Кусок батона и бумажка с неизвестным адресом.

— Батон оставь, бумажку давай сюда!

Чашкин всполошился:

— Э-э! Это адресок мне один шофер дал!

— Не бойсь! Все будет в целости! У нас ничего не пропадет. Больше ничего нет? — спросил лейтенант у Логвиненко. — Значит, оформляем как бомжа. По какому, говоришь, адресу проживал?

Опять ни единому его слову не верили. Опять кошмарное возникло ощущение: перед ним уже побывал в этих краях кто-то, так всем нагвавший, что теперь уже никто никому не верил.

— Подпиши-ка вот здесь, Чашкин, и иди отдыхай! Завтра будем с тобой разбираться, Чашкин, Плошкин... Лейтенант маленько тут задумался и добавил: — ...Поварешкин! — И рассмеялся с удовольствием. — А с телеграммой, молодец, это ты что-то новое придумал, — добавил он искренно, — все остальное слышали, и не раз! А вот такое впервые. Молодец!

Чашкин подписал, где показали.

Логвиненко открыл засов на решетке, которая здесь же, в этом же помещении, отгораживала что-то вроде загона. Похоже было на клетку зоопарка.

В загоне на голом полу, похожий на, груду тряпья, спал человек. Услышав лязг засова, спустил с лица полы пальто, сел и ясным голосом сразу же заорал:

— Лейтенант! Требую врача!

— Погоди маленько... — отозвался лейтенант (из клетки его не было видно). — Уже вылетел врач. Срочным рейсом из Москвы. Склифосовский его фамилия.

— Протестую! Требую зафиксировать множественные побои, нанесенные мне милицией при исполнении ими гнусных своих обязанностей!

— Я вот тебе сейчас зафиксирую... — грозно сказал Логвиненко, возникшая перед решеткой. — Замолчишь? Замолчишь или нет?

— Замолчу, — сбавил тон кричавший. — Но не навсегда. Юнеска мне все равно поддержит!

...Во дворе раздались крики, шум, затем громохание в дверях.

Пьяным, развеселым голосом кто-то заорал на всю дежурку:

— Нам песня стро-ой пережить по-мо-га-ет!... Здорово, Петруха! Давненько не видел я твоей противной рожи! Пусти, сержант, дай я Петеньку поцелую! Слушай, Петруха Говорухин, как ты их воспитываешь? У них ведь ни боевой, ни даже политической подготовки!

— Опять нажрались, Иван Евдокимович?

— Кто учил тебя таким словам, Говорухин? Не «нажрался», а «вкусил внутриутробно». Дабы попытаться, Петюнчик, хоть в какой-то степени притупить то горестное чувство утраты, которое я испытываю совокупно со всем прогрессивным человечеством! Ты разве не испытываешь чувства утраты? И даже чувства глубокой скорби не испытываешь?! О-о! Никогда не думал, что из двоечника Говорухина выйдет такая черствая личность! Ушел из жизни выдающийся борец за угнетенное прогрессивное человечество, а ты?.. А ты продолжаешь сажать за решетку лучших людей России!

— Да не собираюсь я вас сажать, Иван Евдокимович...

— Тем хуже! Значит, среди лучших людей России ты меня уже не числишь!

— Ну, хотите, посажу?

— А вот тогда ты будешь предпоследний подлец! Ибо сажать любимого учителя, который обучил тебя слагать буковку родного языка в слова протокола...

— Русскому языку не вы нас учили.

— Если бы учил я, то я бы повесился! Думаешь, я не помню, что ты в прошлый раз написал?! «Вы-ра-зи-ми-ши-ся»! Да-с! Александр Сергеевич вовремя застрелился. Он знал, он предчувствовал, в чьи руки попадет русский язык!

Было слышно, как лейтенант сказал в сторону:

— Никонов! Я же тысячу раз говорил: не привози ты его сюда!

— Они перед райкомом в клумбу мочились.

На крыльце опять загромыхало. Лейтенант торопливо приказал:

— Доставь его домой, Никонов! А потом — на «елку-моталку»!

— Петро! Петюнчик! — вновь заорал бас. — Дай я все же таки безешку тебе влеплю! Ты возвращаешь мне веру в доброкачественность людей!

Чашкин впервые в жизни сидел за решеткой. Он словно бы даже околел от позора, его постигшего.

Сосед опять уже спал, привычно накрывшись с головой полами пальто. Чашкин же жался к прутьям решетки — поближе к воле — и, как на солнце, безотрывно зрил на лампочку, немощно светящую под потолком.

Он старался не прислушиваться к тому, что происходило в нескольких шагах от него. Он боялся поверить, но там, судя по аханью, хеканью, приглушенным стонам и мягкому стуку, били человека!

С грохотом опрокинулся стул.

— Ну, хватит! — деловито-недовольный, раздался голос лейтенанта. — Во вторую его!

...Сколько-то времени еще прошло, и Чашкин обнаружил, что возле клетки стоит Логвиненко и смотрит на него.

— Ну-ка, выйди-ка... — приказал милицейский, увидев, что Чашкин открыл глаза. — Да не бойся ты! — с досадой добавил он, когда Чашкин сделал заметное движение в глубь загона. С лязгом отомкнул засов.

— Ну что, Чашкин-Плошкин? — как доброго знакомого, встретил его лейтенант. — Иди сюда! Подпиши вот...

— А чо это?

— Декрет о мире! — Лейтенант, чрезвычайно собой довольный, рассмеялся. — Подписывай, не сомневайся!

Чашкин взял ручку и подписал: «Плошкин».

— А теперь иди и спи дальше.

— Это все? — не поверил Чашкин.

— А ты чего-нибудь еще хочешь? Иди-иди!

Чашкин вернулся в клетку, все еще не веря, что обошлось так просто.

Часа через два Логвиненко еще раз разбудил его, потолкав через решетку в плечо.

— Эй, Плошкин! Иди автограф давать!

Чашкин, еще не вовсе проснувшийся, пошел.

Когда подписывал, мельком поглядел, чего подписывает. «Сидорчук...» прочитал он, — ...в виде, оскорбляющем... сопротивление...»

— А вы не знаете случайно, на какой день хоронят? — спросил он, внезапно осмелев.

Тот не заорал, не погнался. Задумался.

— Дня два вроде... Эй, Логвиненко! — спросил он у дремлющего своего подчиненного. — На какой день хоронят?

— На второй, кажется. Бывает, на третий...

— А... — сказал Чашкин и вдруг обомлел, увидев свое лицо в зеркальце прибитом к стене.

Только сейчас он понял, почему сегодня его так упорно называли «дед».

Полусантиметровая щетина, совершенно белая, покрывала лицо. Чашкин с трудом узнал себя.

Странное дело, дома он и брился-то не каждый день — особой нужды не было, — а вот сейчас за какие-нибудь сутки дремучей бородищей оброс, седой и грязной.

Чувствуя довольно человеческое к себе отношение, он осмелился и попросил:

— Мне бы лицо умыть, а? А то эвон какое чувырло! — и показал на зеркало.

Логвиненко приподнялся со стула, показал в узкий коридорчик, ведущий из караулки. «Вон там умывальник!» Хотел было встать и сопроводить, как положено, но передумал и опять плюхнулся дремать.

Чашкин пошел коридорчиком и действительно вскоре увидел облупленную раковину и медный кран, торчащий над ней.

Но тотчас же он увидел и еще нечто, вдруг повергшее его в крупную, сразу же изнурившую дрожь.

В конце коридорчика была дверь. Дверь была приоткрыта. А за дверью этой чернота ночи.

Он открыл кран, вода зажурчала, но умываться он решил погодить.

Сделал несколько шагов и выглянул за дверь.

Дверь выходила во внутренний дворик милиции. Стоял на козлах бесколесный «газик». Рядком выстроились бочки... Но, главное (он мгновенно заметил это!), ворота из двора на улицу были нараспашку.

И ни единой души.

Стараясь не задеть дверку, виляющим движением Чашкин выскользнул на кривоватое крылечко.

Он почти терял сознание от ужаса того, что совершает.

Он впервые в жизни преступал закон!

Держась тени, прокрался к воротам.

Дальше начиналось освещенное фонарем пространство, миновать которое было никак нельзя.

И тогда с отчаянным внутренним воплем, напоминающим крик: «А-а-а!» — он бегом бросился через это чреватое опасностью место, наискось улицы, в проулок, который спасительно-мрачным тоннелем глядел на него с той стороны.

Проулок уходил круто вниз — наверняка к реке. Ему легко было бежать.

Проулок вынес его на неширокий мост через черную, заболоченную речку. Не задумываясь, он бросился на другую сторону, с ужасом слыша, как на сотни верст вокруг разносится буханье его ног по гулким доскам.

На другой стороне было что-то вроде слободы. Совсем деревенские, лепились дома вдоль широкой, неасфальтированной, лишь кое-где освещенной улицы.

Он чувствовал себя зверем, которого травят, и в нем работала инстинкт зверя. Широкой улицей он пренебрег — свернул в первый же проулок, совершенно непроезжий, бусарами бегущий вдоль реки. Сообразил: если и догоняют, то на машине или на мотоцикле...

Поскутные огородики пошли, каждый обнесен подобием заборчика — из дощечек, из проволоки, из спинок кроватей... Чашкин прилежно и охотно перелезал через каждую из оградок, каждый раз преисполняясь все более крепнущим чувством безопасности. Эти оградки были между ним, Чашкиным, и догоняющими его.

За огородами, как он и думал, распахнулся вдруг необъятный мрак полей!

Дорога чернела среди скупой присыпанных снегом пространств.

Чашкин упрямо по дороге не пошел. Ударил напрямик в поля — по раскисшей пахоте, на каждом шагу оскальзываясь, чувствуя с каждым шагом, как тяжелеют ноги от налипающей глины.

«Ох вы, милые!» — подумал он мимолетом о ногах своих, ноженьках, искалеченных, сплошь избитых. Они как будто и вовсе забыли болеть.

Вскоре он догадался, что если еще хоть минуту заставит себя бежать, то сердце у него не выдержит, разорвется и он умрет.

Больно разламывало грудь — там, куда угодил ему каблук тот юноша-гаденыш.

Чашкин перешел на шаг. Оглянулся. Ему стало радостно: никаких даже признаков города не было за спиной. Ни огонечка.

В какую сторону идет, Чашкин не знал. Он чувствовал

только, что уходит прочь, и сейчас это было главное. Как можно дальше, прочь!

Серо и мутно-светло было в полях.

Небо — все будто бы в черном, чадном дыму — грозило новым ненастьем. Ветра, однако, не было, и Чашкин, разогранный бегом, не чувствовал никакого неуютя среди пасмурных этих раздолий.

Туманно растушеванные, купами темнели ветлы. В стороне мрачным средоточием тьмы располагался грозный и мощный лес. Бедно присыпанная снегом земля простиралась вокруг.

Казалось бы, совершенно не ко времени, но Чашкин с ознобом нефонятого, непривычного и даже неприятного восторга вдруг услышал, как начинает проникать в него эта будто сквозь оловянную дрему глядящая красота.

Жалость и умиление почувствовал он в себе, глядя на эту землю, бедненько живущую под вечно хмурыми небесами, дождями, ветрами. (А впереди ведь была еще и зима — серая, непроглядная, неприглядная!) И эта жалость, и умиление это вдруг скачком возвысились почти до восторга, почти до слез, когда далеко-далеко, увидел он, зажглась в этих серебристых, дремотных потемках живо-живущая золотая искорка костерка!

Там были люди. В его положении лучше было бы избегать людей. Но он не смог удержаться, свернул и пошел на огонь костра.

Веточкой, отломленной от одиноко растущей ветлы, он стал очищать ботинки от лепех глины, налипших при ходьбе, — совсем уж неумоготу стало идти.

Кое-как отчистил, поднялся. Но — должно быть, как-то слишком резко поднялся — ударил его кашель!

Ужасно больно стало в груди от этого кашля. Вконец изнурил его этот кашель. Даже ноги стали дрожать... А когда успокоился и пошел дальше, продолжая держать путь на свет костра, солоно сделалось вдруг во рту.

Он отхаркнул и увидел черный плевок на снегу. Он утер губы кулаком и удивился: кровь!

Бережно присев, стал собирать с земли тощий снежок, глотать. Вроде бы помогло. Он еще раз для проверки плюнул — крови уже не было.

Должно, что-нибудь в горле лопнуло, поставил Чашкин диагноз и на заметно ослабевших ногах продолжил путь.

Через полчаса ходьбы открылось, что костер горит на берегу озера, дегтярно-черного в серых потемках этой ночи. Возле костра — палатка, и там медленно передвигаются какие-то люди.

Пройдя еще минут пятнадцать, приблизившись совсем, Чашкин остановился. Нужно было составить представление, что за люди это, не грозит ли какой-нибудь новой каверзой знакомство с ними.

Он смотрел минут десять, но так ничего и не понял.

Люди эти пребывали в некоем вялом постоянном шевелении. Вставали, пересаживались, отходили в сторону, вновь возвращались, садились.

Чашкина забирал холод, да и тошнехонько ему было после давешнего кашля. Он решился. Хоть погрееусь, сказал он себе.

— Доброго здоровьчика, люди добрые! — бодро, но и старчески-робко произнес он, вступая в свет от костра. — Дозвольте у тепла вашего погреться малость?

Один сидевший на коряге ближе всех к огню, чуть-чуть пододвинулся, бегло и без особого интереса глянув в лицо Чашкину.

С опаской в душе обнаружил тут Чашкин, что люди эти — сплошь молодежь и все сплошь патлатые. У двоих так волосы и вовсе собраны были сзади в девчоночьи хвостики. Что-то такое он слышал в телевизоре про этих волосатых и оробел не на шутку.

Но они как бы и не замечали его. Сидели каждый сам по себе, каждый словно бы в растерянную думу погружен. Глядели в огонь.

Двое какими-то странными, нервными, но будто бы и сонными движениями кружили поодаль от костра, то возникая в его свете, то вновь пропадая. Казалось, что они маются чем-то, неизбывной какой-то тоской.

Чашкин услышал рядом какое-то бормотание. Справа от него, не сразу им замеченный, сидел паренек. Раскачивался и повторял темные для Чашкина слова: «...хари-кришна, кришна-рама...»

Чашкин достал свой кусок батона, отломил кусок, протянул сидящему рядом. Тот взял, тут же поднял с земли прутик, насадил кусок и сунул в огонь.

Чашкин заметил взгляд, обращенный к нему с той стороны костра. Еще раз отломил и показал тому, как глухонему: «Будешь?» Тот поднялся, взял.

Чашкин оглянулся на молящегося. Тот все раскачивался и никуда не смотрел.

Оставшийся кусок Чашкин разломил надвое. Подождал, когда появится кто-нибудь из тех, кто колесил возле костра, и показал ему хлеб. Тот глянул взглядом непонимающим, продолжил свое кружение.

— Шоссе, которое на Москву, в какой стороне? — спросил Чашкин у сидящего рядом.

Тот промолчал, будто и не слышал. Потом, когда Чашкин уже и не надеялся на ответ, сказал:

— Там! — показал рукой. — Километра три.

Чуть слышным ветерком потянуло от озера, Чашкин чуть не задохнулся от тошнотворного, гнилостного запаха.

— Чем это воняет так? — спросил он в беспокойстве.

— Воняет? — медленно удивился сосед. — А-а... комбинат. Там. Труба. Сбрасывают...

— Чего ж вы такое место себе выбрали? — не удержался от вопроса Чашкин.

— Место? — опять удивился тот, потом подумал и сказал: — Красиво.

Вынул из огня слегка обуглившийся хлеб, стал есть, присвистывая от жара, но не жадно.

Вдруг заплакал младенец.

Чашкин в изумлении оглянулся. «Померещилось?!»

Нет. Младенец плакал в палатке. Потом оттуда раздался успокаивающий голос женщины, и младенец умолк.

Сосед, настрожившийся было, вновь принялся за хлеб.

Доев, он достал папиросу, ловко размял ее, высыпал табак на ладонь. Умело сдвинул цилиндрок папиросной бумаги с гильзы. (Чашкин глядел как зачарованный.) Из спичечного коробка подсыпал какого-то порошка в табак, перемешал и вновь начал гильзу.

Закурив и жадно затянувшись пару раз, протянул папиросу Чашкину.

— Нет, нет! Я не курю! — поспешно соврал Чашкин, тотчас с изумлением подумав, что за эти дни он и вправду ни разу даже не помыслил о куреве.

Парень еще разок затянулся и отдал папиросу на другую сторону костра.

Мечтательная улыбка забродила на его губах.

Чашкин встревожился.

— Пойду я... — Он поднялся.

Один из кусков хлеба, которые все еще держал в руках, положил на корягу. «Младенцу», — подумал он и пошел от костра вдоль по берегу зловонного этого озера, которое слегка дымилось, и какие-то дикие фигуры проплывали то тут, то там по его поверхности, то появляясь, то исчезая...

«Господи! — с тоской думал он об оставшихся у костра, словно бы заблудившихся в этом мире детишках. — Как в самом-то деле жить им в этом вонючем мире?.. Если я в пятьдесят своих лет торкаюсь, как слепой щенок, не могу ничего понять, и бит, и обижен, как только можно, так что же с них-то спрашивать?! Они же дети! А эта вонь, это ведь и есть та самая жизнь, в которой мы вынудили их жить! Но можно ли им жить в таком мире?»

Он вспомнил вдруг Катюху, неказистый их поселочек, ежедневные ее подъемы в школу, завтраки в сумрачной кухне...

«Сколько мало радости оставили мы детям нашим!» — поразился он вдруг.

Уже начало потихоньку светать. Небо с одного края по-прежнему заволочено было чадным дымом, но с другой, восточной стороны уже светло приотворилось.

Он шел прямоком через огромное, до горизонта простершееся поле, и поле это напоминало ему море, в тумане плавно вздымающее свои валы.

Тонкая полоска ледяного света на востоке становилась все шире. И вдруг там блесло заголубело! Сразу же в мире стало пригляднее, легче, словно кислороду прибавилось.

За самым дальним увалом все явственнее обозначалась — словно бы возрастая из-под земли с каждым чашкинским шагом — тоненькая беленькая колоколенка церкви.

У него обмирало почему-то сердце глядеть на нее.

Так уж она стройненько, светло и кротко значилась на мрачном фоне снеговых туч! Так уж уместна была ее скром-

ная восклицательность среди этих унылых, плавно-текущих просторов! Так уж весело было от ее присутствия миру!..

И совсем уж чем-то неведомым восхитилось сердце Чашкина, когда и справа, и слева от церкви, скромно зазолотившейся куполами своими, вдруг стали обозначаться, словно бы тоже всплывая из-под земли, туго-курчавые облака деревьев, купно обступающие здание храма.

И было все это торжественно и просто: и белая свечечка церкви на фоне угрюмого неба; и серая тьма бедно заснеженных полей с плавно вздыхающими, смутными очертаниями холмов; и бойкие извивы черненькой речонки, обозначенной среди рассветного сумрака вереницей грустно поникших ив; и пасмурное это, всеобъемлющее ненастье на сотни верст вокруг; и робкая эта, сиротская голубизна, с усилием пробившаяся из-под гнета туч... Такое все это было простое, родственное душе, что Чашкин опять услышал в себе приближение слез. От непонятной своей любви к этой земле. От великой жалости к этой земле.

Он встретил дорогу, которая сбегала к речке, а оттуда к селу с церковью. И, конечно же, пошел по этой дороге, неизвестно отчего волнуясь.

Спустился вниз, церковь пропала из глаз. Ему сделалось скучно.

Стал подниматься, она выглянула вновь. Он обрадовался ей, как родной.

Дорога круто взобралась к селу и тотчас же превратилась в расхлябанную, раздолбанную тракторами топь, по которой Чашкин стал пробираться, долго выискивая для каждого нового шага местечко, не то что бы посуше (куда там!) — местечко помельче...

Наконец он приблизился к ней. И тотчас же пожалел об этом.

Нет-нет! Она по-прежнему была отрадна взгляду, хотя теперь он не мог не видеть отчетливо ни шелудивости побелки, ни ржавчины на решетках, ни буйства травы, проросшей сквозь плиты заброшенной паперти. Она по-прежнему была хороша, но вокруг!..

Чашкин даже поморщился, как от боли.

Длинное грязно-белое приземистое здание вплотную примыкало к зданию храма. Дружное хрюканье и истошная вонь доносились оттуда. Вся земля за церковной оградой превращена была в мелко истолоченную топь-грязь вперемешку с навозом. Стояли деревянные лотки с водой, лохани для поила.

— А-а-ах, люди!

Чашкин как бы даже досадливо зажмурился всем своим нутром от увиденного.

— А-а-ах, люди! — повторял он, уходя и с отчаянием думая о тех, кто живет в этом селе. — Та-акая красота! А вы?..

В конце улицы он с состраданием оглянулся на нее. Сердце его немного утишилось: она по-прежнему торжествовала над всей округой, непобедимая в своей стройной красоте — красавица лебедь, белая среди серых утят, рожденных плавать в грязи!

И, уходя все дальше и дальше от села — по дороге, которая, как ему сказали, ведет к шоссе. — он не раз и не два оглядывался. И с каждым разом, с каждым взглядом ему опять становилось веселее, легче, крепче, увереннее на душе.

Потом дорога нырнула в низину, и он увидел, что впереди шоссе, а там, игрушечные, спешат-торопятся туда-сюда автомобили.

Белобрысый парень в солдатском ватнике менял заднее колесо у «рафа»-фургона.

Сменил, отдомкратил, взял негодное колесо бросить в кузов и замер, обомлев: перед ним на коленях стоял старик.

— Дедушко! Чо это вы?!

— Довези до Москвы! Богом прошу! Сил уже нет! Битый час ни один не останавливается! Мне — во-о! (Чашкин полоснул по горлу) — как надо! Матушку сегодня хоронят, а я, вишь ты, никак не доберусь!

— Так что ж на земле-то стоять? — сказал парень. — Я небось не икона. Поедем, дедушко!

— Денег вот только, парень, нет у меня. Совсем нет, верь слову!

Тот засмеялся:

— Смешно мне у вас тут ездить! — Легко закинув в кузов неисправное колесо и возвращаясь к кабине, чтобы отворить

для Чашкина дверцу, продолжил: — Все вы тут, как сговорились! Деньги так и суете! Отказывались, так вы, дурные, даже обижаетесь... Забирайся, дедушко, садись... Совсем вы охалпели с деньгами этими. Конечно, понять оно чего не понять: жизнь-то у вас тут, видать, ой, недешевая!

— А ты издалека ли?

— У-у! — Парень опять рассмеялся. — Из-под самой изпод Архангельской — вон аж откуда! Не думал не гадал, что когда и попаду в столицу-то, а тут — случай! Один мужик наш, с центральной усадьбы, поехал в дом отдыха, а в Москве на вокзале возьми да и помри! Телеграмму прислали: приезжайте, дескать, забирайте, пока не поздно, а не то как беспризорного студента на учебное пособие отдадим! (Ну, это-то они не писали. Это директор, когда посылал, так говорил.) Вот и еду. Трясусь, а еду! Дальше райцентра ни разу не бывал, а тут сразу эвон куда! Вы в Москве небось часто бывали? Как там?

— Да не был я там. Я ведь вдесятеро дальше тебя добираюсь.

— ...машин небось, не пробьешься! Светофоров небось! А я, когда на права сдавал, про светофоры и не читывал даже. Зачем нам? О-ой, боюсь, дедка!

— А ты не бойся. Ты, как все, старайся.

— Я уж тоже так решил: посередочке. Выспрошу, куда надо, запомню и посередочке на цыпочках... Авось и проседу!

— А как повезешь земляка-то?

— Так домовину с собой везу. Сосед за ночь вытесал. Мне бы его только выволить! Как ведь нехорошо получится: одной родни у мужика полрайона, своих детей четверо штук, а ни могилки не будет, ни пристанища в своем краю! Не приведет бог такому случиться!

— Я вот тоже еду, а может, уже и без меня похоронили. Неладно будет...

Парень вдруг рассмеялся:

— Ну и экипаж у нас! По одинаковому делу поспешаем. Нарочно не придумаешь!

— Сколько нам еще верст-то? Много ли?

— Сейчас посмотрим... Парень подождал километрово-го столба, нырнул вслед за ним взглядом, сказал: — Вроде бы меньше ста осталось.

— Врешь! — воскликнул Чашкин. Не могло уложиться в его понимании, что до места ему рукой подать.

— Узнать бы, где эта самая Новая деревня... Мы с севера так засажасм? Лялька вроде бы тоже говорила: к северу от Москвы. Как узнать бы?

Его уже лихорадка стала одолевать, нетерпение зазудило.

— По карте глянь. Может, найдешь? — Парень не глядя дал ему атлас.

Чашкин отмахнулся безнадежно:

— Где уж мне по карте искать...

Мельком поглядывая на шоссе, парень открыл атлас на заложенной странице. Ногтем чиркнул по жирной красной линии:

— Вот мы где едем. Видишь? Вот на этой шоссе-ке и ищи! Ежели она, конечно, здесь, деревня твоя Новая...

Чашкин углубился в разглядывание карты. Со школьных времен не занимался он этим занятием. Ничего не мог сообразить. И вдруг увидел! Он даже матюкнулся от радости:

— Гляди-кось! Есть! Аккурат на этой красненькой полочке! Новая! Деревня! Так и написано!

Парень взял атлас. Посмотрел, то и дело тревожно озираясь на дорогу. Тоже обрадовался.

— Вот так повезло тебе, дедушко! Километров шестьдесят еще, не боле того! Час езды!

Чашкин, счастливый и праздничный, разудался.

«Ой, не торопись, Ванька, радоваться! — пытался он уговаривать себя. Но ничего не получалось из этого — сиял как масляный блин! — Ой, не торопись, Ванька! Мало ли что случиться может?»

И ведь как в воду глядел!

Шофер вдруг озадаченно ругнулся. Глянул на спидометр. — Скорость вроде правильно держу... Обгонять никого не обгонял... Чего махает? — И стал тормозить.

Толсто одетый, очень нарядный в белых своих нарукавниках, кожаной куртке, ослепительно белой каске, стоял на обочине милиционер и с неспешной властью помахивал жезлом с красным кружком. Чуть поодаль как бы подремывал его мотоцикл с коляской, из которой торчала суставчатая антенна радиации.

Испуганный и встревоженный, парень добыл из ящичка кипу бумажек, выпрыгнул наружу.

Чашкин остался ждать, замирая от самых дурных предчувствий.

«Ведь говорил же тебе! — со злостью укорял себя. — Не радуйся раньше времени! «Час езды остался!» Как же! Дадут они тебе «час»! Мог бы и попривыкнуть бы...» — так напрасно корил и ругательски ругал Чашкин Чашкина, будто кто-то из них был прав, а кто-то виноват.

С лицом, совершенно потерянным и опечаленным, парень влез в кабину. Тронул вперед.

— Ай, как нехорошо-то все! Ай, как недобрó!

Чашкин даже боялся спрашивать.

Через полминуты справившись с огорчением, шофер сказал:

— Они иногородние-то машины все заворачивают! В объезд Москвы! Я же забыл совсем: они там этого... все еще хоронют... Ай, как нехорошо! Я этому-то объяснил — дак мне до первого поста схать, там машину оставить, а самому в Москву пеши! А как же я с его-то тащить оттуда буду? Ой, недобрó как все!

Зарулив на площадку возле застекленной, вознесенной над шоссе будкой ГАИ, парень опять перебрал в руках кипу своих бумажек, выскочил наружу.

Чашкин подождал немного, однако вскорости сообразил, что сидеть ему здесь — только время тратить. Потихонечку вылез, сполз со ступеньки и поковылял на другую сторону шоссе, ужасно опасаясь, что привлечет к себе милицмейское внимание.

И только тогда, когда ушел настолько далеко, что и будки не стало видно, принялся махать проезжающим машинам.

Но и машин было мало, и народ тут ездил очень сам собой озабоченный. Мимо Чашкина они проезжали, как мимо пустого места.

Кое-как наладился Чашкин идти и пошел своим ходом.

Сильно ослабел он за последнюю ночь. Его водило из стороны в сторону, ноги в коленях проваливались.

Но он все-таки шел, как мог, поскольку никакого другого выхода у него не было.

Теперь, когда слышался из-за спины голос мотора, он останавливался и оборачивался. У него новое появилось занятие: смотреть в лица водителей.

Лица у всех были одинаковые — с тухлыми глазами, с нарочитой миной озабоченности, деловитости, спешки.

«Зараза!» — говорил он вслед каждой машине и продолжал путь.

Он решил умереть, но дойти.

Наконец одна из машин, ходко несшаяся, непомерно широкая и низко посаженная, визгнула тормозами и, пробежав по инерции много вперед, остановилась. Затем задним ходом, бесшумно и быстро подплыла к Чашкину.

Этакие машины Чашкин видел только по телевизору — когда встречают-проводят иноземных почетных гостей.

Он оробел.

— Ну, залезай же! — Из-за опущенного стекла передней двери с насмешливым интересом глядел на него молодой человек, совсем молодой, лет двадцати пяти.

Чашкин увидел, что задняя дверца уже распахнута. Он полз, как в мышеловку, опасаясь подвоха.

Здесь было просторно, как в комнате. Ему отложили какой-то стульчик. Он уселся.

— Куды едем? — весело спросил сидящий впереди. Он был не то чтобы пьян, а как бы устойчиво, давно и надолго пьяноват. Ну, как бывает во время долго текущей свадьбы.

— Новая деревня... — ответил Чашкин, все еще робея. — Тут недалеко, сказывали.

— Недалече... сказывали... Какая прелесть! Правда, прелесть, Боря?

— Мда! — с отвращением сказал тот, что сидел сзади от Чашкина.

— Стасик! — раздался из дальнего угла капризный голос. — Зачем ты его посадил? Она стесняется при посторонних!

Тут же из того же угла донеслось девичье хихиканье. Чашкин мельком глянул: девчонка сидела на коленях у белолицего в кудряшечках парня, похожего на жирного пупсика.

— У тебя же все равно ничего не получится! — со смехом

сказал сидящий впереди. — А меня интересует. Велика ли скорбь в народе — интересует. Стоит ли слезный стон на Руси великой — интересует. Что бают в народе? А? Отец?..

— Чо бают? — с усилием сказал Чашкин. — Ничо не бают.

Девчонка залилась вдруг мелким, шепотливым смехом. Пусик спешно и уговаривающе стал бубнить ей что-то на ушко.

— Ничего не бают! — повторил Чашкин почти сердито. Не нравилось ему здесь.

— Слышишь, Гарик? Ничо не бают!

— Отстань! — прокричал пусик со смехом. — Я тут чего-то такого интересного нашел!

— Боря! А ты — слышишь? — обратился тогда впереди сидящий к соседу Чашкина. — Ты вторые сутки не просыхаешь... от слез... а в народе тем временем «ничего не бают»! Неужели правда, отец? — обратился он опять к Чашкину.

— Говорят! — сказал Чашкин, почти облизавшись. — «Измена!» — вот что говорят.

— Как-как-как?! — Стасик аж зашелся от восторга. — «Измена!» У-у-ух! Сегодня же папашке расскажу. И... хватит папашку кондрашка! — Он счастливо рассмеялся.

В дальнем углу опять зашебурились, задышали, запыхтели.

— Ты бы высадил его, Стасик! — сказал Боря. — От него ноги пахнут.

— И правда, — попросил Чашкин, — высадил бы... Воняет у вас тут.

— Ух ты, гегемон гегемончик! — удивился Стасик. — Ладно. Иди в свою Новую деревню! Она тут недалеко, сказывали...

— Ура! — одышливым шепотом провозгласил из угла пусик.

— Гарик! Неужели?! — На Чашкина они уже не смотрели. — Теперь, как честный человек, ты обязан взять ее в жены! Правда, Боря? Мы свидетели!

Сделала шоферу вялый жест. Машина стала тормозить.

Боря молча открыл дверцу. Чашкин с облегчением вылез наружу. Машина тронулась, и он плюнул ей вслед.

И вдруг опять — с отчаянием и страхом — увидел: плевков окрашен в красное.

Утро разошлось уже вовсю. Голубые промоины чудились то там, то здесь в сером, слепом небе.

Белесое, мутное око солнца с усилием пробивалось сквозь чадную пелену, и когда ему удавалось пробиться, все вокруг заливал безжалостный, леденящий свет, наводящий и тоску, и холод на сердце.

Казалось, что без всякой приязни, даже с осуждением глядит солнце на эту разоренную землю, спешно и плохо прибранную серым снегом, на эти разливаемые реки дегтярной, жирно сияющей грязи вместо проселков, на замусоренные эти усадьбы, на дымящиеся свалки, колышком обступившие Город — дрянно выстроенное скопище дрянных коробок, меж которыми, утренняя, уже началась тараканья беготня автомобилей и где, суетливо поспешающие, люди уже начали торить муравьиные свои стежки на тонком белом снегу.

...В этот час в центре Москвы, в старинном доме, фасад которого во множестве изукрашен был красно-черными полотнищами, тряпичными, еловыми гирляндами и еще чем-то, долженствующим наводить скорбь на людей, — в старинном знаменитом доме царила в этот час негромкая деловитая суета: гудели пылесосы, и женщины под присмотром молчаливых людей невнятного возраста и вида чистили ковровые дорожки и полы, вениками сметали осypающуюся хвою и вялые лепестки от венков... сновали туда-сюда какие-то организационно озабоченные личности с черно-красными повязками на руках... в комнате, отведенной под караулку, солдатики, шепотом подсмеиваясь друг над другом, оживленно рубали из жестяных плошек пшеничную кашу с тушенкой, запивая компотом, которого по случаю знаменательного события было хоть залейся, сорокалитровая фляга, и это само по себе не могло не вызывать оживления у девятнадцатилетних мальчишек... где-то из-за колонн, в распахнутую, должно быть, дверь слышно было, как звонят телефоны и чей-то голос что-то негромко кому-то перечисляет... И тут же все на том же скошенном возвышении продолжал возлещать, уже вовсе став за эти дни невзрачным и малоприметным, Некто в черном костюме, и выражение важности, которое было отчетливо на его лице в первые дни церемо-

нии, уже сменилось выражением чуть озадаченным и чуть обижанным. Но на него, пожалуй, уже и не обращали тут внимания. Все были заняты делом.

...В этот же час четыре крепких новодеревенских мужика, войдя в маленькую горницу Чашкиной, отчего горница сразу же сделалась еще меньше и теснее, уважительно затаивая дыхание и переговариваясь шепотом («Ногами вперед... На руках сначала, а то не пройдем... Там-то уж на плечи вскинем...»), легко подняли каждый со своего угла сосновый гроб с лежащей в нем старушкой и, стараясь потише шаркать сапогами, осторожно, как хрустальную драгоценность, понесли его на улицу, на крыльцо, где толпились уже, ожидающие и страстно глядя на дверь, все старушки Новой деревни, дружно повязанные черными платочками, бабы и мужики помоложе, стоявшие враздобрь и поодаль, и с десяток совсем малых детишек, очарованно заторопившихся поскорее заглянуть в то, что было внутри гроба и от чего они тотчас с чистым отвращением непонимания и страха отпрянули, вопрошающе и возмущенно оглядываясь на старших, стоящих вблизи.

Мужики осторожно и легко подняли гроб на плечи и не торопясь вышли на улицу, на самую ее середину, где было посуше, и направились к церквушке — деревянной, старенькой, почти не видной за сеткой березовых веток, густо опадающей со старых дерев. Толпа из двора послушно и споро перелилась следом, и люди пошли, неспешно и несуетно, с важной грустной задумчивостью, без лишних слов...

«Жигули», не успевшие проскочить вперед мужиков, терпеливо плелись следом. И совсем без усилия сменил нетерпение на своем лице на выражение сосредоточенного, чуть опечаленного, понимающего ожидания молодой, румянощекий хват-парень за рулем.

...Молодой священник, не спеша облачаясь в церковное, глядел в окно, как несут гроб, как, искренно огорчась, сопровождают его темно одетые люди, и без всякого усилия услышал вдруг в душе звук, какой и надобно было слышать в себе, совершая обряд отпевания.

Он хорошо знал при жизни старую женщину, которую несли к нему для последнего прощания. Это была хорошая, кроткая женщина, много помогавшая церкви. И ему было в самом деле грустно от расставания с ней.

Он держал сейчас в сердце много хороших и простых, ласковых и утешающих слов, которые он хотел бы сказать уходящей. И он был спокойно уверен, что все эти слова все равно прозвучат и услышатся, когда он будет произносить совсем другие на слух слова заупокойной молитвы.

А Чашкин в этот час продолжал упорно и трудно — будто по груди в воде — брести обочины шоссе, стараясь дышать осторожно и коротко, чтобы кашель, сварливо гнездящийся в низу горла, не дай бог, не ожил и не стал опять рваться наружу.

Он напоминал пьяного — и видом, и разболтанной походкой, — должно быть, поэтому ни одна машина не останавливалась возле него.

Он, впрочем, уже и не огорчался. Он уже ни на что не надеялся — просто шел. Перед ним была дорога, и он шел по этой дороге, потому что он был еще человек, а человек должен, если перед ним дорога, идти по этой дороге.

Вдруг он увидел перед собой что-то вроде навеса и женщину, сидевшую там на скамейке в терпеливом и тихом ожидании.

Она слегка забеспокоилась, когда Чашкин возник рядом и сел, как упал, на скамейку.

— ...Новая... — просипел он, — деревня... далеко ли еще? — А через одну! — певуче и радостно воскликнула женщина. — Сейчас автобус подойдет. Одну проедешь, а на другой сходи! Вот тебе и будет Новая деревня.

— Автобус? — спросил он. — За деньги небось?

— Да уж не за так! — рассмеялась женщина и вдруг осмелела: — А где ж ты так изгваздался, милый? Иль в луке какой спал?

Он рассеянно поглядел на свою одежду, глухо ужаснулся.

— Спать не спал, а повалялся меня изрядно.

— Больно не молоденький, чтоб валять-то тебя... — не поверила женщина.

— О-ох, матушка! — вздохнул вдруг Чашкин с сильным чувством. — Все рассказать — дня не хватит рассказывать, как валялся, как били-трепали!

— Что уж с тобой такое приключилось? — в расчете на рассказ поинтересовалась женщина.

Чашкин, однако, спросил другое:

— Кладбище в Новой этой деревне есть ли? Далеко ли?

— А рядышком! — с прежней радостью воскликнула женщина. — Автобус остановится, а оно — через поле, тропочкой, совсем рядышком!

Чашкин судорожно вздохнул:

— И не верится... Ты знаешь ли, матушка, откуда я добираюсь сюда? Аж из самого Егоровска!

Та откликнулась быстро:

— Ой, врешь! Это же какие тыщи километров, наверное!

— ...и не верится. Неужто добрей? — И он вдруг сипло засмеялся с интонациями плача. Вытер глаза кулаком и стал рассматривать, словно в удивлении, искалеченные, сизо вздувшиеся синяками и ссадинами руки.

— Ну вот и автобус! — воскликнула женщина.

Чашкин обеспокоился.

— А посядут? Без денег-то? — жалко спросил он.

— А ты попроси, попроси! У тебя, видно, дело?

— Дело, — согласился Чашкин. — Мать хоронят. Вот только не знаю: успел ли, нет ли?

— Ох ты ж, господи! — искренно воскликнула женщина. — Да неужто за таким делом не посядут?!

Автобус подошел, отворил створки. Чашкин влез в переднюю дверь, взобрался на сиденье, обращенное к кондуктору.

Та сразу же воззрилась на него взглядом, воспалившимся от неприязни. А он глаза не отводил. Из последних сил смотрел ей прямо в лицо, весь даже мелко подрагивая от напряжения, с каким умолял ее всем своим существом: «Позволь досхаты! Не высаживай! Ведь ты же человек!»

Кондуктор наконец отвела взгляд и отвернулась с враждебностью.

— Ныне отпускаючи! — возгласил молодой священник. И тотчас истовыми слабенькими голосами подхватил старушечий, совсем крохотный хор слова последней сопроводительной молитвы.

Мать Ивана Чашкина слушала спокойно и важно, и ни единой лишней тени не было на ее сухоньком личике, желтеньком и празднично-сосредоточенном.

— Новая деревня! Мужчина! — крикнула через весь автобус женщина.

Чашкин встал возле дверей выходить и, поймав взгляд кондукторши, все такой же неодобрительный и неверящий, хотел было улыбнуться ей с благодарностью. Но ничего у него с лицом не получилось, словно задубевшее было лицо.

Он вышел и стал озираться.

Сзади застучали в окошко автобуса. Женщина показывала куда-то пальцем, часто кивая головой и улыбаясь.

Чашкин глянул и увидел посреди безмерно печального черно-белого пестренького поля как бы курчавящееся облако серой облетевшей рощи. Отчетливо и ярко серебрились решетки оградок.

Неширокая дорога с немногими следами ног тянулась туда.

Чашкин пошел.

Он прошел больше половины пути, когда увидел: какое-то оживление происходит в той стороне. Толпой возникли черные фигуры; он разглядел и гроб, плывущий, плавно покачиваясь, над головами.

Ему еще много оставалось пути. Он закричал злобно:

— По-годь! По-годь!! — и, хватив ледовитого утреннего воздуха, вдруг переломился, закашлявшись.

— Погодь же... — повторил он шепотом, уже умоляя, и сплюнул кровью.

— Погодите же! — беззвучно закричал он людям, которые стояли теперь неподвижно, сгрудившись у края рощи. — Погодите же! — И с плачем бросился к ним.

Он бежал, и земля то бросалась ему в лицо — и тогда он летел, чуть не падая лицом в грязь, то откачивалась — тогда и он словно бы запрокидывался навзничь, норовя упасть затылком. Но бежал!

Он бежал, чувствуя, что сжигает все, что у него оставалось еще для жизни, последние крохи, и торопился бежать.

Слезы застали ему взгляд, но он видел, что люди, столпившиеся на краю рощи, все чаще оборачиваются к нему белыми пятнами лиц.

Он бежал.

Они смотрели, как он бежит.

Ему показалось, что он успел, и, закашляв кровью, он засмеялся от счастья.

Поэзия

Галина
СЕРГЕЕВА



Добро в
Юности

Гинтар
ПАТАК



Константин
СИГОВ



Виктор
КУДЯ



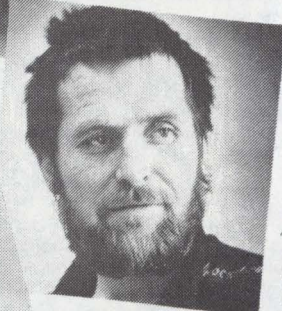
Юлий
ГУГОЛЕВ



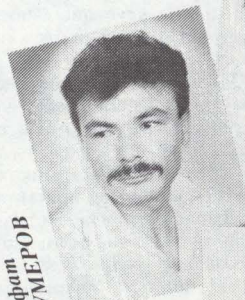
Андрей



Александр
ПИЛЯГИН



Рифат
ГУМЕРОВ



Добро в
Юности



Владимир
КАНОШЕНКОВ

Возрождение нашей общественной жизни не могло не сказаться и в творчестве, прежде всего — в поэзии, самой чуткой, отзывчивой и «оперативной» в семье искусств. Думается, новая высокая волна в поэзии не заставит себя долго ждать. Мы в свое время через рубрику «Испытательный стенд» познакомили наших читателей со спорными тогда именами (И. Жданов, А. Еременко, А. Парщиков и др.). Теперь молодые поэты стали «прибывать» обильней, и они все разнообразней. Диапазон их строк ближе к «Дебютам», он как бы включает в себя «Испытательный стенд». Потому мы так сегодня их и представляем, радуясь их множеству и сожалея лишь о том, что не сразу удастся каждому из молодых поэтов уделить достаточно места...

Константин СИГОВ

Песня

Птица ягоду берет в клюв,
А стрелок ее берет в лет,
А хозяин у него лют,
Хоть хмельного не берет в рот.

То не ягода с куста — дробь,
То не песня из груди — кровь,
Сколько вольных на земле воль,
Столько песен беретит боль...

После катастрофы

Ю. М.

I
Косноязычье телеграмм
и проводов прямая речь
еще доходят по столбам
туда, где некого беречь...

II
Земля, старуха на руках,
дай на прощанье знак и силу —
как хоронить последний прах,
где во Вселенной рыть могилу?!

III
На то мы и боги,
чтобы смогли
оправдаться пред кем бы то ни было;
на то мы и люди,
чтоб не могли
перед собой оправдаться.

IV
Я этот мир возьму с собой —
в земле его очищу,
сыновний, свежий надо мной
воспрянет мир иной.

На свете том, когда умру,
пускай меня не ищут,
пусть верба плещет на юру
да книга на ветру.

☆☆☆

Неразделимы
дуб и трепет
листы его...
Как сладишь ты,
невнятной музыки птичий лепет,
и властный голос немоты?

г. Киев

Галина СЕРГЕЕВА

☆☆☆

Мы у отца, и во флигеле сняты портреты
испуганной бабкой,
И личности снова в сарае за старым корытом,
А Степа, Наташа и я под огромной лоскутной тряпкой,
Орем и хохочем,
И нами они поименно навеки забыты.

А бабушка бы век подпевала нам сверху очков:

«Эйни-бэйни, лики-паки,
Тюль, буль-буль, калеки-шмаки!»

Как вдруг наш перевозчик-отец в час семейного счастья
Вспомнил о какой-то роже и заплакал, словно крыша.
«Ой,— говорит,— отчего мир одною рукой

за кусок ухватился,
Словно за больное сердце, а другой —
за кнут всевластья?..

Побежать к нему на помощь

Или крикнуть «ненавижу»

Да-да-да, одно и то же,—

Так сказал и вышел.

И слышно, как наши часы бьют за старой шершавой стеной,
И бабушка плачет ужасно, и курит Наташа,
А Степа кричит, что садовником будто родился,
И огненной брызжет слюной.

г. Москва

Гинтарас ПАТАЦКАС

Яблоня

Смерть к ветви старой не стремится,
Вверх по стволу скользит она
И слушает, что скажут птицы,
Что тихо крикнет тишина.

Стяжавши ангельскую славу,
Соблазны дышат тяжело,
И смотрит на речные травы
Глазами детскими дупло.

Уж у корней, свернувшись, дремлет.
Приходит женщина весной,
И на руки его приемлет,
И хочет быть его женой.

Но буря яблоню ломает,
Разрушен рай, и дом снесен,
И снова над землей летает
Адама беспокойный сон.

☆☆☆

Положу я в корзину с водой золотую монету торговца,
лист кленовый, засохшую веточку туи,
горстку гипсовой пыли,
окуну туда острый топор,
коим рубил я безжалостно липы отчизны,
под корзиной огонь разведу
и ближнему стану варить угощенье,
ближнему, что удалился в заколдованное королевство
братьев Grimm, за живою водою для племени своего,
позабыв, что дорога, что время, что классика,
что в соборе гуденье органа,
что всегда есть тропинка обратно домой,
где стоит корзина с водою.

Перевела с литовского
А. ГЕРАСИМОВА

Виктор КУЛЛЭ

Перипл Ханнона
(фрагменты апокрифа)

«Ганнона, царя карфагенян, перипл ливийских земель, находящихся за Геракловыми Столпами, тот, который он посвятил в храме Кроноса и который сообщает следующее...»

Начинаю, почти не надеясь... Такая тоска...
Я забыл имена и не помню, в каком это веке;
я забыл, как запретно влекла безъязыкие реки
кровеносная соль материнского материка.
Я не помню отплыть; и стоит ли помнить, когда
на чужих языках прорастет суетливое эхо,

и раскрошится храм от скупого латинского смеха; и смеркается... Помню, под нами лоснилась вода — тирским пурпуром; и у соленых от солнца гребцов аравийскими смолами прела истертая кожа на ладонях. И не было ветра; и, ноздри тревожа, пахло ладаном. Помню, я в жертву принес жеребцов семиглавой змее, безымянному богу пучин — чернолаковым блеском лоснились лощенные крупы. ...И горела земля; и курчавые черные трупы — впрочем, это потом. А пока — у кархадских мужчин по количеству колец на пальцах считают походы, вызывая у греков насмешки обильем перстней. Так гинданская женщина — тех, кто когда-либо с ней — по браслетам на ляжках... Строители и мореходы, пожиратели песьего мяса, любители каш и чужого вина; приносители первенцов в жертву; полководцы царицы, которая самосожжение предпочла непосильному браку; распутники. Наш жребий был — по примеру сидонских мужей — наслаждаться покоем, богатствами и божествами... Дети Львиноголовой, изгнанники в собственном храме — мы швырнули на Запад зернистую жуть мятежей, побережье засеяв легендами и городами. Мы, как птицы, прозорливо строили собственным дом, и, как люди, обуглились вместе с горящим гнездом... Впрочем, это потом... Я ошибся уже не годами, а веками и памятью. Как это страшно: века... В голубых треугольниках и вертикальных овалах белоснежные низкие стены; и хлеба навалом, и мощеные улицы морщатся от сквозняка, приходящего с моря. Мегара, и Бирса, и Порт, околованный портиком; пряная пластика афров, истонченный старик у источника Тысячи Амфор; плоский скат побережья, и плоские крыши; и спор макситанских торговцев со стражами бронзовых врат. Неподвижное небо; и холм в отдалении, заросший золотыми оливами; и в апельсиновых рощах улывидные башни; и рядом — улыбчивый брат...

☆☆☆

Как забыть эти брови вразлет, беззащитные перед бедою? Я глотаю расплавленный лед, именуемый кем-то водою. Ломоть хлеба, и вдоволь тоски; безымянные серые стекла. На ладонях моих городских — тонкий снег слюдяного Востока. Этот город, в котором зима, — как старик, обескровленный болью, — я, еще не сошедший с ума, ненавижу последней любовью. Этот город, в котором пусты тротуары, в котором дворцами исковеркан простор, и мосты упираются в небо торцами... Этот гордый ступенчатый брег, пригвожденный к земле сиротливой ледяными изломами рек, не обретших покоя в заливе. Над чахоткой чухонских болот, комариных бетонных каморок — колыхается призрачный флот; и булыжник бурлит за кормою. Этот город, в который сбегу; зеленеющий злой позолотой — на гравюрном голландском снегу вдоволь харкает бурой мокротой. Я глотаю расплавленный лед — мне уже никогда не напиться. Недолет, и опять — перелет; перелетные черные птицы. Эти брови вразлет; этот бред бормотанья и долготерпенья. Этот бархатный черный берет — петушиные алые перья. Имена незапамятных рек, и озноб заповедной свободы — мой неструганный тесный ночлег поплывет по извилистым водам.

г. Ленинград

Юлий ГУГОЛЕВ

Наркомания

В кишках урчит от всероссийских вин. Дрожат колени в ожидании прихода. Все те, кому я продаю морфин, не доживут до будущего года.

Никто из них не применяет жгут, когда в сосуды втюхивает сому. Они пощады и спасения не ждут от «скорой помощи», ментов и Агропрома,

где все без исключения — козлы, чьи двойники давно гуляют в вышних садах, где созревающие вишни, как геморроидальные узлы.

Мне скучен коитус с разумным существом, мне все равно: любить или размножаться, в то время, как Европа продолжает поражаться, соприкасаясь с мирным существом

всех тех, чья энергетика чиста, чьи легионы не влезают в кадр, всех тех, кто хавал по ночам, как доктор Хайдер, и с дней Экклезиаста не покидал поста.

Когда б я не был жертвою инцеста, когда б я выследил пособника «А — Я», чтоб вырвалась в момент его ареста отчетливая ненависть моя,

чтоб Сухаревой башни мегатонны вращались только вокруг своей оси, чтоб не могли забыть жидомасоны тысячелетие крещения Руси.

Мне отвратительны их скошенные лбы, а также сизые, доверчивые шеи. Без мыла — на фонарные столбы! Живьем — в мосторремонтные траншеи!

Чтоб тени их качались на пороге, чтобы весной вспухающий асфальт преподносил мне в результате перисталь — тики их полуразложившиеся ноги,

чтоб в легочных мешках светились сефироты, суля свободу внутренним мирам, чтоб делали зарядку по утрам худые люберецкие сироты,

чтобы, брюшной накачивая пресс, гудела внутриклеточная плазма. Когда б я околел в момент оргазма! Когда б я стал штурмфюрером СС!

г. Москва.

Андрей ТРУНЕВ

Велогонка

Физическая карта полушарий, как гоночный велосипед, пенсне на треке, стоит, и гонщик балансирует ушами, захваченный в сюрплас на дискотеке.

Спит, распластавшись, рыжая борзая в его глазах, где океан и телевизор; на радиомангнитных тормозах материки ждут завершение круиза.

Стоят непрочные плоты на якорях в глубоких линзах, как в цветочных вазах. Я знаю: равенство людей в твоих морях, земля, возможно лишь в противогАЗах.

Во сне борзая шевелит ногами,
запомнившими тектоническую скачку.
И мускулы ушные напрягает
спортсмен, удерживая качку.

Как марширующий под духовой оркестр пони,
на финиш устремляется тандем.
А взгляд трибун звенит, как мяч футбольный,
пробитый в створ раздвинутых антенн.

г. Москва

Рифат ГУМЕРОВ

Из воспоминаний отца

Новички
На фронте,
Нагибаясь от свиста пуль —
Раскланиваются
Со своей смертью...

А войны,
Уже привыкшие к передовой,
Ходят,
Не раскланиваясь,
На правах старых знакомых...

☆☆☆

Между асфальтом и лесом
скорбно застыли столбы —
памятники погибшим деревьям...

☆☆☆

Я маленьким мальчиком вышел из дома.
Вернулся домой стариком...
— Марш за стол! — говорит мама. — Суп остынет...

Девочка на шаре

Девочка в платице розовом,
Руки раскинув, как крылья,
Стоит на огромном шаре.

На одиноком шаре...

Любимая, как мне страшно
Видеть тебя, беззащитно
Стоящей на шаре Земли!

г. Ташкент

Александр ПИНЯГИН

☆☆☆

...Не послать ли «На деревню дедушке» письмо...
В боязни, что не дойдет,
надумал я под буквами ноты утаивать
да слова
по болоту бумаги, как цветы, садить.
Могла бы Отроковица хаживать,
пяток не замачивая,
об ОГНИВО Души лепестки обраниявая.

...Что бы ни услышал,
что бы ни увидел:
в зеркало все время упираюсь...
Давно меня преследует МЕЧТА —
пожить бы, не замысливая
заговора против души своей.

...Я в избушке живу, где сосну завалили.
Сучья у ней — бивни мамонта.
Когда я тепло топором тороплю:
оно звенит со всех сторон.
Кругом доноры.

Сок из них добываю —
шестнадцать копеек за килограмм.
А дни осыпаются ассигнациями,
которые жалко тратить.
Они шуршат под ногами.

...Орбита буквенная по краю тарелки ореолом:
я не хочу бифштекса из крови.
Я праздник свежих огурцов
везу в автобусе себе одним.

...бегут догонять горизонт сапоги

...Дома на Невском саркофаги,
гарцует шустрая толпа.
А там, великан ИСАКИЙ,
в котором жилистые муки
под шапку спрятали потоп;
вакханка, заслонив ватагу,
лицо нечаянное кажет,
за ней уже свирепый всадник
поднял строптивного коня.

г. Ленинград

Владимир КАНОЩЕНКОВ

На снегу Янтарного бора

Янтарным бором, точно погремущкой,
гремит бригада лесорубов,
вытряхивая всех зверушек.

У лесорубов жесты грубы
и с недосыпу лица постны —
рубят вековые сосны,
зарабатывают рубль.

Янтарный бор до небосвода,
спешишь ты выдохнуть побольше кислорода,
когда тебя спиливают
парни из твоих деревьев.
Сосна,

споткнувшись о собственный пень,
падает.

На снегу Янтарного бора
остывают желтки свежих пней.
Снегирь клювом извлекает из пня,
как звукозаписчик из грампластинки,
тишину зарубленного Янтарного бора.

Разговор с Россией

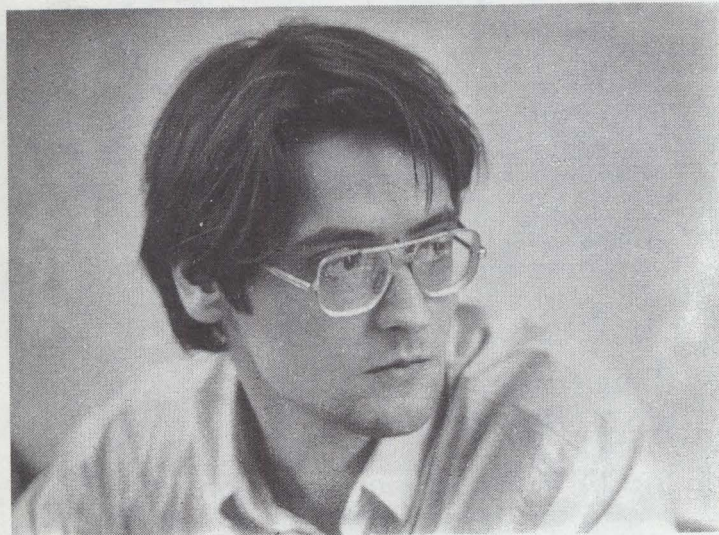
— Тебя собирали по травиночке,
по булыжнику
мужи даровитые.
А кромсали тебя и делили
представители дворянские.
Бывают и сегодня спасители в немилости,
Грибители в почете.

— Мои поэты живут, как смерды,
но они бессмертны.
Полиции под забралом —
руки с ломом сала,
хоть и по-царски,
но живут чертовски мало.

— Таланты травят до рвоты,
но собаки тоже ведь патриоты —
просто безграмотностью ослеплены,
кусают своих они...
Вот только бы не упасть.

— Стелется запах заморских тиранов.
Пусть отечественный спекулянт слезы роняет,
пусть ему кажется странным,
но я снова прячусь,
как в бомбоубежище,
в поэтов своих —
они снова мне жизнь сохраняют.

Московская обл., г. Фрязино



Александр СКОРОБОГАТОВ ПАЛАЧ

Рассказ

Нет, я не очень удивился, узнав, каким образом попал этот рассказ в редакцию «Юности». Четыре года Саша Скоробогатов был у меня на глазах — а это хороший срок, чтобы более или менее представлять себе, кто же перед тобой.

Скоробогатов на чудо не уповаает. Он из трудяг, из тех одержимых, которые жизни своей вне литературы не мыслят. А то, что он постоянно пребывает в сомнении относительно того, что и как им написано, так ведь сомнение и есть тот самый извечный спутник людей, которые одарены способностью к поиску на сложных путях постижения литературного ремесла.

Скоробогатов понимает, где он живет. Это дано не всем, и потому это особенно важно. Ибо без этого понимания в литературе в общем-то делать нечего. Но вот такая странность: хорошо понимая, что за жизнь у нас на дворе, он вдруг не пошел по протоптанной многими дорожке на страницы журнала — не организовал звонок из какого-нибудь высокого кабинета, не заручился в письменном виде протекцией от какого-либо именитого дяди-писателя, не встал, наконец, на пороге: я, мол, из Литинститута (какая-никакая, а тоже ведь рекомендация).

Он послал свой рассказ... по почте! Что это? Неужто Скоробогатов так наивен и ему неизвестно, сколь мизерно мал шанс для его рассказа выплыть из редакционного самотека, который ежедневно исчисляется десятками и сотнями рукописей?

Нет, я уверен: не по наивности и неведению предпринял он это действие, такое несвойственное многим сегодняшним соискателям литературного счастья. Тут вот что: зная, как устроена наша жизнь, он не хочет принять такого ее устройства. Он хочет, чтобы изначально все были в равной позиции. Чтобы все было по чести и справедливости: должен быть конкурс самих произведений, а не имен, которые их подписали и которые за ними стоят со своими записками, звонками и прочим...

Нет, я не очень удивился, узнав, каким образом попал в редакцию «Юности» Сашин рассказ. Четыре года встреч на семинарах и в коридорах Литинститута кой-чего стоят.

Ю. ТОМАШЕВСКИЙ

Вначале зарницы похлынули на горизонте малиновым светом, и гроза должна была пройти стороной. Он лежал на кровати, слушая, как за окном скрипят от ветра деревья в саду.

От усталости он почти засыпал, когда внезапно в тишине — ветер стих — прямо над домом ударил гром; молнии он не увидел. Очнувшись, вначале не поверил себе.

— Показалось? — спросил вслух.

Он смотрел в окно, ожидая вспышки и нового удара.

Грозы он боялся с детства, с тех пор как молния убила его отца, сидевшего много лет тому назад в этой комнате за обеденным столом.

К обеду семья всегда собиралась вместе, такая была традиция. Отец у окна на стуле с высокой спинкой — это был его стул, мать подавала на стол. Все молчали: отец разрешал говорить только за третьим. За окном бушевала гроза, и все застилала волнующаяся пелена мутных струй.

Он помнил, что мать серебряной ложкой разливала из супницы по тарелкам желто-зеленый бульон, пахнущий петрушкой. В тарелке глянцевые кружочки жира сливались в большие. Отец был хмур. Когда мать подавала ему бульон, его желтое в сухих складках лицо склонилось над тарелкой. Все начали есть. Младший из детей, Митя, звякнул случайно ложкой о дно и сейчас же, не дожидаясь приказа отца, бесшумно отодвинул свой стул и продолжал есть стоя. Теперь ему нужно быть вдвое осторожней, ведь если стук повторится, Мите придется уйти из комнаты.

Горела люстра, и свет ее, оттого что окно не было зашторено, казался тусклым.

Зазвонил телефон. Отец поднял голову. В этот момент и ударила молния.

Комната вдруг осветилась белым, и взрыв оглушил их. Когда все пришли в себя, они почувствовали отвратительный запах горелого мяса.

Отец, глядя на мать, сидел за столом в том положении, в котором застала его молния. Мать закричала, когда увидела, что глаза его не блестят: они словно покрылись пленкой.

Телефон прозвонил только раз, потому что молния перебила провода — они недавно поселились в этом доме, и проводка была у них пока наружная, от столба.

Потом все удивлялись, как молния ничего не испортила в доме: стекла были целы, стены были целы, только снаружи чуть обгорела штукатурка. Мать настаивала потом, чтобы наружную стену не трогали — пусть это будет память о нем, но дожди смыли сначала черную гарь, а затем и саму штукатурку. С того времени эта стена осталась голый: коричневые прямоугольники кирпичей в сетке цемента.

Мать закричала снова, когда прикоснулась к руке отца, лежащей на столе рядом с тарелкой.

Он не понял тогда, почему закричала мать, — детей сразу вывели из комнаты. Они ушли в детскую и тихо сидели на диване и стульях, глядя друг на друга. Кто-то встал, прошелся по комнате, потом надел папину буденовку с красной звездой над козырьком. Встали все. Он помнил, что кого-то послали в коридор, — там никого не было. Тогда дверь заперли на крючок и начали игру.

Он, как всегда, был пленным белым офицером. На плечи ему прицепили булавками эполеты, — военный трофей отца, — связали, усадили на жесткий стул.

Вчера он повесил десять пленных красноармейцев. Их держали на конюшне, по одному вызывая на допрос. На допросах били, но не сильно, потому что надеялись, что те предадут своих и будут воевать за белых. Но все молчали. Тогда начались пытки, которые проводил лично он.

Он любил пытать красных и всегда делал это сам. Даже товарищи называли его «палач», но не презирая, а восхищаясь его безжалостностью к врагу. Он не злился, он не испытывал ненависти к своим жертвам — в такие минуты он бывал как-то особенно спокоен и даже мягок. Он любил их, называл милыми.

Их пытали долго: жгли раскаленным железом, бросали в колодезь, вырезали на теле звезды, которые сразу становились красными, как на буденовках. Одному из них рукоятью нагана он выбил — один за другим — все передние зубы; он прекрасно умел это делать.

Но красные молчали.

И вот вчера их вывели во двор перед конюшней, где уже стояла виселица. Вешали по одному; когда выбивали из-под ног табуретку, кто-то обхватывал сзади повешенного и повисал так, пока тот не переставал дергаться.

Взвод разведки долго охотился за ним, но, хитрый, он ускользал. А вчера попался, гуляя по лесу после казни.

Они не будут пытать его, большевики не бывают палачами. Они хотят только, чтобы он понял, какие злодеяния совершил. Они рассказывали о тех, кого вчера он повесил. Они рассказывали и о тех, кого вчера он сделал вдовами и сиротами, — о близких: женах, детях, родителях повешенных им.

Потом его отвели в балку и там расстреляли, повязав на глаза черную ленту.

Игра надоела. Дети снова сели на диван и стулья, спрятав эполеты под матрас; откинули крючок.

Скоро вошла мать, глаза ее были красными, а лицо казалось мокрым, и дети поняли, что она плакала.

— Папа умер, — сказала она, повернувшись и побежала по коридору.

В гостиную их не пустили.

Приезжало много людей: врачи, милиционеры, были люди в военной форме — сослуживцы отца, — и все они казались взволнованными и озабоченными.

Мама продолжала бегать по коридору; ее ловили, уводили наверх, но она вырывалась снова, и ее снова ловили и вели, уговаривая, в спальню. Дети видели, как, вырываясь, мать упала на пол, а потом, не поднимаясь, на четвереньках, побежала в гостиную.

После этого кто-то, кажется, Митя, заплакал. Было страшно и хотелось плакать и ему.

После того как мать дотронулась до его пальцев, и те рассыпались под ее ладонью в прах, после того, как хлынула из рукава черная пыль с комочками, после истеричного поцелуя в лоб, от которого лопнула кожа и ручеек горелой трухи потек на белую отцовскую рубашку, — она уже ничего не понимала. Детей выгоняла из комнаты домработница, и она же вызвала врачей. Но в НКВД она, кажется, не звонила.

Они приехали как-то сами. Может быть, их вызвали врачи.

Вообще вспоминать об этом в такую ночь страшно. Весь этот день вызывает теперь во мне только страх и отвращение. Страх потому, что молния бьет несмотря на громоотвод. Ведь над домом стоял громоотвод. Поэтому и приехали из НКВД. Молния не должна была убить отца, она не могла этого сделать, если над домом стоял громоотвод. Так считали ученые, так считали и те, из НКВД. Значит, все их ученые выкладки можно похерить, весь этот ученый бред да и самих... Как человек теперь может быть спокоен, если знает, что его самым бессовестным образом надули, сказав, что мы, мол, позаботимся о твоей жизни, мы охраняем твою жизнь. Страшно.

Они считали, что моего отца не могла убить молния, ведь стены целы, целы и стекла, прозрачные тюлевые занавески целы, да и все мы целы... Действительно, все это кажется странным на первый взгляд. Когда я, уже взрослым человеком, думал об этом, то сомневался, как и они: почему погиб только один отец, а все вокруг цело? Они решили, что здесь замешано какое-то оружие, так, наверное, они подумали, эти пинкертонеры, потому что спрашивали мою мать — маму, пережившую все это! — они спрашивали ее, не было ли в этот день чего-либо подозрительного, не было ли знакомых людей вокруг — как будто кого-то можно увидеть из-за нашего забора! — не было ли угроз, писем... Маму, которая уже была к этому времени полубезумной. Еще они спрашивали, не встречался ли сам отец с какими-нибудь подозрительными личностями, не вел ли перед смертью переговоров... — и это могли подумать о нем, прошедшем гражданскую, боевом командире... награды, ранение... В такую ночь не хочется ругаться. Идиоты... Хотя их понять можно, такое было время, каждый мог оказаться врагом. Даже наш отец.

Да, страшно, потому что молния бьет несмотря на громоотвод. Из-за громоотвода все и решили, что это было оружие. Кроме того, разве мог он от простого удара молнии сгореть настолько, что рассыпался от малейшего прикосновения? Превратиться в какую-то труху, в пыль с комочками?

Здесь много непонятного. Дело это давным-давно прекращено, никто о нем и не вспоминает, но разобраться в этом, по-моему, так и не смогли.

Мерзко жить на свете, когда не чувствуешь себя защищенным даже в своем доме. «Мой дом — моя крепость» — звучит для меня изоциреннейшей издевкой. Над крышей и сейчас торчит этот железный прут, но к чему он? Он как подводная маска не умеющему плавать — ни к чему.

Теперь я понимаю, как все произошло. Молния — это тоненькая огненная полоска, может быть, не толще волоса. Она горит ярко и только поэтому кажется такой широкой. Она проникает куда угодно. Через камень, стекло она проникает и через ткань уж конечно. Может быть, только это нельзя проверить, она даже землю пронзает насквозь и выходит с той стороны из-под земли, а кажется, будто молния ударила сверху. Бог его знает... Она так быстра, что не заметить, откуда летит. Да это и не важно. Важно, что она летит. Она такая тонкая, такая неуловимая, такая сильная, что облетает громоотвод, уходит от него. Если даже и существует какая-нибудь зависимость между молнией и громоотводом, если он и действительно умеет как-то притягивать ее к себе, то это бывает только со слабой молнией, когда она уже на излете, когда, возможно, она бьет с той стороны, из-под земли.

А та, что убила отца, была сильной, молодой молнией, родившейся где-то над самым домом, скорее всего потому, что во время грозы мы жгли электричество. Ну да ладно, все равно это лишь мои догадки.

Тонкая, она прошла и стену, и стекла, и занавеску, а через отца, наверное, пошла дальше, в землю. Дырочка где-то есть, только нам ее не заметить, она очень маленькая.

Совсем мама сошла с ума позже, по-моему, через несколько месяцев, в больнице. Все это время она балансировала на грани безумия и сознания. Когда нас пускали к ней, она просила только не красить опаленную молнией стену... Вот тоже странно, почему снаружи следы были, а в комнате нет?

Ее держали в закрытой больнице, и просто так, без специального приглашения, попасть к ней было невозможно. Да нас и не особенно тянуло туда: она стала страшная. Какое-то очень неприятное лицо. Не могу объяснить, что именно с ней произошло, но смотреть было страшно.

Нас и домработницу тоже спрашивали — было что-нибудь подозрительное в этот день или раньше? Кто-то вспомнил про телефон, но ничего, кажется, насчет звонка так и не выяснили.

Был один странный визит. Вскоре после гибели отца пришел человек. Я видел через окно детской. Мне понравился его лицо, какое-то интеллигентное, как мне сейчас кажется, оно было, что ли... Трудно описать. Таких лиц много, ничего особенно замечательного, но все-таки обаяние какое-то в нем было. Ну и видно, что человек неглупый. Можно сказать, интеллеktуал, то есть занимающийся умственной работой. Одет был строго, из-под длинного, темно-серого пальто серые брюки. В шляпе был. В общем, хоть и ничего особенного, но лицо, вызывающее доверие. Наверное, такому хорошо следователем работать, чтобы из преступника сведения вытягивать доверием.

Он позвонил, открыла домработница. Тетка тогда еще не приехала присматривать за нами.

Часового у ворот убрали, ведь охранять-то теперь некогда — умер отец. Иначе этот человек не прошел бы к двери. Итак, он позвонил. Домработница открыла...

Все время сбиваюсь, потому что кое-что забываю: домработница уже была новая. Ту, старую, понятно, увезли.

...Домработница открыла. Человек спросил: можно того-то? Ему ответили: он умер.

Домработница говорит, что человек был удивлен и даже поражен.

— Умер? — переспросил он.

— Да...

— Я звонил... — Он замолчал. — Извините... Соболезную, — так он сказал и ушел. Я слышал, что ей потом здорово досталось за то, что не сумела задержать этого человека и сообщить о нем куда следует.

И правда, обидно.

Потом его искали. Предупредили и нас, что если еще раз зайдет человек, у которого нет передних зубов, — всеми силами стараться его задержать.

Но это было излишним, ведь дома у нас и так ждала его засада. Кажется, его так и не нашли.

Дмитрий БЫКОВ

☆☆☆

Дайте мне сбиться, не дайте мне спиться,
Срезаться, снизиться, сдаться, скатиться
В лужу юродства, в позор шутовства —
Дайте мне вымолвить эти слова!

Дайте мне сбиться, не дайте мне слиться,
Сжиться, соскучиться, свыкнуться, свиться,
Страстно добавив единственный свой
Голос — в катящий по улице вой!

Дайте мне все это выкрикнуть, вместо
Песни протеста или манифеста:
Я не католик и не протестант,
Я по природе не манифестант, —

Дайте мне сбиться, не дайте мне сбиться,
Смыться, смешаться, пропасть, раствориться, —
Дайте мне чашу на этом пиру!
Дайте!
Иначе я сам заберу.

☆☆☆

Слепой прозреет — и ослепнет...
Т. МИЛОВА.

В эру глобального дискомфорта
Мы доедаем остатки торта.
Скучно, по совести говоря.
В самом начале, в самом конце ли —
Тычемся в стены без ясной цели,
Словно слепцы без поводья.

Двинуться страшно, а если пропасть?
Но проводник повторяет пропись.
Видимо, в этом в конце концов —
Наше отличие, наше обличье:
Толпы слепцов на беспроводничье
И проводник без всяких слепцов.

Что, на рассвете? Нет, на закате.
Голос не дрогнет, дух не захватит,
Сердце не екнет на выраже...
Пейте минводы под бутерброды!
Вот, дождались у моря погоды,
Да только паруса нет уже.

Куда? Куда-то. Когда? Когда-то.
Спросишь порою старшего брата:
— Что, не видать ли проводника?
К рядом стоящим братьям-калкам
Он обернется незрячим ликом:
— Нет, — говорит, — не видать пока.

г. Москва

Виктория ГЕТЬМАН

☆☆☆

Волшебник и без палочки волшебник,
А ты — с волшебной палочкой — никто,
Ты с нею обращаться не умеешь,
И лучше бы не трогал ты ее.

Художник и без кисточки — художник,
А ты — не нарисуеть и двумя,
Ты с ними обращаться не умеешь,
И лучше не бери их никогда.

Играет музыкант, не глядя в ноты,
А ты — все ноты выучил давно,
Но с ними обращаться не умеешь,
И музыки не слышно у тебя.

Оставь в покое белую бумагу
И положи на место карандаш,
Поэт поэтом будет — без бумаги,
Тебя же и бумага не спасет.

Дебют в
"ЮНОСТИ"

Виктория
ГЕТЬМАН



Дмитрий
БЫКОВ



Елена
КАЗАНЦЕВА



Юлия
ПИНОВАРОВА



Дмитрий
БУШУЕР



Борис
КЛЕТИНИЧ



Людмила
ЛИНЬКОВА



Михаил
БОЛОТОВСКИЙ



Евгений
СЕДЬЦ



Вадим
КВАШНИН



☆☆☆

Мы называем вещи своими именами —
Своими именами, придуманными нами,
Придуманными наспех — в надежде на успех,
Но поднятыми на смех — на небывалый смех.
Так называем слепо, причем уже веками,
Мы сердцем то, что слева, и будь там даже камень —
Холодный серый камень, стотонный монолит,—
Вы тронете руками и скажете:
— Болит.

г. Донецк

Юлия ПИВОВАРОВА

☆☆☆

— Так. Так,— заметил циферблат.
— Ту! Ту! — пропела электричка.
— Пойду! — вскричал дегенерат.
— Бардак,— шепнула истеричка.
— Сентябрь...— задумался разведчик.
— Обед! — опомнились бичи.
— Война,— сказал автоответчик.
Ему сказали: «По-мол-чи».
— Война,— сказал автоответчик.
Ему ответили: «Заткнись!»
— Война,— сказал автоответчик.
— Любовь! — воскликнул онанист.
— Весна...— откликнулась Татьяна.
— Сентябрь,— напомнил ей разведчик.
— Война,— сказал автоответчик.
— Свободу слову! — крикнул пьяный.
— Алкаш...— нацелился дружинник.
— Дружинник...— сплюнули подростки.
— Я ваш,— признался дачник жирный
Своей знакомой в крепдешине.
Она ответила: «Как просто!»
И, помолчав: «Еще не вечер...»
— Пять двадцать,— уточнил разведчик.
— Война,— сказал автоответчик.
— Война,— сказал автоответчик.
Зал ожиданий тонет в болтовне:
То смех, то стих, то песня, то икота,
Вот подошли поговорить ко мне
Два дружелюбных пожилых якута,
Один из них мне свой секрет доверил...
Вокзал впитал в себя сырую мглу...
И автомат Калашникова древний
Автоответчик разбирал в углу.
Одно и то же он твердил устало,
И не был он ни вещим, ни зловещим,
Но тут пришли два темных санитара
И говорят: «Пойдем, автоответчик,
Ты нам ответишь, ты за все ответишь...»
И он в ответ: «Конечно, я отвечу...»
Слова смолкают, превращаясь в ветошь,
Теряют суть понятия и вещи.
Мы слышим, как скрипят его пружины.
Мы мучаемся чем-то вроде жажды.
Любой из нас готов отдать полжизни,
Чтоб этот вечер повторился дважды.

☆☆☆

Вброд переходим холодную воду.
Впрок закупаем еду.
— Ярмарка, Вася, идем к народу!
Он отвечает: «Иду...»
Вот мы подходим, золотом платим,
Вася купил карабин...
— Вася! Купи мне платье
Красное, словно рубин.
Это я пользуюсь женской властью...
Месяц завернут в фольгу,
Месяц слоняется по небу...

— Вася!

Вася, купи коньяку!
Холодно ночью мулатке в палатке,
Ветер играет в песках...
— Васька! Купи мне платье
Красное, как Москва.

г. Новосибирск

Елена КАЗАНЦЕВА

☆☆☆

Не хватит сил, и я с балкона
однажды прыгну навсегда,
чтобы с ночного небосклона
в меня не целилась звезда
и не пугала дальним светом,
быть может, мертвая уже...
Я б не хотела быть поэтом
и жить на первом этаже.

☆☆☆

Вас я так люблю, что сердце тает!
К черту комфортабельный уют —
приходите, вместе полетаем,
если из рогатки не убыют.

Боже мой, у Вас такие крылья!
Нет, летайте сами — Вам везет.
Я ж того стрелка смешаю с пылью,
если он нарушит Ваш полет.

☆☆☆

Я к тебе хожу не за подааньем —
я стихи пишу под твоим влиянием.

☆☆☆

Дома никого — и свет в квартире,
темноты боюсь, боюсь, и все.
Вдруг звонок — и я мишенью в тире —
у двери: кого еще несет?

Открываю: молодой, красивый
и высокий, в модное одет;
кто, к кому, зачем — я не спросила
и в прихожей погасила свет.
Желтая распахнутая блуза,
в черноте пиковой — желтый туз...
Знаю, что к поэтам ходит Муза,
а ко мне пришел сегодня Муз.

г. Минск

Дмитрий БУШУЕВ

Но ты оленя не убьешь

В твоей охотничьей гостиниой сидят простуженные совы,
и позолоченных карнизов горят кленовые листья,
а мой поэт — один Волошин,

Максимильян львиноголовый,
а ухнет филин — ахнет выстрел —

аукнется мне лес сосновый,
небрежно упадут на шкуры твои охотничьи дары.

Собаки сами дичь приносят,
орлы когтят безумных зайцев,
и черный панцирь черепахи блестит на лысине твоей,
на живодерне крики самок, и хмель зубровкой бодается,

откроешь рот — а вместо слова
вдруг вылетает жирный шмель.
Шмели гудят в твоей гостиной.
Часы седьмую бьют годину,
и ты стреляешь по кукушкам,
ружейным заливашь маслом, грызешь горячие стволы.
Как медвежатник задубелый, по голове пивною кружкой
ты бьешь зверей, когда над лесом
визжит угар бензопилы.

Дохнул столетним перегаром —
в лесу деревья стали голы,
и пахнет жареною хвоей, за голенищем спрятан нож,
а мой поэт — один Волошин,
Максимильян львиноголовый,
а сумрак пахнет мокрой псиной,
трещут в рощах птицеловы,
когда с крутым колом осиновым ты за добычею идешь.
В твоей охотничьей гостиной трофеи схваток и побоищ,
не отсырел табак и порох, орел кружил над головой...
И будут многи убиенны,
НО ТЫ ОЛЕНЯ НЕ УГРОБИШЬ,
когда к нему приходит осень и травит шкуру рыжей хной.

Сексопатолог Ястребов

Сексопатолог Ястребов любит коньяк и грибной суп,
сладко пахнут мускатом его манжеты крахмальные,
стекла очков золотые, и оправа в черной окалине
стреляет в меня полночью. И прорезается зуб,—

так прорезается зуб поздней октябрьской мудрости,
в нашей зацветшей волости Ястребова люблю!
Он хранит, как язычник, любовь к большому огню...
Сексопатолог Ястребов — друг опоздавшей юности.

Он по ночам штормующим правит свой лимузин,
фары его рентгеновские как облучают нас!
Жги бензин мандариновый! Ешь, буржуй, ананас!
Ястребов, брови вскинув, ловит своих мужчин...

И мячом отпружинит луна от трамвайного сдвига,
и по крышам больничным она разольет кислоту,
и леденцом растает, в глаз расплавит звезду...
Знаешь, как будто в детстве, рот перепачкан черникой.

...А на престоле осеннем Ястребов сам восседает,
Лермонтова читает, кофий жеманно пьет,—
он язычком своим тонким с губ моих слижет мед,
он оптическим стеклышком сердце мне прожигает...

Ястребов или Коршунов кожаный снимет плащ,—
перья увижу желтые на теле его атлетическом,
и на кончиках пальцев любви моей электричество
видит на темном снимке этот печальный врач.

Свети мне в душу прожектором, высвечивая углы!
Стреляют зелеными искорками выпуклые очки
в расширенные от ужаса черных коней зрачки...
Гони коней моих, Ястребов, черных коней гони!

Венчается раб Твой, Боже, осеннею кутерьмой,
и Арлекин-соблазнитель шепчет мне по ночам,—
это знакомый Ястребов вороном мне вешал,
и над волостью-заводью голос гремит грозой.

...С первым снежком опомнились,
выпались, передумали,
хлещет водою ржавою в легкой моей судьбе.
У сексопатолога Ястребова шмель сидит на губе,
когда он в кленовой спальне целуется с лилипутами.

Эх, лимузин, до свиданья —
как ежик, в листьях золотеньких!
Ты возвращайся, Ястребов, хищник усталый мой,
солнечный доктор рыжий, любящий суп грибной,—
мальчик в весеннем солнце со смехом родился,
в родниках,
со шмелем на губе...

г. Иваново

Борис КЛЕТНИЧ

☆☆☆

Рискув с мировою судьбою улечься валетом,
полночи ворочаюсь. Как я повязан жестоко!
И впору псалмы прочитать над двухтысячелетьем
и сверить его с показаньями древних пророков,
а в мире все те же дремучие детские нравы,
как во времена нибелунгов и гипербореев,
хотя не сегодня, так завтра,

не слева, так справа —
поднимется магмой из недр юбилей юбилеев.

Что делать?

Как быть?

Кто-то ходит ночами под небом.

И своры морей заливаются лаем тревожным...
И впору покаяться русским, евреям и неграм,
и богоизбранным народам, и вовсе безбожным,
голодным и сытым, всем правым и всем виноватым.
Грехов не избыть травоядною жертвой священной.
Ах, только бы Тигр в злобё не сцепился с Евфратом,
и не помышлял Енисей надругаться над Леной.

Не надо костров, обличений, тем паче судилищ,
Не надобно в березняке находить полукровку!
Мы все полукругом на вёчере тайной садились,
слезами размазав предательство по подбородку.
До той же поры, пока, душу каля и тираня,
не свергнишь себя с высоты деревянных богов,—
повсюду гниют на деревьях плоды покаянья,
и дьявол, как поезд,

выходит из берегов.

☆☆☆

Наша близость — как литое море.
Самочинная стихия. Трудно
передать в интимном разговоре
глубину раскатов многотрубных.

Мы близки на отмелях, в ущельях —
всей пучиной, всем смурным пространством.
Я давя в своем соленом теле
пенные зашкаленные страсти.

Разделившая со мною кожу,
и ожоги летних испарений,
и приплюснутое по-бульдोजьи
полосов планетное давление,

Помоги нашарить в темноводье
столб лучей в колониях материй,
что велел нам быть единой плотью
и одушевил единой верой.

г. Кишинев

Михаил БОЛОТОВСКИЙ

☆☆☆

Я тоже ходил босиком по росе.
Я тоже отсюда. Я тоже, как все.
Я вырос в березовой хмари.
Я сено косил и на танцах плясал.
И часто из армии письма писал
Доярке Федотовой Варе.

И так же, как все, просыпался чуть свет
На выборы в суд и Верховный Совет.
Я жил и подробно, и прочно.
Возил на КамАЗе гнилую морковь...
И знать я не знал, что за эту любовь
еще и заплатят построчно.

☆☆☆

И вырывался из такого плена,
Что нынче ни больница, ни тюрьма,
Ни дом пустой, ни замкнутость Вселенной
Не бросят в дрожь и не сведут с ума.

Такие постигал установленья
На кратком и задерганном веку,
Что, кажется, без тени сожаленья
Я уступить сумею дураку.

г. Москва

Людмила ЛИНЬКОВА

☆☆☆

Когда он понял, что одна
ему Вселенная дана,
подумал и вселился.
Родился раннею весной,
погиб на Первой Мировой,
а на Второй женился.
А накануне остальных
он собирал детей своих,
оставить завещанье.
Вселенная была одна
детьми его поделена,
и колыбельная война
склонялась над прощальной.

☆☆☆

Этой маленькой речке, укрытой попоной,
Задан ритм умирания,
К слову о жизни,
Мне не нравится жизнь и ее проявление
Обязательно в белом и вечном, минуя
Голубое, зеленое и золотое.

Не пугайся, малышка, твое растворенье
В полномутном потоке величества речи —
Это только покой акватории зренья,

Ты увидишь все то, что оставила вечность,
И, вобрав в себя соки растений прибрежных,
Сохрани неспособность продлиться и помнить
Что-то кроме того, чем окажется время
Твоих маленьких пут, берегов и затонов.

И когда я коснусь золотою ладонью
Твоих век голубых и волос изумрудных, —
Ты умрешь, ты уснешь, ты услышишь, как тонко
Преломляется свет и течет отовсюду,

Ты забудешься всем, что тебя окружало,
Было телом и теменью, было волною...
Я не знаю, зачем было этого мало,
я не помню, когда это будет со мною.

г. Москва

Евгений СЕЛЫЦ

По следу Георгия Адамовича

«Когда мы в Россию вернемся?!»

О, Гамлет восточный, куда?..
В Россию, в которую ныне не ходят уже поезда?..

Куда же, мой Брат?..

Разомкнулся Отечества замкнутый круг.
В бурьяне увязла дорога

«Париж — Кенигсберг — Петербург».

О, Гамлет, Отец мой! Мессия! Уснув на чужбине навек,
ты хочешь проснуться в России,
наивный, смешной человек.

Прости, но тебе не проснуться.

Живущим в России, ей-ей,
и тем не дано прикоснуться к одеждам России твоей,

К ее колокольням и ризам, к упругих вожжей тетиве...
О, Дед, увлеченный Хафизом! Хафиз заблудился в тебе!

«Когда мы в Россию...», О, Прадед!

Ты будешь проглочен толпой,
где сытый голодного грабит и зрячего душит слепой.

Россия не Тройкой несется, а ЗИЛом в дыму мировом.
И страшное фото пасется на грязном стекле ветровом.

Пылит столбовая дорога. И если отстал человек,
ему ядовитую пылью глаза выедаст навек.

«Когда мы...» Не нужно вопросов.

Не время для слова «когда».
Одетая пылью Россия на ощупь идет. А куда —

неведомо мне. Небожитель, глаза мои болью горят.
У ЗИЛа культурный водитель. Он знает куда, говорят...

Мы

Явление «МЫ» не результат сложенья,
Не «куча», не «плотина», не «струя»,
А извлечение корня из броженья
случайных и порой враждебных «Я».

Им тесно под чугунным радикалом.
Но только так сплетаются умы.
И только здесь, в пространстве этом малом,
рождается неузнанное «МЫ».

И, обретая медленную силу,
на заданном чугунном рубеже
выдалбливает братскую могилу
всем прочим «МЫ», распавшимся уже.

г. Томск

Вадим КВАШНИН

☆☆☆

Завтра я, верно, пойду и добуду енота.
Если не я, то добудет удачливей кто-то.
Темного пса, но уже с неживыми глазами.
Мертвые ягоды плачут простыми слезами
В звездную ночь и громаду плывущей Вселенной.
Что там живого пою я о жизни мгновенной?

Черный мальчишка измечется ночью в капкане.
Трос изжует омертвелыми злыми губами.
Трос не поддастся, и серое утро наступит.
Кто-то придет. И за шкуру покой себе купит,
Будет кормиться кусками недолгого хлеба
С запахом ночи и жуткого серого неба.

Время забвеньем жестокие души врачует,
Сука вернется и мертвого сына почует,
Горем немым изольется в пустыню Вселенной.
Что там живого пою я о жизни мгновенной?

Московская обл., Коломенский район.
д. Лукерьино



Борис БАЛТЕР

САМАРКАНД*

Рисунки Владимира Гольдьева

* Публикуемый отрывок представляет собой своего рода эскиз (или два эскиза, произвольно объединенные) к большой автобиографической повести.

Повесть эту Балтер задумал давно, вынашивал долго, а закончить так и не успел.

Все мы знали, что Борис тяжело болен, что болезнь его неизлечима, смертельно опасна, что жизнь его висит на волоске и развязка может наступить в любую минуту. И все-таки смерть ошарашила, ошеломила своей внезапностью. Как сказал в раннем, юношеском стихотворении Константин Симонов:

Никак не можем примириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.

По замыслу автора эта так и не написанная им книга должна была продолжить тему, начатую его повестью «До свидания, мальчики!». Она была опубликована в 1962 году в №№ 8 и 9 «Юности» (отдельные главы до этого появились в альманахе «Тарусские страницы») и вскоре вышла отдельным изданием. Повесть сразу покорила читателей, стала любимой книгой, по ней были поставлены спектакли, снят фильм. Но потом — по причинам, о которых речь впереди, — при жизни автора не переиздавалась, да и самое имя Бориса Балтера было напрочь вычеркнуто из литературы.

Как на нескольких страницах рассказать о человеке, которого любил и близко знал на протяжении десятилетий? Как уложить в эти жесткие рамки все, что знаешь о нем, о его яркой, необыкновенной судьбе, о его непростом характере!

Да, бывают такие судьбы, такие биографии, когда даже скупой, анкетный перечень фактов производит известное впечатление. В 19 лет добровольцем пошел на Финскую войну, Отечественную встретил лейтенантом, а кончил майором. В 23 года командовал полком, вывел его из окружения. После войны был уволен из армии, что казалось ему тогда крахом всей его жизни. Он поступил в Литературный институт. Запас впечатлений распирает его, он хотел написать обо всем, что видел и пережил. В институте он стал одним из любимых учеников Константина Паусто-

В Москве я лучше всего знаю бульвары между Арбатом и площадью Пушкина. В Скертном переулке жила моя сестра — в то время она уехала с мужем в Заполярье. В молочной, у Никитских ворот, я завтракал. А в девять часов уже торчал в приемной Политического управления Красной Армии. В нее входили со стороны Арбатской площади. Всякий раз, когда открывалось окошко дежурного, я вскакивал с откидного стула. Посетителей было много, и стулья, скрепленные между собой, стояли вдоль стены. Проще было, конечно, подойти и постучать в окошко, спросив, есть ли ответ на мое письмо. Но в неопределенности ожидания была хоть какая-то надежда, и я не подходил. Потом приемная закрывалась на перерыв, и я шел по бульварам обедать в шашлычную. В ту самую, которая существует и сейчас, не доходя площади Пушкина. Дважды в день я совершал этот маршрут, удрученный свалившейся на меня бедой.

Ни разу в то время я не вспоминал семилетнего мальчика на белой от зноя улице Самарканда. Да и к чему мне было его вспоминать. А между тем этим мальчиком был тоже я. Трижды в неделю я ходил к деду. В его многочисленной семье я был единственным внуком, и, по еврейскому обычаю, дедушка готовил меня к таинству, которое должно было состояться, когда мне исполнится тринадцать лет. Он презирал самаркандского раввина за его невежество и мечтал, что я — просвещенный и образованный, со временем займу его место. В Самарканде, как и по всей стране, еще был нэп, дедушка занимался мелким маклерством, а на досуге вычислял движение звезд и вел переписку с известными математиками и астрономами. Прямо о своей мечте дедушка не говорил — боялся свою дочь и мою маму. Но, как я теперь понимаю, проводил со мной подготовительные беседы.

— Береле, — говорил он. — Богу не нужны идиоты.
— Пусть он сделает их умными, — отвечал я.
— Зачем? — спрашивал дед.

вского. Но путь его в литературе был нелегким. Выходили книги, однако оставались не замеченными и читателем, и критикой. Он был уже немолодым человеком, когда вышла в свет та, лучшая его книга, принесшая ему признание и успех.

В 1968 году Борис Балтер подписал коллективное письмо, адресованное Брежневу, Косыгину, Подгорному и Руденко. В письме подвергалась сомнению обоснованность приговора по одному из самых громких политических процессов того времени.

Тогда была волна таких коллективных писем. Тексты их ходили по рукам, попадали за границу, передавались по зарубежным («вражеским») радиоголосам, и все это, естественно, вызывало сильное недовольство властей. Но то письмо, которое подписал Борис Балтер, вызвало особую ярость. Или потому, что оно оказалось последней каплей. Или потому, что было наиболее резким и независимым по тону да и по смыслу: преследование инакомыслящих в 60-е годы там прямо сравнивалось с фальсифицированными политическими процессами 30-х годов.

Так или иначе, но на этот раз «подписантов» решили сурово наказать. Особенно круто расправились с членами партии. Исключили даже тех, кто готов был признать свою подпись под письмом грубой политической ошибкой. От них также требовали, чтобы, помимо признания своей вины, они назвали имя того, кто им дал подписать криминальное письмо. То есть — прямого предательства. Это называлось: «Полностью разоружиться перед партией».

Борис Балтер был, кажется, единственным, кто отказался идти на какие-либо уступки. Он ни за что не хотел даже признать свой поступок ошибочным.

В партийной организации журнала «Юность», где он состоял на учете, Балтера любили. Товарищи уговаривали его пойти на компромисс (примерно так, как Савельич в пушкинской «Капитанской дочке» уговаривал Гриневу: «Не упрямясь! Что тебе стоит? Плюнь, да поцелуй у него рубку»).

Быть может, принимая во внимание обстоятельства биографии Балтера (он вступил в партию в феврале 1942 года под Ново-Ржевом, когда вся его дивизия попала

— Бог ведь все может? Раз ему не нужны идиоты, пусть сделает их умными.

— Паша, ты слышишь, что говорит твой внук? — В голубоватых глазах деда вспыхивали веселые искорки.

— Я же не глухая. Слава богу, у мальчика светлая голова.

— Береле, твоя бабушка говорит правду. Но если бог начнет заниматься пустяками, людям неинтересно будет жить. Когда ты постигнешь мысли бога, ты это сам поймешь.

Говоря по совести, я ничего не понимал и поэтому возвращался к началу разговора.

— А что же делать с идиотами?

— Ничего. Пусть себе живут. Идиоты безвредны, пока не берутся за то, что должны делать умные люди.

— Но они же берутся. — Я хитро шурил левый глаз по той причине, что дед делал так же.

— Правильно. А ты подумай, для чего я тебя учу.

— Чтобы я стал умный. — Мне было очень приятно быть догадливым.

— Паша, сколько нашему внуку лет?

Бабушка не была такой умной и вопросы деда воспринимала всерьез.

— Семь, — отвечала она.

— Ты уверена?

— Если он родился шестого июля в девятнадцатом году, а сейчас двадцать шестой...

— Ну, ну... — подбадривал дед.

Бабушка, взглянув на него, вдруг приходила в ярость:

— Что ты мне морочишь голову? У тебя единственный внук, и ты не знаешь, сколько ему лет?

— Вот именно, Паша. Ему только семь лет, и я иногда в этом сомневаюсь.

Конечно, приятно, когда тебя считают не по годам умным. Меня только смущала легкость, с которой я этого добивался. Чтобы казаться умным, надо было всего-навсего задавать много вопросов. Меня до сих пор тошнит от детей, которые без конца задают вопросы.

Иногда к дедушке приходила мама. Она любила отца и приходила как бы невзначай навестить стариков родителей. Но ее миролюбия хватало ненадолго.

— Папа, почему ты называешь Борю Береле? В метриках четко записано, что его имя Борис, а не Борух и не Береле. И потом, мне не нравится программа ваших занятий.

— Доченька, что тебе еще не нравится? Может быть, тебя не устраивает, что твой сын еврей? Так этот факт уже факт. Его не в состоянии отменить даже революция. — Дедушка шурил левый глаз и снимал ермолку. Он занимался со мной в ермолке, накинув на плечи талес — кусок белой шелковой ткани с синими полосками на концах, похожей на широкое полотенце. Под ермолкой у деда была лысина, окруженная седыми волосами, густыми и легкими. Дедушка носил усы и короткую бородку, как у Чехова. Он вообще был похож на Чехова, особенно когда надевал пенсне.

С приходом мамы дом деда превращался в пороховой погреб. Достаточно было одной спички, чтобы все взлетело в воздух. Такой спичкой было обычно еврейство, которому дед оставался верен до конца дней своих.

— Революция не мешает факты. Революция сделала больше — уравнила в правах все нации, — говорила мама. — Мой сын будет служить революции, как служу ей я, потому что он мой сын! — Мама еще пробовала сдерживаться.

— А разве ты не моя дочь? Между тем я никогда не мешал своим детям поступать так, как им подсказывала совесть.

— А мой сын будет делать то, что считаю нужным я!

— И это, по-вашему, называть свободой? — Красная от загара лысина деда становилась малиновой — признак раздражения. Обычно на этой стадии в разговор вступала бабушка, которая до этого молча сверкала глазами, готовая превратить свою дочь в пепел.

— Бандитка! — бабушка сразу переходила на крик. — Как ты разговариваешь с отцом? И это я носила тебя под сердцем, сгорая от изжоги! Теперь я понимаю, почему у меня была такая изжога. Соломон, ты помнишь, как

в окружение), ему хватило бы туманного полупризнания своей вины, чтобы отделаться строгим выговором (как поется в известной песне Галича: «Получил строгача, ну и ладушки...»). Но Балтер не соглашался даже на такой, «мягкий» вариант. Он твердо стоял на своем.

Вот небольшой отрывок из его выступления на партийном собрании, где разбиралось это «персональное дело»:

«Я никогда еще не слышал столько слов любви ко мне и такого высокого признания моей писательской работы. Я понимаю — вам тяжело. Поверьте — мне не легче. Но есть еще одно обстоятельство, знакомое вам как редакционным работникам. Когда вам попадает произведение, которое вам нравится, но которое трудно опубликовать по цензурным соображениям, вы начинаете над ним работать. Что-то убираете, что-то смягчаете, а напечатав, вдруг видите, что произведение нравится вам значительно меньше, а читателям совсем не нравится. Вы говорили, что любите и цените меня. Но любите и цените за то, каков я есть... Если бы я даже хотел пойти вам навстречу и признать свою подпись под письмом политической ошибкой, мое признание прозвучало бы фальшиво...»

Мы еще не слишком далеко ушли от тех времен. Но все-таки ушли. И современным читателям, особенно молодым, эти слова покажутся естественными, само собой разумеющимися, не требующими какой-то особой смелости, а тем более героизма.

Однако Борис Балтер недаром начал свое выступление на другом партийном собрании, в Союзе писателей — том, где обсуждалось дело Синявского и Даниэля, — такими словами:

«Я поднимался на эту трибуну с таким же напряжением, с каким поднимался в атаку. Не пора ли задуматься, товарищи: откуда это взволнованное чувство готовности совершить подвиг, когда всего-навсего собираешься сказать то, что думаешь...»

Сколько я видел людей, которым легче — гораздо легче! — бывало подняться в атаку, чем сказать с такой вот трибуны хоть словечко правды!

Но Борис Балтер был не только храбрым солдатом, ему и гражданского мужества было не занимать. И тем не

менее нелегко ему было перешагнуть тот невидимый барьер, за которым — он знал это наверняка! — для него начнется совсем уже другая жизнь: перестанут печатать, лишат заработка, обрекут на мучительное и горькое существование «отщепенца», «диссидента».

Тем не менее он этот барьер перешагнул.

«В феврале 1942 года, под Ново-Ржевом, 357-я стрелковая дивизия попала в окружение, — говорил он в своем «последнем слове». — В этой обстановке самой большой опасности подвергались коммунисты, войсковые разведчики и евреи. Я был начальником разведки дивизии и евреям. Тяжело раненный, я вступил в партию. Свой долг коммуниста я вижу в активной борьбе за лучшее социальное и нравственное устройство человеческого общества. Только в возможности продолжать такую борьбу я вижу смысл считать себя коммунистом».

Это значило: если именем партии меня хотят поставить на колени, заставить отказаться от моих убеждений и выдать товарища, то есть совершить двойное предательство, если непременно условием пребывания в партии становится отказ от всего, что я считаю нравственным, — что ж, тогда я и в самом деле больше не вижу смысла считать себя коммунистом.

В последние годы, когда нравственное состояние нашего общества стало иным, во всяком случае, становится иным, я часто вспоминаю ушедших друзей — тех, кто не дождался до этих новых времен. Как они были бы счастливы сознавать, что теперь они уже больше не одиночки, не жалкие «прапорщики», шагающие «не в ногу», когда вся «рота» — двухсотмиллионный народ — шагает в ногу. Нелегкое это дело — чувствовать себя таким прапорщиком, даже если сам ты и не сомневаешься; что прав.

С болью вспоминаю я всех, кто не дождался до наших дней. Но больше всего мне мысль, что до них не дождался Борис Балтер.

Бenedикт САРНОВ

* На партийном собрании в редакции Б. И. Балтеру был объявлен строгий выговор, а бюро райкома исключило его из партии.

у меня горели все внутренности? Я выпивала фунт соды, и это не помогало...

— Мама, перестань. Достаточно, что ты искалечила Боря защитить.

— Соломон! Почему ты молчишь? Оказывается, я искалечила ребенка, сделал его евреем. Гот майн, Гот, почему не отсохнеш язык у этой бандитки?! Исаак! Теперь я знаю, что сократило твою жизнь!

Исаак был мой отец. Он умер, когда мне было два года. Он навсегда остался для меня незнакомым, таинственным, загадочным. Меня била частая дрожь. Я хотел и страшился узнать о той части моей жизни, которую не знал, потому что не помнил. Но как раз в это время дед сказал:

— Пойдем, Береле, это уже женский разговор...

Мама смотрела на деда жалкими и ожесточенными глазами. Когда я видел маму такой, я пугался. Она любила своего отца, но ничего не могла с собой поделать. Боялся маму не только я. Ее неукротимость приводила наших соседей в трепет. Мама никому не давала спуска, и я боялся за нее, потому что соседей в нашем дворе было много, а мама одна. И все соседи ее ненавидели. Я подозреваю, что бабушка тоже боялась маму, и только самолюбие мешало ей в этом признаться. Увидя, что дедушка уводит меня с собой, она закричала:

— Куда ты уводишь ребенка? Мальчику надо поесть. Я знаю женщину, которая должна рожать камни, а не детей.

— Ты посмела вспомнить Исаака, — раздельно заговорила мама, стуча указательным пальцем по столу. — А кто умолял меня, шестнадцатилетнюю девочку, выйти замуж за сорокалетнего человека? Кто умолял меня выйти за него замуж и спасти семью?

Дедушка с нежной настойчивостью вывел меня из комнаты. Мы вышли в сад.

Из открытых окон слышны были гневные голоса.

— Береле, — сказал дед. — Когда начинают разговаривать женщины, самое благоразумное — уйти. А твой папа действительно спас меня и моих детей от погрома. И сюда из Кисва привез нас тоже он...

— А как он мог вас спасти?

— Это я тебе как-нибудь расскажу. Мы выберем время, и я тебе расскажу. — Дедушка нагнулся ко мне, и я увидел близко голубоватые и близорукие глаза, растерянные и беспомощные.

До сих пор не могу понять, почему мама просто не запрещала мне ходить к деду. Я бы не посмел ее послушаться. К тому же тащиться по жарким улицам было не очень приятно. И, хотя я и знал, что к моему приходу бабушка пекла струдель, а в огромном из мореного дуба буфете меня ждали медовые маковки, ходить к ним было совсем не весело. Я бы и не ходил, если бы не научился коротать дорогу. А научился я этому очень просто — шел и мечтал. Я начинал мечтать не сразу, потому что сначала идти не было скучно. От ворот нашего дома до угла Уругтской я шел в тени тутовника, по тротуару, вымощенному кирпичом. Рядом шумно протекал арык. Можно было поболтать босыми ногами в холодной и прозрачной воде. Переспелые ягоды часто срывались с деревьев и разбивались, оставляя на кирпичах мокрые пятна. На углу стояли дом председателя ЦИКа Узбекистана Ахунбабаева и караульная будка. Я знал всех постовых милиционеров, и прежде чем покинуть благодатную тень, можно было постоять возле будки. Через дорогу начиналась открытая солнцу улица и справа от нее — городской парк. На пологих склонах росли пирамидальные тополя, чинары, карагачи. Ядовито-зеленую на солнце траву прорезали белые дорожки, посыпанные песком. Тени деревьев лежали на земле черными пятнами. На холме вокруг летнего кинотеатра без крыши росли акации. Таких огромных акаций я больше никогда и нигде не видел. По вечерам, когда над кинотеатром поднималось рассеянное сияние, мальчишки прятались в густой листве и снизу были похожи на вороньи гнезда. Бороться с безбилетными зрителями было бесполезно, потому что мальчишки лазали по деревьям, как обезьяны. Пока хромой сторож сбивал их длинным шестом с одного дерева, они у него за спиной проворно залезали на другое. Случалось, что ветка не выдерживала тяжести, и кто-нибудь из мальчишек срывался вниз. Остальные лишь одно мгновение провожали глазами падающего, увлеченные событиями на экране. Молодой Дуглас Фэрбенкс острием шпаги метил щеки и лоб противника кровавым знаком «Z». Картина так и называлась «Знак Зор-

ро». Гарри Пиль кидал лассо, и схваченный за шею противник на всем скаку вылетал из седла. Неотразимый Гарольд Ллойд, в соломенной шляпе, в белом костюме, с черной бабочкой на шее, покорял ярких красавиц. После очередной картины мальчишки по всем дворам ходили с веревочными арканами с петлей на конце или с веревочными хлыстами. Кое-кто довольно лихо пользовался хлыстом и арканом, но никто не мог одним ударом перерезать, как ножницами, лист бумаги, чаще попадая по руке того, кто его держал. Я тоже пересмотрел все картины, сидя на дереве, хотя добыть место было не просто. Я появлялся под деревом задолго до начала сеанса в сопровождении своей сестры Ланы. Пока она вела сложные переговоры с многочисленными претендентами, я скромно стоял в стороне. Переговоры не всегда кончались мирно. Дралась Лана по-девоночи, пользуясь весом. Она набрасывалась на мальчика, хватала его за шею и валила на землю. Только после этого, поудобнее усевшись на своей жертве, она пускала в ход кулаки. Правило — не бей лежащего — ее не касалось. Лана была очень красивой, и потому мальчишки постарше держали ее сторону. Еще не остыв после драки, Лана повелительно приказывала:

— Лезь!

И я покорно залезал на дерево при общем молчании и осуждающих взглядах. Меня, наверное бы, ненавидели, если бы я не умел пересказывать виденное или прочитанное. Читал я много и не просто пересказывал, а импровизировал, выхватывая сюжеты из разных фильмов и разных книг. По вечерам на кирпичной веранде, примыкавшей к забору дома Ахунбабаева, с четырьмя огромными карагачами по углам, в таинственной тени собирались меня слушать. О том, что я буду рассказывать, узнавали во всех соседних дворах. Подогретый вниманием, я вдохновенно врал. На меня накатывались видения, и я едва успевал облечь их в слова. Произнося фразу, я не знал, о чем скажу в следующей. В груди возникал холодок, слова лились сплошным потоком. В темноте поблескивали глаза слушателей, слышалось сдерживаемое дыхание. А я стоял в кругу, размахивая руками, повышал и понижал в нужных местах голос и был удивительно счастлив. Книжки я брал у адвоката. Он жил в нашем дворе, и в его прохладных комнатах стояли высокие до потолка полки с книгами. Иногда на веранде появлялся адвокат, и в темноте смутно белел его чесучовый костюм. Он похлопывал меня по плечу, говорил:

— Талант! Талант!

Что такое талант, я не знал, но догадывался, что это нечто для меня лестное.

По субботам в раковине у подножия холма играл духовой оркестр городского гарнизона. На скамьях перед раковиной собирались «бывшие» послушать музыку. Бывшими называли эпманов, врачей, адвокатов, оставшихся в городе после революции. Слушать музыку приходила сестра генерала Туманова в платье, плотно облегавшем талию и колоколом спускавшемся с бедер до туфель, носки которых выглядывали из-под тязелого подола. Она приходила в шляпе с полями и в длинных ажурных перчатках до локтей, закрывавших ладони, оставляя обнаженными костлявые пальцы. На ее полусогнутой руке висела сумочка, и она несла розовый зонтик с перламутровой ручкой, а другой рукой поддерживала подол платья. В городе уже были новые моды, по-старомодному одевалась только она. С ней приходила ее племянница Таня. Ее большие колени выступали из-под короткого платьица. Может быть, колени не казались бы большими, если бы ее ноги в белых носочках и лакированных туфельках с перепонками не были такими худенькими. Тетка с племянницей занимали скамью в боковой аллее выше раковины.

Но «бывшие» все равно их замечали, а капельмейстер в их честь исполнял полонез Огинского.

Я начинал думать о Тане возле караульной будки, стараясь представить ее с голубым бантом в белокурых волосах, пушистых и легких. Потом переходил через дорогу. После густой тени глаза слепило от белого зноя, тело охватывал сухой жар, но я обо всем забывал: и о жаре, и о длинной дороге. Я слышал о генерале Туманове и позже видел его с крыши балаханы — маленького, щупленького старикашку в военном сюртуке без эполет и в брюках с лампасами. Он прогуливался иногда в своем саду, чистенький, сухонький и злой. В прошлом году я первый раз залез на крышу балаханы — плоскую и густо поросшую травой. С нее я открыл, что за нашим забором — высоким, сложенным из обожженного кирпича, был чужой сад, дом под красной черепицей и даже другая улица за ним, а за улицей другие

сады и дома, и город сразу раздвинул свои границы. Сверху на него очень интересно было смотреть. Я боялся высоты и потому, влезая на крышу, ложился животом на траву, свесив голову в чужой сад. В один из дней я увидел в густых зарослях малины девочку в белом платье. Девочка подняла голову, и рука ее с красной ягодой замерла у открытого рта.

— Нехорошо заглядывать в чужой сад, — сказала она и бросила на землю ягоду.

Я не был уверен в правоте Тани и потому молчал.

— Мальчишки с вашего двора бросаются камнями. Вот, посмотри. — Девочка повернулась боком и подняла платье. На худенькой ягодице алел большой синяк.

— Я не бросал камни...

— Ты не бросал, а мальчишки с вашего двора бросают...

Это было похоже на правду, и я ничего не мог возразить.

— Как тебя зовут?

— Таня...

Я не знал, о чем говорить еще, и очень боялся, что девочка с минуты на минуту уйдет.

— С крыши все видно, — сказал я.

— Что видно?

— Ваш дом, улицу...

— Так я их и так каждый день вижу, — засмеялась Таня.

— И другие дома видно, и Ургутский базар...

— На Ургутский базар я каждый день хожу с тетей.

— Все равно с крыши интересней. Залезь, посмотри...

— Мне нельзя.

— Почему?

— Мы ведь бывшие. Я боюсь ваших мальчишек. Они дразнят меня недорезанной.

Я сам боялся мальчишек, но подумал об этом, когда о них напомнила Таня. Недорезанными ругали уцелевших буржуев. Я не придавал никакого значения этому слову, пока оно не коснулось Тани. Я почувствовал, что мне будет очень жалко, если ее дорежут. У меня мгновенно вспотели ладони. Я представил, как Таня с перерезанным горлом будет кувыряться, ее перепачканное кровью белое платье и капли крови на зеленых листьях малины. Когда в нашем дворе резали кур, они кувыркались по земле, разбрызгивая кровь.

— Хочешь, подойди к нашей калитке. Тетя спит, и я попробую удрать, — сказала Таня.

Я засмеялся, радуясь, что она живая. И ничего не успел ответить, потому что очень торопился на свое первое свидание, поспешно спускаясь с балаханы, нащупывая босой ногой железные скобки на столбе.

Когда, обжевав квартал, я завернул за угол на Танину улицу, она уже стояла у калитки. Вблизи оказалось, что на лице Тани много веснушек, рыжих и мелких. Мне веснушки нравились. Мы стояли, разглядывая друг друга, и молчали.

— Пойдем на Абрамовский бульвар, а то меня увидят из окна, — сказала Таня, и мы пошли по улице.

Я слышал от взрослых, что генерал Туманов находился под домашним арестом, и ему не разрешали появляться в городе. Его сын и отец Тани, белогвардейский офицер, удрал с ее мамой в Париж. До нашего знакомства эти обстоятельства не имели для меня никакого значения. И только рядом с Таней они приобретали не очень понятный и все равно зловещий смысл. Таня спросила, кто мои родители. Я сказал, что у меня есть мама и две сестры, Нета и Лана, обе старше меня. Нета всегда ходила в кино по билетам и при этом говорила:

— Да, смотреть картины с деревьев неприлично.

В этом «да» и «неприлично» была вся Нета — упрямая и принципиальная. Из-за худобы и высокого роста мы называли ее астраханской селедкой.

— Я знаю твою сестру. Она рвала в нашем саду черешню и обломала все ветки.

Рвать в чужом саду черешню могла только Лана.

— Это моя сестра Лана.

— Она воровка, — сказала Таня.

— Нет, — не согласился я. — Мама говорит, что она должна была родиться мальчишкой.

— Мальчишки тоже бывают воры. Все красивые — воры и убийцы, — подумав, возразила Таня.

— Я не убийца...

— А ты не красный...

— Красный.

— Нет. Ты бы не стал со мной разговаривать, потому что я бывшая и недорезанная.

— Твои папа и мама плохие. Они бросили тебя одну, — сказал я и тут же об этом пожалел.

Таня села на пыльный тротуар и подняла ко мне лицо. Слезы скрыли цвет ее глаз. Они набежали мгновенно и потекли крупными каплями. Она плотно сжимала губы и тут же их раскрывала, чтобы глотнуть воздух. Сначала я стоял и просто смотрел на нее, потому что никогда не видел, чтобы так плакали — без единого звука, только рот раскрывался и закрывался. Потом у меня самого зацепило в глазах от слез, и я, присев на корточки, гладил Танино плечо. На ее виске билась синяя жилка, и я притронулся к ней пальцем. Солнце светило прямо, уничтожив все тени. В это время во всем городе прекращали работу, и люди прятались от зноя в домах. В открытое окно высунулась голова в бумажных папиюточках. Женщина была пьяна.

— Зачем ее обижать? — сказала она.

— Я не обижаю...

Таня вскочила и побежала, и я побежал за ней, а женщины засмеялась. Я догнал Таню, и она остановилась.

— Мои папа и мама — страдальцы. Я их не помню. Не смеи говорить о них плохо. Обещаешь?

— А ты не называй мою сестру воровкой.

— Я согласна, — подумав, сказала Таня и громко вскрикнула.

Мне было интересно бродить с Таней по незнакомым улицам. Мы открывали собственный город, одинокие и свободные, как бывают свободны только дети. В самые жаркие часы, когда улицы бывали пустыни и от домов веяло сухим жаром, я ждал Таню возле ее калитки. Мы виделись редко. Встречаться часто нам не разрешали. Мне — моя мама. Тане — ее тетка. Узнав от сестер, что я познакомился с генеральской внучкой, мама спросила:

— Неужели у тебя нет чувства брезгливости?

Я помалкивал, чтобы не раздражать маму. Мы обедали. В комнате было прохладно, а в открытые окна с улицы задувало приятное тепло.

— Да, к сожалению, мой брат неразборчив, — сказала Нета.

Даже Лана меня предала.

— Что ты в ней нашел, в этой бледной немочи?

— Оставьте его, он больше не будет, — сказала мама.

— Буду. — Сам не знаю, как это у меня вырвалось. Я поднял глаза. Мама смотрела на меня, чуть прищурясь. Она не сомневалась в непоколебимости своей власти и как будто раздумывала, надо ли ее применять. Станным чело- веком была моя мама. Неукротимая, доходящая в гневе до жестокости, она могла быть удивительно нежной, когда, посадив на колени Нету, долговязую двенадцатилетнюю дылду, кормила ее с ложечки, потому что Нета никогда не хотела есть.

— Борька, ты дурак, — сказала Лана, а Нета добавила:

— Еще какой!

— Оставьте его, — повторила мама. — Он вырастет и сам все поймет.

— Да, вырастет! И все равно останется дураком, — сказала Нета.

Я понимал, что защищать Таню бесполезно. В семь лет я был умнее, чем сейчас, потому что теперь часто вступаю в изнурительные и бесплодные споры. Я один знал, какая Таня. Это было моей тайной, и я не хотел ею ни с кем делиться.

Однажды мы забрели с Таней на базар. Не на Ургутский, а на Большой базар в Старом городе. В тот день Таня удрала из дома через окно. Мы бежали до Абрамовского бульвара, ни разу не остановившись. А потом бродили по базару, крепко держа за руки, чтобы не потеряться в толпе. Продававший голубей узбек подозревал меня, и я выпустил Танину руку. Узбек гладил меня по спине и ниже, приговаривая:

— Хороший мальчик. Якиш мальчик. Колупь хочешь? —

Он показал на красно-бурого трубача, переступавшего в клетке мохнатыми лапками, а его пальцы неприятно щупали мои ягодицы. Я уже чувствовал себя обладателем голубя и, не веря своему счастью, молча кивнул головой. Таня подбежала к узбеку, отбросила его руку.

— Не трогай его, грязный сарт! — крикнула она.

— Уй, кизымка. — Узбек в притворном испуге загородил- ся от Тани руками, а глаза его зло сверкали.

Вокруг стоял прерывистый гул. Покупатели бродили меж- ду горами арбузов, дынь, высоких корзин с виноградом. Никто никого не замечал, и никому ни до кого не было дела. Проходивший мимо красноармеец с двумя арбузами остано- вился.

— Где ваши родители? Сыпьте сюда, — сказал он. Ему



мешали арбузы, и он, нагнувшись, сдвинул с потного лба фуражку, после чего выпрямился и посмотрел на узбека. — Азия, — сказал он. — Времени у меня нет, а то бы я тебе дал направление...

Подождал другой красноармеец, спросил:

— Кому, Пахомов, грозишься?

— Мальчик, видишь, ему понравился. А ну, сыпьте отсюда, кому говорю. — Он затопал на нас ногами в сапогах, чуть не вырвав арбуз.

Мы засмеялись и пошли вдоль арыка, взявшись за руки. На берегу, в тени карагачей варили плов, жарили шашлыки, продавали сладости, разложив на виноградных листьях. Мы совещались, что купить. У меня было три копейки, которые я носил за щекой, чтобы не потерять, а у Тани две — в маленьком вышитом бисером ридикюльчике, привязанном на запястье. Кончилось тем, что от запаха шашлыка нам захотелось есть. На сложенные деньги мы купили лепешку и большую, больше фунта, кисть винограда. От шашлыка Таня отказалась, увидя, как узбек насаживал на шампур мясо перепачканной кровью рукой. Мы разломали пополам лепешку, виноград Таня положила на колени, и, сидя на берегу арыка, ели. Моя половина лепешки исчезла быстрее, и винограда я тоже съел больше, болтая в воде босыми ногами. От частого болтания в воде у меня были цыпки. По вечерам Лана заставляла меня мыть ноги в тазу, после чего смазывала цыпки постным маслом.

— Сними туфли и попробуй, какая прохладная вода. Сразу не будет жарко. Попробуй, — предложил я.

Таня посмотрела на бегущую воду, сказала:

— Мне нельзя. У меня заболит горло.

Когда я ходил по белой от зноя улице к деду, я думал о Тане. Не то чтобы думал — думать все равно что вспоминать, а вспоминать можно только то, что было. А это неинтересно. Я придумывал то, чего не было, и совсем не замечал жары. Я придумывал, как вырою подземелье, такое, как у графа Монте-Кристо, рядом со скамейкой, на

которой Таня и ее тетка слушали по субботам музыку. По моим расчетам, Таня, подойдя к скамье, провалится в подземелье, наступив на замаскированный пол. Как при этом у нее останутся целыми ноги, я не думал. Вообще я пропускал многие подробности, которые мне мешали. Зато все, что должно было произойти потом, я представлял себе очень отчетливо. Я выходил из убранного коврами зала в бархатном костюмчике с белым кружевным воротником и лакированных туфлях, таких, какие носил маленький лорд Фуантелерой. Понимаю — это выглядит несколько слащаво. Но что делать? Я читал то, что давал мне адвокат. «Как закалялась сталь» еще не была написана. Хотя Павка Корчагин уже десять лет назад насыпал в тесто попу горсть махорки. А десятью годами позже я восхищался его подвигом. Но все это из другой моей жизни. А в той я подходил к Тане. Испуганная падением, она смотрела на меня и плакала. Я брал ее руку так же, как брал, когда мы бродили по городу. Держаться за руки было очень приятно, потому что Танины пальцы доверчиво сжимали мои.

— Таня, не надо плакать, — говорил я. — Нам не дают дружить на земле. Давай дружить здесь, в подземелье. — Я готов был заплакать, так трогательно выглядела наша встреча. Но дальше ничего придумать не мог, потому что вспоминал Танину тетку. Увидя, что племянница у нее на глазах проваливается куда-то под землю, она бы немедленно что-то предприняла. Или созвала «бывших», и они извлекли бы Таню, или сама прыгнула в подземелье. Мои оттопыренные уши, при одной мысли о такой возможности, начинали гореть... Я обливался потом и все равно не мог придумать, как избавиться от Таниной тетки. Не мог же я предложить ей жить в подземелье и готовить нам обед.

— Какой ты грязный. Не приходи больше к Тане. У тебя есть мама? Почему она не ответит тебя к парикмахеру? — Эти слова я слышал в тот день, когда Таня удрала через окно, а тетка, прогнав меня от калитки, заперла калитку на ключ.



Хорошо, что мама ее не слышала.

Дом деда был крайним. На нем кончалась улица. Дальше начинался овраг и за ним еврейское кладбище, выжженное солнцем. Так ничего не придумав, я входил в прохладную комнату, пахнувшую стариками, растерянный и подавленный.

Я долго не видел Таню, хотя каждый день приходил к ее дому, подстриженный и даже в сандалиях. Тетка бдительно караулила ее. И я напрасно жарился на солнце на другой стороне улицы, заглядывая в окна. В пятницу я решил вырыть подземелье, чтобы в субботу поймать в него Таню. В нашем дворе жил Венька Ачильдис. Он был старше меня и в ярости раннего полового созревания портил кур. Куры, побывавшие в Венькиных руках, переставали нестись. Завидя Веньку, они с кудахтаньем разлетались по двору. Я посвящал его в свой план. Венька стоял на голове, болтая в воздухе ногами, чтобы удержать равновесие. После третьей неудачной попытки устоять на голове Венька сел на землю.

— Когда пойдем? — спросил он.

Было раннее утро, и двор оставался пустынным.

— Сейчас пойдем. Прямо сейчас. — Я боялся, что вот-вот появятся мальчишки. В это время они выскакивали во двор и залезали на крышу балаханы погреться на солнце.

— Где лопаты?

— В коровнике. Дядя Гриша навоз ими убирает...

— Что будем есть?

Венькин вопрос застал меня врасплох, но понимая, что он согласился, я мгновенно находил выход, не задумываясь о последствиях:

— Соберем в курятниках...

— Меня куры боятся, — сказал Венька.

— Ты пойдешь за лопатами.

Мы сидели за дощатой стеной купальни. Прохладное солнце освещало половину стены, и я дрожал от утреннего озноба и возбуждения. Тетя Дарья разносила в этот час

молоко по соседним дворам, а ее муж, дворник дядя Гриша, досыпал, полив улицу и подметая тротуар...

— Хоп майли, — сказал Венька. — По-русски это значит: хорошо, согласен.

Мы обогнули купальню. Под балаханой — навесом над сараями с плоской глинобитной крышей, чернел вход в коровник. Венька вошел в него и исчез в темноте. Я потянул на себя дверь первого курятника, и она противно заскрипела. В душном тепле я думал только о том, чтобы побыстрее все кончить. Я обходил курятники, обшаривал гнезда, пряча за пазуху яйца, перепачканные засохшим куриным пометом. Я вышел из последнего курятника. Венька уже ждал меня у ворот. Бежать я не мог, чтобы не раздавить за пазухой яйца, и быстро семенил по двору, боясь столкнуться с тетей Дарьей.

Когда мы пришли в парк, трава была еще мокрой от росы. Скамья под тополем была тоже мокрой. Крутой травянистый склон спускался к раковине. Сразу обнаружилось, что рыть на дорожке нельзя — у любого прохожего это бы вызвало подозрение, а рыть за скамьей не имело смысла — зачем Тане обходить скамью?

— Будем рыть здесь, — сказал я и топнул ногой о траву. Потом выложил яйца в траву под тополем и взял лопату. Венька копнул, и его проржавленная, в дырках лопата согнулась, не оставив даже следа в траве.

— Ничего. Будем рыть одной, по очереди. А Таню я подману.

Я поднял и с силой опустил лопату. Дерн sprужинил и не поддался. Я навалился на рукоятку всей тяжестью, нажимал босой ногой на закраину. Снова поднимал лопату и снова опускал. Подошва ноги болела, и я пробовал нажимать пяткой. Когда поднялось и стало припекать солнце, моя затае развевалась в прах от беспощадного столкновения мечты и действительности.

Венька сидел под тополем. Он разбивал яйцо, нюхал и отбрасывал в сторону. К чистому и прохладному воздуху

примешивался запах сероводорода. Яйца оказались подкладными и потому тухлыми. Разбив последнее яйцо и отбросив его, Венька встал.

— Я пойду, — сказал он.

Я оглядел расковырянную землю и поплелся за ним.

— Все равно, — сказал Венька. — Где бы ты взял ковры?

Веньке было хорошо. У него не было мечты, с которой так тяжело расставаться.

Вокруг сараев бродили куры, влезали в прорезанные в дверях дырки и тут же вылезали с тоскливым кудахтаньем. Возле них сустились петухи, озабоченно вскрикивая и забывшая подражать. Женщины посредине двора замолчали при нашем появлении. Венька тут же удрал домой. А мне было все равно, и я остался.

— Вон он, паразит. Куриный любовник! — закричала тетя Дарья вслед Веньке. Она была оренбургской казачкой с серебряными серьгами в ушах, голосистой и красивой. Но мама почему-то говорила, что у нее звериная красота.

— Тетя Дарья, яйца взял я. И лопаты...

Маленькая тетя Хана, Венькина мама, закричала:

— Что ты теперь скажешь? Кто взял яйца?

Тетя Дарья даже не оглянулась на нее.

— Какие еще лопаты?

— Две ваших лопаты из коровника...

— Григорий, а ну, поглядь лопаты.

Дядя Гриша, черноволосый, с густой проседью, с бельмом на левом глазу и оловянной серьгой в правом ухе, пошел от порога своей мазанки в коровник. Маленькая тетя Хана, Венька был выше ее, приставала к Дарье:

— Молчишь? Язык проглотила?

Из коровника вышел дядя Гриша, недоуменно развел руками.

— Так вы видите? Нет, вы видите? — Тетя Хана ликовала и искала у женщин сочувствия.

Дарья отмахнулась от нее рукой, как от назойливой мухи.

— И зачем тебе это надо? Первый раз вижу, как дите само на себя брешет. — Она пошла домой не оглядываясь.

Тетя Хана кричала:

— Чтоб у тебя язык отсох! Как вам это нравится! — Тетя Хана ждала от соседок поддержки, но женщины молча расходились.

Почему ни они, ни тетя Дарья мне не поверили? А может быть, поверили, но просто не хотели связываться с моей мамой? Вряд ли. Они бы не упустили такого удобного предлога. Как мне теперь кажется, их просто останавливала моя бесхитростность и незащищенность.

Я пошел к сараям. Дядя Гриша остановил меня, прихватив мою шею возле затылка. Пальцы у него были жесткие и шершавые, и пахло от него кислым запахом пота.

— Где лопаты? — шепотом спросил он.

— В парке... Одна ржавая поломалась.

— Правильно. Никудышная лопата была. А другую принеси.

— Сейчас?

— Когда захочешь, а только принеси. — Он отпустил меня, чуть надавив на затылок.

Я полез по лестнице на балахану. Под навесом пахло клевером, уложенным снопами. По скобкам, вбитым в столб, я взобрался на крышу. Листья на кустах и деревьях в Танином саду посветлели от солнца. На дорожке к дому никого не было. Я нарочно долго не смотрел в кусты малины, а потом быстро посмотрел, но Тани там все равно не было. Тогда я лег на траву и заплакал. Мне было очень плохо. Потом я вспомнил, что надо идти к деду, и заплакал сильнее. Мне было жалко и себя, и Таню. В Танином саду тосковала горlinka, и, не помня как, я заснул.

Хорошим я был или плохим — не знаю. Мальчик, уснувший на балахане, был естественным. Он пугался, когда испытывал страх. Радовался, когда бывало радостно. Плакал, когда случалось горе. Он не спрашивал, что хорошо и что плохо. И оставался таким, каким его задумала природа.

II

Я проходил бульвары, не вспоминая о мальчике. В восемнадцатилетнем мне стало недоступно его горе. Впрочем, и он, семилетний, не смог бы понять мое. И, хотя заснувший на балахане мальчик продолжал во мне жить, я не подозревал о его существовании.

От Камерного театра сплошной ряд домов прерывался. За чугунной решеткой ограды, между деревьями, проглядывали

вали желтые стены с окнами, низкая входная дверь под козырьком. Крыша двухэтажного дома была зеленой, и козырек над дверью тоже зеленый. Весь дом прятался в зелени деревьев. А по дорожкам прогуливались или сидели на скамейках с открытыми книгами и тетрадками юноши и девушки моего возраста. На кирпичном столбе, к которому крепились ограда и створка решетчатых ворот, доска из черного мрамора сообщала:

**Наркомат просвещения СССР
Союз писателей СССР
Литературный институт
им. А. М. Горького**

От ворот к дому вела хорошо утрюбованная дорога, и справа от низкой двери под зеленым козырьком была такая же доска. Меня привлекали обитатели института, о существовании которого я никогда раньше не слышал. Мы были одной породы, так мне по крайней мере казалось. Поравнявшись с Камерным театром, я стал переходить с бульвара на тротуар, направляясь в шашлычную. Возвращение совершалось в обратном порядке: до Камерного театра, а потом на бульвар. Изменить маршрут меня побудил инстинкт щенка, увидевшего себе подобных. Чувствовал я примерно то же, что и бездомный щенок, виляющий хвостом, боясь приблизиться к компании ухоженных молодых собак, нахальных и беззаботных. У меня забот хватало: я был отчислен из военного училища как не внушающий политического доверия, а моя мама скрывалась, и я даже не знал, где она. Я привык, что мама всегда была уважаемым человеком, три раза подряд ее избирали депутатом городского Совета. А меня называли в школе лучшим из лучших. Как лучшему из лучших выпускников средней школы горком комсомола предложил мне избрать военную профессию пожизненно. Две недели назад я запросто бы вошел на территорию института и расспросил студентов, что они здесь делают. Перемена в моей судьбе произошла неожиданно. В одно мгновение было зачеркнуто прошлое и вместе с ним будущее, а неопределенность настоящего приводила в отчаяние.

III

Вечером я получил от мамы письмо, а утром вошел в кабинет полкового комиссара Шустина.

Я был в этом кабинете больше года назад, когда проходил мандатную комиссию, поступая в училище. Полковой комиссар был похож на актера, загримированного в сегодняшнем театре под военного тех лет. Усики щеточкой на крупном лице с пористой кожей. Расширенные книзу рукава габардиновой гимнастерки, фонариками напущенные на манжеты. Все у него было крупное: голова, прямые плечи, даже шпалы на петлицах и позолоченные звезды на рукавах. Я видел его по грудь за широким и просторным столом. За другим столом, узким и длинным, сидели члены мандатной комиссии. Внешность комиссара училища осталась в памяти с тех далеких лет; только то, что он был похож на актера, я понял теперь. А тогда, стоя в конце длинного стола, рассказывая, как жил, и отвечая на вопросы, я со снисходительной жалостью рассматривал его и членов мандатной комиссии, зная, что их песенка спета, что я нахожусь здесь, потому что пришло время заменить этих устаревших, неспособных обеспечить возросшие потребности армии людей. Сознание превосходства мне внушили, а как — написано в «Мальчиках».

Начальник учебной части зачитал мои оценки, полученные на вступительных экзаменах, начальник строевого отдела доложил, что характеристика Евпаторийского горкома комсомола положительная, как будто я мог бы находиться перед ними, если бы она была отрицательной.

— Дайте характеристику, — глуховатым, хорошо поставленным баритоном приказал комиссар. Как все дальнорукые люди, он читал ее, держа перед собой в вытянутой руке.

— То, что надо. Другие мнения есть? — спросил комиссар.

Какие могли быть мнения? Мне показалось просто странным, что он об этом спрашивает, и я следил глазами, как мой оценочный лист и характеристика вернулись в синюю папку. Высокая стопка таких папок возвышалась перед начальниками строевого и учебного отделов. Несожданно оказалось, что другие мнения были. Мой будущий командир роты капитан Люкшин, маленького роста и по-юношески

стройный — мне особенно памятен его большие и светлые, всегда чем-то встревоженные глаза, — сказал:

— Слабенький он. Шея, как у цыпленка...

— А ты у нас борец тяжелого веса, — грубо пошутил комиссар.

Члены комиссии засмеялись. Я не успел еще прийти в себя от оскорбительного замечания капитана, а комиссар уже задал вопрос непосредственно мне:

— На скрипке играешь?

— Кто, я?

— А кто же еще?

Я действительно в детстве учился играть на скрипке. И даже выучил за год мелодию песни «Реве та стогне Дніпр широкий». Дальнейшие занятия были прекращены из-за отсутствия у меня музыкального слуха.

— Немного, — с уклончивой скромностью ответил я, пытаюсь угадать, какой ответ хотелось бы услышать комиссару, готовый даже соврать, лишь бы ему угодить. Понимаю, что такое малодушие меня не украшало. Но не надо забывать, что, кроме первозданного начала, во мне присутствовало и одерживало верх мое второе Я, склонное к компромиссам и приспособленчеству.

— Вот видишь, музыкант, артист, а тебе шея его не понравилась, — сказал комиссар и сам же рассмеялся и, продолжая смеяться, стал рассказывать, что в Одессе в еврейских семьях из каждого мальчика пытались сделать великого музыканта. Говорили и смеялись довольно дружелюбно, но так, словно меня не было в комнате. А я хотел и не решился сказать, что в жизни не видал Одессы и что комиссар просто пересказал один из рассказов Бабеля.

— Можешь идти, — вспомнив обо мне, сказал комиссар.

Я повернулся на резиновых каблуках парусиновых туфель. Этому я успел научиться еще в школе, на занятиях по военному делу, и, обеспокоенный, вышел в приемную. Причины для беспокойства были, в приемной ожидали своей очереди кандидаты, так же успешно сдавшие экзамены, и я с тревогой обнаружил, что многие из них крупнее и сильнее меня. Это было грустное открытие.

Кончилось все благополучней, чем можно было ожидать. В приказе о зачислении в училище моя фамилия значилась среди тех, на кого командование возлагало особые надежды.

Прошло больше года. И вот теперь, войдя утром в кабинет комиссара училища, я остановился, как положено, в трех метрах от стола и доложил, что курсант Балтер прибыл по его приказанию. На столе перед комиссаром лежала уже знакомая мне синяя папка с моим «личным делом». Так называются документы — анкета, биография, характеристики, послужной список, — собранные на какое-то лицо, в данном случае на меня. «Личное дело» сопровождает человека всю жизнь. А вот почему оно называется личным — мне непонятно. Никакой личной заинтересованности в таком «деле» у человека нет. «Дела» заведены, чтобы следить за «чистотой рядов» во всех учреждениях, органах и партийных аппаратах на территории всего государства.

Шустин смотрел на меня, чуть откинув назад крупную голову.

— Рассказывай, что натворила твоя родительница, — потребовал он.

Я не знал, что надо рассказывать, и подал комиссару мамино письмо...

— Беллетристика, — сказал комиссар, прочитав и брезгливо отбросив письмо. — Напряги память и расскажи, чем занималась твоя мамаша в городе.

Комиссар пристально смотрел на меня. Мои губы задрожали от обиды. Разве готовность, с которой я показал ему письмо, не подтверждала моей искренности? Одна из догм, внушаемых нам, запрещала ложь, советский гражданин обязан был всегда говорить правду, какой бы горькой она ни была. Если он скрывал, что имеет родственников за границей, или свое социальное происхождение, или не сообщал об аресте и осуждении кого-то из родственников по политическим статьям, — это тоже считалось ложью. И если его разоблачали, то он подвергался публичной проработке за сокрытие правды, а потом следовало административное наказание — изгнание с работы, из учебного заведения, исключение из партии и комсомола. А если он ничего не скрывал, то становился гражданином второго сорта без права занимать в обществе положение, соответствующее его способностям и желаниям. Именем общественной морали требовали честности не ради самой честности, а чтобы легче было блюсти «чистоту рядов».

Я по своей природе не был способен лгать. Поэтому

добросовестно напрягал память и рассказывал комиссару, что моя мама была председателем евпаторийского отделения союза «Медсантруд». Последние два года она добивалась повышения зарплаты санитаркам, рассылая письма по всем инстанциям. Перед моим отъездом в училище она получила ответ из ЦК союза. Первые дни она расценивала его как положительный. В нем предлагалось Крымскому обкому союза разобраться на месте и принять нужные меры. Но потом мама встревожилась и даже хотела написать письмо Сталину.

— Смотри, какая благодетельница. О санитарках заботилась. За счет государства решила приобрести политический капитал. Знаешь, как это называется? — спросил комиссар.

Как это называется, я не знал, но понял, что мое дело плохо.

— Экономическая контрреволюция... Советую на комсомольском собрании не зажиматься и дать политическую оценку своей матери.

Не помню, как покинул я кабинет комиссара. В коридоре меня ждал Шурка Гердель. Мы познакомились и подружились в училище, приехав из Крыма. Только Шурка жил в Симферополе. Его выпуклые глаза, чуть прикрытые веками, и горбатый нос придавали лицу глуповато-удивленное выражение. Это пока Шурка молчал. Стоило ему заговорить, и сразу становилось ясно, что он совсем не дурак, а, наоборот, очень умный. Шурка, чтобы дожидаться меня, удрал с занятий, а чтобы не попасться кому-нибудь на глаза, он втащил меня в «голубой зал». Тут были голубые стены и белые колонны. В давние времена в этом зале пажы устраивали балы, на которых бывали великие князья и сам император. А в то время его превратили в обычный клубный зал со сценой и рядами откидных стульев. Обычно здесь проводились митинги и собрания, а в торжественные дни выпускных стулья убирались, выпускники выстраивались в две шеренги, зачитывался приказ о присвоении им званий с указанием должности и места службы, после чего первая шеренга по команде поворачивалась лицом ко второй, и бывшие курсанты, уже одетые в новенькую командирскую форму, прикрепляли друг другу на петлицы знаки различия.

В зале было темно от задернутых на больших окнах штор. Мы присели в дальнем углу.

— Экономическая контрреволюция... Это плохо, — задумчиво сказал Шурка.

— Не повторяй эту клевету!

— Хорошо, не буду. Лучше тебе от этого не станет. Это статья!

— Какая статья?

— Уголовного кодекса.

— Но ведь мама никакой контрреволюции не совершала.

— Это другой вопрос. Санитарки знали, что Софья Соломоновна хлопочет о прибавке им зарплаты?

— Знали...

— А кто должен был прибавить зарплату? Государство?

— Шурка, хватит... Не задавай глупых вопросов. Конечно, государство!

— Боря, к сожалению, вопросы, которые я задаю, не глупые... Твоя мама хотела прибавить зарплату санитаркам, а государство сделать этого не может. Государству нужны деньги, чтобы строить пятилетку и готовить страну к обороне... Выходит, Софья Соломоновна хорошая, а государство плохое... Ты же сам понимаешь, что этого не может быть. Шуркина логика меня добила. В горле возник какой-то судорожный звук. Я сам его испугался и крепко стиснул челюсти.

— Только не раскисать! — прикрикнул Шурка.

Я старался и еще сильнее сжимал челюсти. Шурка меня не торопил.

Полтора года меня учили сохранять самообладание и при любых обстоятельствах оставаться невозмутимо спокойным. На занятиях кто-нибудь сзади подбрасывал под ноги взрыв-пакет. Блеск огня, взметнувшийся под ногами пыль или снег не должны были ни на мгновение вывести курсанта из равновесия. А если не выдерживали нервы и он, подпрыгнув, отскакивал в сторону, — весь взвод хохотал. Допущенная слабость запоминалась надолго. Чтобы к таким «сюрпризам» не привыкали, — их часто разнообразили. Переползающий по-пластунски неожиданно взрывался на холостой мине, а бегущий вдруг обнаруживал под ногами трехметровый обрыв, замаскированный кустами. В нас вырабатывали настороженную внимательность, которая становилась постепенно привычкой. Но это не угнетало, поскольку мы знали конечную цель. Были, конечно, и такие, кто не выдержал

напряжения. Двое ушли из училища по собственному желанию после посещения ленинградского морга — еще до того, как был подписан приказ о зачислении кандидатов. А одного отчислили с первого курса из-за того, что он кричал по ночам во сне. Дело в том, что в нас с такой же настойчивостью воспитывали презрение к смерти, приучая к мысли, что на войне убивают. При этом не полагались только на словесное внушение. Последним вступительным экзаменом на мужество была экскурсия в городской морг. Я не без робости готовился к ней. Было чего бояться. В морг обычно привозили трупы после катастроф, аварий, убийств. Я никогда не видел столько искалеченных тел. После посещения морга когда мы слышали на занятиях слово «смерть», — мы не воспринимали его как отвлеченное понятие.

Чтобы уравновесить в нашем сознании достигнутое впечатление, нас знакомили с другой, торжественной стороной смерти. Из состава нашего училища снаряжался почетный эскорт для похорон командного состава штаба округа. Мы видели смерть, окрашенную особым ритуалом. Чем выше было воинское звание умершего, тем торжественнее обставлялась церемония захоронения. В уставе внутренней службы был специальный раздел, в котором предусматривался весь распорядок похорон, вплоть до того, на чем везти покойника, количество залпов и вид оружия, состав подразделения для почетного эскорта. Я дважды побывал на похоронах. Один раз хоронили лейтенанта нашего училища, другой — полковника из штаба округа. Лейтенанта сопровождал взвод, полковника — сводная рота. Оба раза, вскидывая по команде винтовку и нажимая курок, чувствовал на глазах слезы. В чистые и торжественно-печальные звуки духового оркестра по команде «Пли!» ритмично вплетались звуки залпов и заглушали стук земли, падающей на опущенный в землю гроб.

Состоянию смерти противопоставлялось живое чувство честолюбия. На вечерних поверках после переклички, когда названный по фамилии курсант должен отчетливо и громко ответить: «Я», — подавалась команда «Смирно!». Позади строя тускло поблескивали в пирамидах винтовки, а впереди, в ярко освещенном проходе, дежурный лейтенант зачитывал приказы наркома обороны о награждении орденами за выполнение боевых заданий и проявленную при этом доблесть. Где шли бои и где проявлялась доблесть, в приказе не сообщалось. Но мы и без того знали где — в Испании.

А тогда в гулкой тишине пустого зала слышно было дыхание мое и Шуркина, и думал я о том, что никогда не услышу приказа наркома обороны, мгновенно превращавшего меня в лейтенанта. Меня лишили будущего, и от этого оно представлялось мне еще прекрасней. Человеку особенно дорогим кажется то, что у него отнимают...

Вечером на собрании Шурка Гердель бесстрашно кричал на секретаря комитета комсомола:

— Только при социализме человек получает возможность полностью проявить свои способности, свои склонности. Кто тебе разрешает лишать этого права Балтера? Допускаю, что его мама — враг народа. Но при чем тут он? Ты еще не успел снять его фотографии с доски «Отличника боевой и политической подготовки», а уже гонишь из комсомола...

Секретарь комитета устало бросил реплику:

— Демагогия. Тоже мне адвокат. Пусть сам Балтер даст правильную оценку политической ситуации.

Я вставал и повторял одну и ту же мысль:

— Не могу поверить, что мама — враг. Исключив меня из комсомола, вы обречете меня на политическую смерть. — Голос у меня дрожал, и я был жалок.

— Хватит болтовни, — говорил секретарь комитета. — Пока есть одно предложение — исключить... Другие есть? Молчание.

— Тогда еще раз ставлю на голосование предложение комитета: «Исключить!» Кто «за»?

За столом президиума быстро поднялось несколько рук. Рота молчала. Опущенные головы... Руки не поднимались...

А после собрания Шурка говорил мне в курилке:

— Что ты раскис? На тебя противно было смотреть.

IV

Мое письмо в Политическое управление начиналось фразой: «В самом справедливом человеческом обществе совершена несправедливость». Сочиняя эту фразу, я был убежден: тот, кто ее прочтет, всполошится, как от сигнала «Тревога!». Никто не исполнился. Я продолжал носить курсантскую форму и выглядел внешне вполне благополуч-

но. Курсантская форма отличалась от красноармейской тем, что на петлицах были прикреплены витые буквы. На моих — ЛКПУ, сокращенное обозначение Ленинградского Краснознаменного пехотного училища. Я не имел права носить военную форму, а снять ее не мог: это означало бы признать так вынесенный мне общественный приговор.

Я проходил по тротуару, подтягивая живот и выпячивая грудь. Иногда ловил чей-нибудь равнодушный взгляд, но и этого бывало достаточно. Еще больше подтягивая живот, так что становилось трудно дышать, я твердо попирал асфальт подошвами сапог, шествуя вдоль ограды, неестественно вытянутый и неприступный. А между тем деньги, присланные Ланой, исчезали с невероятной быстротой. Наступил день, когда я и позавтракал, и пообедал в молочной. Это был печальный день. В Политическом управлении не стали разбирать мою жалобу, и мне незачем было возвращаться в приемную ни сегодня, ни завтра.

Было начало июня — необыкновенного московского лета. Оттого, что солнце не могло пробить густую листву деревьев, бульвар покрывала теплая, светло-зеленая тень. На желтом песке шевелились зайчики, и от них поднимались вверх, теряясь в листве, рассеянные столбики света. Песок скрипел под колесиками детских колясок. Чужая налаженная жизнь текла вокруг меня. А я стоял посреди бульвара, не зная, куда идти и что делать. Хуже, чем мне, никому не было и не могло быть. Так мне казалось.

А между тем сотни тысяч людей уже сидели в тюрьмах и лагерях. Я об арестах знал. Аресты проводились и среди командного состава училища. Во время моего дежурства у наружного входа из подъезда вывели майора Берга. Впереди по дорожке, выложенной плитками, шел дежурный по училищу, за ним майор и двое неизвестных мне командиров в форме НКВД. Майор шел без ремня, знаки различия были сняты, и на петлицах остались их отпечатки. А вот шевроны на рукавах забыли спороть. Я запомнил эти подробности, потому что все мы подражали майору в его умении носить форму. Всегда чисто выбритый, элегантно (другого слова не подберешь) подтянутый, в свои пятьдесят лет он сохранил безупречную выправку бывшего пажа, а потому офицера генерального штаба. На полевых занятиях — майор преподавал тактику — в тридцатиградусный мороз он стоял перед строем в хромовых сапогах, никогда не опуская наушники шлема. Только лицо его в резких морщинах принимало на ветру бурый оттенок. Мы подпрыгивали на месте, чтоб согреться, завидуя и удивляясь его выносливости и закалке. Дежурный по училищу, отодвинув меня плечом, молча распахнул калитку, первым выйдя на улицу. Майор посмотрел на меня, потом на улицу. У него был затравленный взгляд побитой собаки. Из-за угла выехал и резко затормозил перед воротами «черный ворон». На него и смотрел майор, невольно остановившись, и, тут же получив толчок в спину, вылетел на тротуар. Задняя дверь «ворона» с зарешеченным окошком распахнулась, я увидел только руки, подхватившие обмякшее и сразу постаревшее тело майора. Один из сопровождавших влез вслед за ним, а второй сел в кабину рядом с шофером. Все произошло очень быстро, но на тротуаре и под навесом Гостиного двора, по ту сторону мостовой, мгновенно образовалась небольшая толпа любопытных. Дежурный по училищу, войдя, прикрыл за собой калитку.

— Доигралась белогвардейская гадина, — сказал он.

А что думал по этому поводу я? Мыслей и ощущений было так много, что сейчас мне трудно в них разобраться. Но среди прочих было и сочувствие. Правда, продержалось оно недолго, а возникло от впечатления растерзанного и поруганного у меня на глазах человека. Наверное, учитывая все это, аресты, как правило, производились ночью.

Вечером состоялся митинг. Я на нем не был, так как еще не сменился с наряда. Запомнилась мне одна пересказанная подробность. Ее долго мусолили в ротных курилках. Оказывается, во время морозов майор надевал в хромовые сапоги чулки из шкурки нерпы, тогда как мои ноги, обернутые шерстяными портянками, коченели от холода. После этого у меня не осталось сомнения в том, что майор Берг — враг. Собственная боль, какой бы незначительной она ни была, болит сильнее чужой. Мне стыдно в этом признаваться, но это было так...

Утром, когда в приемной открылось окошечко, дежурный выкрикнул:

— Балтёр!

Я поискал глазами, кого вызывают, так неожиданно и отчужденно прозвучала моя искаженная фамилия. А через

мгновение я уже стоял у окошка, и гулкие удары сердца мешали слышать, что мне говорят. Мне выдали пропуск и объяснили, куда идти.

Я шел по коридору, панически пытаясь привести в стройный порядок все, что хотел и должен был сказать. При этом я смотрел на номера комнат, и это мешало. Перед нужной дверью все собранное и продуманное окончательно разлетелось. Я открыл дверь с решительностью, с которой плохой пловец бросается головой в омут.

В комнате было несколько столов, но занято было только два. За одним, ближе к двери, сидел старший политрук, за вторым, в глубине комнаты, — политрук.

Я вытянулся в струнку, с особым шиком, снизу поднося руку к козырьку, лишь в последний момент выпрямляя пальцы.

— Товарищ старший политрук, разрешите обратиться!

Едва я открыл рот, как старший политрук, не поднимая головы от бумаг, показал пальцем через плечо в сторону своего коллеги. Несмотря на этот откровенный жест, я мужественно закончил ритуальную фразу. К сожалению, заставленное пространство комнаты не позволило мне продемонстрировать безукоризненный стрессовый шаг. Как я очутился перед столом политрука, лавируя между столами и стульями, не помню. Спросив разрешения обратиться, я начал говорить о гражданском и общественном лице моей мамы, одновременно не спуская глаз с моей докладной, которая лежала на столе, с подчеркнутой красным карандашом первой фразой.

— А где сейчас ваша мама? — неожиданно у меня за спиной спросил старший политрук.

Вопрос был настолько неожиданным, что я даже не успел уловить его зловеющий смысл.

— Не знаю, — ответил я и только тогда вспомнил, что должен был начать не с мамы, а с комсомольского билета. Чуть не оборвав пуговицу, я извлек его из кармана гимнастерки и протянул политруку. И пока он рассматривал билет, я говорил о том, что меня не исключили из комсомола, что товарищи мне верят. Я напирал на доверие комсомольцев роты как на высшее признание моей верности делу партии Ленина-Сталина. Я ссылался на слова Сталина о том, что если человек не пользуется доверием, то, стало быть, он не наш человек, и наоборот. При этом я все старался взглянуть в глаза политрука, но он этого избегал. Вернув мне билет, он подвинул на край стола какую-то бумагу с отпечатанным на бланке текстом. Наконец, воспользовавшись мгновенной паузой, он посмотрел на меня. У него оказались ничем не примечательные, неопределенного цвета человеческие глаза.

— Поезжайте в Ленинград и обращайтесь в корпус ВУЗ, — устало сказал он.

Я принял от него бланк с отпечатанным на машинке текстом и, пятясь спиной, опрокинул стул, неловко поднял его и козырнул старшему политруку уже без всякой лихости.

Я был возле двери, когда старший политрук сказал:

— Форму пора снять. Носить форму вам не положено. — Он недобро улыбался. Очень пронизательным человеком был старший политрук и гуманным, он решил не оставлять меня в приятном заблуждении, со всей решительностью указав на несостоятельность моих надежд.

Когда я закрыл за собой дверь, ноги мои дрожали, как после двадцатипятикилометрового марш-броска. Коридор показался темнее и по крайней мере в два раза длиннее. В обоих концах было по одному окну и одинаковые торцевые двери...

Я присел на подоконник и тут же обнаружил, что держу за уголок бланк с машинописным текстом. О том, что мне следует обратиться в корпус ВУЗ Ленинградского военного округа, я уже знал со слов политрука. Это была, конечно, отписка, но она давала возможность начать все сначала...

Мое представление о жизни основывалось на возвышенных догмах, воспринятых с детства: если видишь несправедливость — устрани ее, если уверен в своей правоте — отстаивай свое убеждение, невзирая на лица. Я мог бы привести тогда еще десятки подобных догм, но остановился на этих. Других не требовалось. Выражаясь военным языком, я уже привел себя в боевую готовность, чтобы продолжать борьбу. И вот тут, и совсем некстати, вспомнил вопрос старшего политрука: «А где сейчас ваша мама?» Почему вспомнил? Наверное, потому, что думал о старшем политруке, угадывая в нем своего врага. Я понял его вопрос так: маму разыскивают, чтобы посадить. Эта мысль подсказала мне мою тревогу за маму. О том, что старший политрук мог

только подозревать (просто заподозрить), что мама уже посажена, и хотел проверить свою догадку, мне не пришлось в голову. А насколько мне было бы покойней и проще, если бы я подумал о такой возможности! Надеюсь, что тогда я без особого труда догадался, почему вместо прямого отказа восстановить меня в училище мне предлагали снова обратиться в корпус ВУЗ. От решительного отказа старшего политрука удерживало сомнение: а вдруг окажется правдой все, что я писал в докладной? Повторяю, что второе толкование вопроса мне не пришлось в голову. Мне уже мнилось, что мама в тюрьме и что приговор суда подтвердил: она враг народа. Вмиг разлетелась обретенная ясность. Пока я мог предполагать, что все происшедшее — клевета, у меня были развязаны руки. Но как только клевета подтверждалась приговором, она переставала быть клеветой. Советский суд, свободный и независимый, подчиненный только закону, не мог ошибаться. Это тоже была одна из догм. Усомниться в ней было равносильно клевете на общественный строй... Первым моим побуждением было вернуться к политруку и умолить его сказать, что с моей мамой...

Из кабинета вышел старший политрук, посмотрел в мою сторону и пошел в противоположную, скрывшись за дверью, из которой до этого вышел разжалованный военный. И хорошо, что я уже отвернулся к окну, рассматривая залитый асфальтом двор: не бежать же от него к выходу...

В последнем письме, которое я получил в училище, мама уверяла, что у меня нет и никогда не будет оснований ее стыдиться, что ее злостно оклеветали и что она намерена поехать по всем городам, в которых раньше работала и где ее знают. «Если с тобой что-нибудь случится и ты еще ничего не будешь знать обо мне, — держись. Ты мужчина, и профессия, которую тебе доверил комсомол, требует мужества. Я верю: ты выдержишь испытание, ведь ты мой сын!» Я только начинал постигать то, что мама хорошо знала. Она предвидела мои душевные сомнения и силой своей любви пыталась издалека укрепить мое мужество, понуждая к борьбе. Сама она, где бы ни была и что бы ни делала, думала обо мне. Я был уверен, что она думала обо мне и сейчас, пока я смотрел во двор. По асфальту стрессовым шагом прошла смена караула: четверо караульных с винтовками на плече и разводящий. Надо было что-то придумать, что-то решить. Но что? Одно было совершенно ясно: с минуты на минуту в коридор выйдет старший политрук, а я не хотел, чтобы он увидел меня все еще стоящим у окна...

V

На улице было светло, и прозрачно, и приятно тепло. Удивительно, что в тот сияющий полдень совсем не чувствовалось зноя. На улицах, прилегающих к наркомату обороны, встречалось много военных. Помня, что носить форму мне больше не положено, я то и дело переходил на строевой шаг, подносил руку к козырьку и заискивающе косил глаза. Думаю, что выглядел я довольно смешно, огибая площадь строевым шагом с ладонью у козырька. Мне смешно не было.

Арбатская площадь была там, где сейчас проложены тоннели. Из старых зданий остались маленькая станция метро, кинотеатр «Художественный» и вновь открытый ресторан «Прага». Все остальное снесено, но мне не кажется, что от этого стало просторнее. Даже трамвай, проходившие по площади, по-моему, не мешали. Особенно знаменитая «Аннушка» — трамвай «А» с маршрутом по бульварному кольцу... В него входила и вся Садовая со своей неперывной цепью бульваров. Я промаршировал мимо станции метро, кинотеатра, перешел улицу, которая теперь называется Калининским проспектом, и, обогнув двухэтажный дом, в котором на первом этаже размещались булочная и почта, вошел в светло-зеленую тень бульвара. Я сел в самом начале на скамью в боковой аллее и сразу почувствовал себя в относительно безопасности. Я сидел и разглядывал прохожих и по закону контрастов обращал внимание на тех, кто чему-то радовался и смеялся. По моим житейским наблюдениям, человек, которому плохо, чужую радость воспринимает как личное оскорбление. Эту естественную человеческую реакцию почему-то принято называть эгоизмом. Люди двадцатого века перестали понимать то, что английский поэт Джон Донн понял в семнадцатом, когда говорил: «Если ты услышишь, что звонит колокол, — помни, что он звонит и по тебе». Жить после трех пятилеток стало лучше и веселее. Пока одних объявляли врагами народа и заполняли ими тюрьмы и лагеря, другие получали освобожденные кварти-

ры, повышение по службе, приобретали «по случаю» мебель, ковры, картины, третьи просто радовались неспеходящим радостям жизни, не имеющим отношения ни к пятилеткам, ни к классовой борьбе, почему-то особенно обострявшейся при достижении величайших побед. В то время, как известно, была одержана историческая победа: построен социализм. Я не умел мыслить отвлеченно и потому, сосредоточенный в самом себе, смотрел на веселые лица с мрачной завистью...

Не зная, куда себя деть, я прошел к площади Пушкина и, повернув обратно, направился к Литинституту.

— Курсант! Есть спички? — К ограде подходил невысокого роста паренек. Странное у него было лицо. Взглянув на него, хотелось смотреть еще и еще. Я понял: странными были его глаза, удивительно синие, окруженные темными ресницами. Он был примерно одних со мной лет. Расстегнутый воротник белой рубашки открывал по-мальчишески тонкую и загорелую шею.

С готовностью, от которой самому стало противно, я протянул пареньку спички.

— Положим, у меня есть свои... Мы поспорили... — Он взял у меня спички, блеснув синевой глаз. У него была манера, взглянув, тут же отворачиваться, как будто он знал несобыкновенную силу своих глаз и не хотел ею пользоваться. — Из двух спорящих один — жулик, другой — дурак. Одного ты видишь, а дурак сейчас подойдет...

Со скамьи поднялись двое и подошли к ограде. Один с прямыми костлявыми плечами, кости проступали сквозь клетчатую ковбойку, второй с круглым лицом и глуповато-печальными глазами, черными и добрыми...

Худой спросил:

— Ты в самом деле курсант? — У него был тонкий, подвижный нос. Закончив фразу, он втягивал воздух, словно страдал хроническим насморком. — Чем докажешь?

— А это обязательно? — Худой сразу мне не понравился. Ясно, что дурак был он. Если человек никогда не видел курсанта, то зачем спорить?

— Ваня! Кончай! С тебя шесть кружек пива. Пошли в бар и курсанта возьмем, — сказал круглолицый с печальными глазами. Такие добрые и печальные глаза, вобравшие в себя всю мировую скорбь, бывают только у евреев.

Ближайший бар был за углом, на площади Пушкина, рядом с аптекой, которой уже нет, а в помещении бывшего бара сейчас кафе. Я понял, что не должен в моем положении идти в бар, хотя мне очень хотелось. К счастью, Иван не спешил выставить проигранное пари.

— С пивом подождем, — сказал он, шмыгнув носом. — Что значат буквы?

— Ленинградское Краснознаменное пехотное училище... Пехотное — это так, по старинке. Училище готовит общевойсковых командиров. — Я старался сохранять дружелюбный тон, хотя необходимость произнести слово «пехотное» была мне непонятна. Я жил в приморском городке и мечтал быть моряком, но не попал в военно-морское училище по состоянию здоровья.

— А в Москве что делаешь? Каждый день мимо ходишь...

Вопросы худого становились опасными. Я и без них хорошо помнил о своем невеселом положении. И о том, что буквы на петлицах да и форму ношу незаконно и что продолжаю называть себя курсантом, не имея на это права. Его бесцеремонная дотошность начинала меня злить. Спасительная реакция, не раз выручавшая меня в затруднительных обстоятельствах. Так бывает, встречаешь человека и с первого взгляда испытываешь к нему антипатию. Это непонятно, как появившееся чувство определяет дальнейшее отношение. Худой был мне неприятен.

— Похоже, что зажмет пиво, — сказал тот, кто брал у меня спички.

— Крестьянская психология, Сережа. Куда от нее денешься? — ответил круглолицый.

Мне было интересно слушать их перепалку. Но я сообразил, что, как только наступит пауза, худой доконает меня вопросами. И, чтобы упредить события, спросил Сергея:

— Кого готовит институт?

— В нашем институте никого не готовят. В нашем институте учатся. — Сергей даже не посмотрел на меня, лишь чуть повернулся в мою сторону. Все-таки глаза у него были удивительные — цвета моря в ясный и прохладный день. Море бывает синим и в зной, но тогда это нежная и теплая синева. А глаза у Сергея были яркие и холодные.

Не случайно институт с самого начала показался мне странным. Что это за институт, в котором просто учатся

нeизвeстнo нa кoгo? Круглолицый догадался о моих сомнениях.

В том, что поэтов набралось на целый институт, пусть небольшой, всего двухэтажный, было что-то ненормальное. Но я не понимал что. До этого я видел единственный раз живого поэта — Маяковского. Мне было восемь лет, мы возвращались из Железноводска в Самарканд. В Москве у мамы были какие-то дела, и мы остановились у ее старшей сестры. Взрослые куда-то собирались идти. Тетя Вера сказа-

ла: — Ему будет неинтересно. — Она имела в виду меня.

— Интересно, — тут же возразил я, хотя тетя разговаривала с мамой вполголоса и предполагалось, что я ничего не слышу, так как рассматривал в это время подаренное мне мужем тетки серсо.

— Мальчик в нашей глуши ничего не видит, возьмем его, — сказала мама.

Из окон тетиной квартиры была видна Москва-река. Мы вышли на набережную и, перейдя мост, направились к Красной площади. Всего, что было и как мы шли, я не помню. Я, например, не помню, куда делась тетина дочка — моя двоюродная сестра Аза. Перед входом в нарядный дом, стоящий отдельно (теперь я знаю, что это Политехнический музей), Азы уже с нами не было. Но зато помню зал с огромными окнами, полный людей. Какой-то мужчина с красным бантом уговаривал шумную компанию освободить наши места. Дядя стоял рядом с ним и ждал. Он был крупным ответственным работником. Дядя что-то шепнул мужчине, тот ушел и, вскоре вернувшись, сказал:

— Пойдемте, товарищ Бред.

Нас посадили на другие места в глубине зала. Вслед нам шумели и веселились. Кто-то из компании выкрикнул:

— Почтенья к мандатным нету...

Потом на сцене появился человек. Мне он показался огромным. Человек подошел на край авансцены и, чуть пригнув голову, исподлобья смотрел в зал, взвешивая от восторга и возмущения. Я испуганно завертел головой, потому что больше всего боялся скандалов. А человек на сцене, видимо, ничего не боялся. Насмотревшись на людей, человек сказал:

— Будем работать. — Он рывком сбросил с плеч пиджак, небрежно кинув его на стул, прошелся по сцене, подтягивая рукава белой сорочки с черным галстуком, как будто действительно намеревался делать что-то тяжелое. Я с интересом ждал: что? Кто-то крикнул:

— Хватит позировать!

Зал снова взорвался. Люди вскакивали, что-то выкрикивали и так же мгновенно садились. Выкрикивали «за» и «против». А Маяковский стоял на краю сцены и спокойно отругивался. Мне передалось общее возбуждение. Удивительно, как сквозь шум внятно и отчетливо прорвался его голос.

— Когда же он будет работать? — спросил я у мамы.

Ответила мне тетя:

— Миленский, он уже работает. — Тетя явно не одобряла такую работу. Я тоже был несколько разочарован, вернее, озадачен. Человек преобразился. Его чем-то рассердили. Он сжимал руку в кулак и, размахивая им, раздельно бросал слова. Он был гневен и собран, как будто готовился броситься в драку. Я сидел, вжавшись в кресло, и меня била мелкая дрожь. Если бы он бросился, я встал бы рядом, нанося и получая удары, хотя совсем не был драчливым. Человек говорил в гневном упоснии:

Тебе отдаю,

атакующий класс.

Он разжал кулак, указывая на окно.

Чей-то истошный голос потребовал:

— Повесить!

Человека на сцене нельзя было ни запугать, ни остановить. Рядом со мной сидела девушка. Время от времени она взвизгивала и шепотом говорила, ни к кому не обращаясь:

— Господи! Я готова ему отдаться... Господи!..

Она была очень молодая и красивая, смотрела на сцену отрешенными глазами, ее белая блузка потемнела под мышками, и мне нравился и еще больше меня будоражил исходящий от нее сладковатый и пряный запах пота.

Потом мы пробились по заполненному людными проходу, и кто-то сказал нам вслед:

— Что, не нравится?

Мама крепко держала меня за руку, и я тыкался, отодвигая свободной рукой чьи-то животы. Шум из открытых окон

вырывался на улицу. И мне показалось, что в зале началась драка.

— Мама, кто этот человек? — спросил я.

— Маяковский. Поэт. Ты знаешь, что значит слово «поэт»?

Недалеко от подъезда нас ждала машина. Моя двоюродная сестра Аза уже сидела рядом с шофером. Она была намного старше меня, и потому у нас не возникало взаимного интереса. Молчаливая, она редко вступала в разговор, а когда говорила, то растягивала слова. Мама за глаза называла племянницу флегмой...

Тетя Вера спросила Азу:

— Почему ты ушла? Тебе не понравилось?

Аза пожала плечами. Она не спешила отвечать.

— Очень шумно и скучно, — сказала она.

— Шумно, пожалуй, но я бы не сказала, что скучно.

— Ты слушала политического трибуна. Неужели он тебя не расшевелил? — спросила мама. Она умела напускать на себя притворный ужас. Аза снова ответила не сразу.

— Но я, тетя, хотела послушать поэта, а не трибуна, — сказала она.

— Бред! Я поражена! — сказала мама. Она почему-то называла дядю по фамилии.

— Сонечка, как ни странно, я разделяю мнение Азы; трибун — это хорошо, но от поэта я жду поэзии.

Мама что-то возразила. Дядя с ней опять не согласился, и конца этому разговору не было видно.

— Мама, — говорил я ей, теребя ее руку.

Но остановить маму было невозможно. Тетя Вера прислонилась лицом к моей щеке, спросила:

— Что ты хочешь, миленький?

— Что значит отдаться?

Я сидел, вернее, полусидел, зажатый между мамой и тетей.

Спор мгновенно прекратился. Мама быстро взглянула на меня, а дядя совершенно серьезно спросил:

— В каком смысле отдаться?

— Не знаю. Молодая тетя сказала, что готова ему отдаться.

— Все понятно, — сказал дядя. — Молодая тетя готова посвятить свою жизнь поэту, служить его делу...

— Тогда я тоже готов ему отдаться.

Аза оглянулась с переднего сиденья, сказала:

— С чем тебя и поздравляю...

В машине было тесно. Только она сидела свободно.

— Наконец у моего сына пробудилось классовое самосознание, — сказала мама.

Я привык, что некоторые мои вопросы привлекали внимание, но на этот раз общее оживление, даже Аза засмеялась, мне не понравилось.

VI

Мне никогда не приходило в голову, что писателей может быть так много, и я подумал: не податься ли и мне в этот институт? К тому времени я сочинил два-три стихотворения, а песню на мои слова, правда, неохотно, но пели в училище во время вечерних прогулок. По этому поводу Люся, девочка из параллельного класса, с которой я дружил в школе, писала в письме, что не случайно многие русские поэты были офицерами.

Мысль податься в институт исчезла так же мгновенно, как и появилась. С клеймом «политически неблагонадежный» меня не взяли бы в институт даже дворником...

— Он сам пишет стихи, по глазам вижу! — выкрикнул Худой, как будто уличил меня в чем-то предосудительном. Вслед за тем он должен был шмыгнуть носом и действительно шмыгнул. Противная привычка, и сам он был противный, во всяком случае, мне.

— Читай, — сказал Сергей и привалился плечом к ограде.

— Читай, читай. Здесь все свои, — поддержал круглолицый.

Они были стреляные воробьи, давно утратившие чувство стыдливости.

Я не смотрел на студентов, их набралось человек десять, но все равно знал, что они ждут. Я прочел, вернее, пропел, потому что слова уже не существовали для меня без мелодии:

Шумят золотистые клены,
Купается солнце в пруду.
Проходят курсантов колонны
И песню поют на ходу,

— странный был у меня при этом голос: мой и не мой. Уже на первой строчке я потерял дыхание от волнения.

— Дальше припев и так далее, — сказал я.

— Давай припев, — потребовал Сергей.

Теперь мне уже было все равно. Не молчать было даже лучше — оттягивался час расплаты. «Главное, не сбиться. Ты должен просто декламировать», — думал я и, едва раскрыв рот, снова запел:

Сегодня мы военные курсанты,
Сыны Страны Советов молодой,
А завтра лучших юных лейтенантов
Страна украсит Красною Звездой,

— имеется в виду орден Красной Звезды, — прокомментировал я, потому что невнятность концовки привлекла в свое время внимание жюри под председательством комиссара училища Шустина. Я, наконец, решился взглянуть на студентов, пытаюсь определить впечатление, которое произвел. Студенты молчали, и я понял, что они ждут, что скажет Сергей. Я тоже ждал. Сергей искал глазами, куда выбросить окурок, и бросил его в кусты, чего бы ни один воспитанный курсант себе не позволил.

— Профессионально. Не хуже, чем у Ивана, — сказал Сергей.

Сомнительность похвалы была очевидной. Но меня вполне устраивало, что стихи принятого в институт Худого не лучше. Студенты рассматривали меня если не с сочувствием, то с интересом. Наверное, так же на Садовой улице сквозь растреллиевскую решетку мои товарищи-курсанты рассматривали бы приبلудного поэта. Среди студентов была очень некрасивая девушка. Обычно девушки чувствуют свою некрасивость и пытаются скрасить свою ущербность бойкостью. Эта ничего не пыталась. Она стояла и в упор смотрела на меня непроницаемо-черными глазами. На ее узком лице с тонким, похожим на клюв носом, со смоляной челкой, низко начесанной на лоб, с определенностью, не оставляющей сомнений, прочитывалось: «Оставь надежду...» Мне это было легко сделать: никакого желания понравиться ей у меня не было. Мое внимание привлек размер круглолицей. Большим пальцем и мизинцем он обозначил размер пивной кружки...

— Курсант, пойдешь? — спросил меня круглолицый.

У меня возникло почти непреодолимое желание пойти с ними. За кружкой пива в прохладном баре поведать о своих злоключениях. Не могли же они остаться равнодушными и не прийти мне на помощь?..

— Величие времени работает на нас. Оно даже не требует большого таланта. Достаточно не быть бездарностью. Я вижу будущее этого мальчика, поэта и воина, — сказала некрасивая девушка.

Все вдруг посмотрели на нее и дружно засмеялись.

— Поздновато. Но, как всегда, в точку, — сказал Сергей.

Непроницаемо-черные глаза девушки были обращены ко мне. Но меня она не видела. В одной ей ведомой дали она прорицала мое будущее, которое лично мне казалось беспроектным. Я подумал, что самое время уйти. Кто-то крикнул:

— Костя! Симонов!

— Где Костя? — спросил круглолицый. — Костю тоже возьмем. Решился, курсант?

— Не могу, дела, — сказал я и, отступая от решетки, приложил руку к козырьку.

По-моему, это была достойная фраза, прикрывающая мое бегство.

Я пошел по направлению к Камерному театру.

Публикация
Г. РАДЧЕНКО-БАЛТЕР.

Игорь
АЧИЛЬДИЕВ

ИДОЛ*

Очерк социологии
культы личности

Эта фотография сделана в Москве в конце мая нынешнего года. Бетонная фигура Красного Маршала много лет смотрит в окна жилого дома в ста метрах от улицы Правды. А может пусть и дальше стоит, в назидание потомкам?

Фото Юрия Садовникова



* Журнальный вариант.

Крушение храмов или гибель богов?

Глубоко религиозная страна — так или примерно так обычно рисуют Россию накануне Октябрьской революции. Силу церкви сравнивают разве что с могуществом самодержавия. Помните? — «Самодержавие, Православие, Народность...»

На территории империи Романовых действовали 78 тысяч соборов, церквей, часовен, молелен Русской православной церкви, 25 тысяч мечетей, свыше 6 тысяч синагог, 4,4 тысячи католических костелов, более 200 старообрядческих церквей, свыше 2 тысяч церквей Грузии и Армении. Только в Русской православной церкви насчитывалось около 120 тысяч служителей культа. Кадры священнослужителей готовили 57 духовных семинарий — примерно 23 тысячи учащихся, 4 духовных академии — почти тысяча слушателей.

Когда в 1919 году закрыли часть (!) монастырей Русской православной церкви, то было национализировано около 900 тысяч гектаров земельных угодий, свыше 4,2 миллиарда рублей монастырских капиталов, 84 завода, 436 молочных ферм, 602 скотных двора, 1112 доходных домов, 704 гостиницы и подворья, 311 пасек, 277 больниц и приютов.

Таковы факты, они как будто подтверждают тот самый стереотип, который властвует по сию пору: предреволюционная Россия — оплот веры. На самом деле социокультурная ситуация была далеко не однозначной. Переплетение экономических структур самодержавия и церкви, общность их интересов породили и единое ответное к ним отношение. Церковь и ее служителей многие ненавидели. В том числе цвет общества — российская интеллигенция, понимавшая и видевшая, до чего довели страну царь и духовенство. Против церковников поднимал голос Лев Толстой. Не раз на варварское отношение к русской культуре со стороны клириков указывали российскому обществу лучшие его представители.

Духовенство не было единодушно в своей социальной политике, и в нем ощущалось, что церковь до некоторой степени тяготила предпринимательская деятельность в миру, отвлекающая ее от духовных задач в пользу светских. Ведь не случайно из духовенства вышел один из авторов декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»! Священник Михаил Владимирович Галкин издавал и газету для церковников, она находила спрос у своих читателей — один этот факт говорит о многом...

Итак, с одной стороны, религиозность народа, огромная сила духовенства. С другой — ненависть к церкви, ее служителям, превратившимся в угнетателей. Это противоречие не затрагивало, по существу, конфессиональных* ценностей. Да, клириков народ не жаловал, слагал о них байки и сказки, где отрицательным и, как правило, глупым персонажем неизменно оказывался поп. При этом массовое сознание оставалось религиозным: верили в бога, в суеверия и поверья, создавали секты, занимались столоверчением, спиритизмом, прочей мистикой. Атеизм был редкостью!

Для нашей темы важно и то, что за тысячелетие взаимной борьбы между православием и древним «язычеством», которое властвовало над народным сознанием сотни веков, формально победу одержало православие, но фактически оно сильно пропиталось «языческими» представлениями, суевериями, обрядами. Оно приспособилось к вполне земным нуждам повседневного бытового обихода и хозяйства народа. Это обстоятельство сыграло свою роль в формировании культа личности, обращенного к живому и здравствующему «богу».

Декреты о земле, национализации банков, заводов и фабрик, об отделении церкви от государства и школы от церкви создали новые социально-экономические реальности. У церкви практически отобрали материальные активы. Ее лишили земельных угодий, заводов и фабрик, богослужебных зданий, которые были объявлены собственностью государства.

* конфессия — вероисповедание.

Изъятые земли передавались в пользование крестьян. В бывших монастырях получили жилье свыше полутора миллионов бедняков. 48 монастырей были переоборудованы под санатории и здравницы, в 168 разместились дома престарелых, в 197 — школы и интернаты. В 349 зданиях бывших монастырей власть организовала больницы и профилактории. Закон божий перестал быть обязательным предметом преподавания в школах.

Рядовая масса священнослужителей, по образу жизни и «способу добывания средств к существованию» мало чем отличавшаяся от крестьянства, спокойно восприняла декреты, оставшись с народом. Остальная же часть духовных пастырей (особенно иерархи, высшие чины) оказалась в противоположном лагере.

При всех этих революционных пертурбациях религиозное сознание масс не пострадало и не изменилось. Множество церквей, мечетей, костелов, синагог и прочих богослужебных зданий позакрывались, их стали использовать под хозяйственные нужды, под жилье, располагать в них разные учреждения... Но что из этого? Разве падение храмов означает гибель богов?

В те годы Советская власть сформировала продуманную, лояльную по отношению к церкви и верующим политику. Учитывая убеждения верующих, допускалось даже освобождение их от исполнения некоторых гражданских обязанностей, связанных, к примеру, с несением воинской службы, замена их другими. Как тогда говорили, санитарным фронтом.

Короче, постепенно, особенно с введением нэпа, между церковью, ее лучшими силами, которые консолидировались, и властями наметились мирные контакты. Если бы веротерпимость продержалась хотя бы несколько десятилетий! Если бы столкновение мировоззрений происходило в условиях полного политического и правового равенства верующих и неверующих. Тогда, как знать, быть может, при разумной атеистической работе общество со временем попыталось бы действительно выработать какие-то новые, неизвестные предыдущим поколениям формы сознания, не охваченные религией, привычными ей стереотипами мышления и моделями поступков, традициями и т. п. Ведь до сих пор история такого общества не знала — ни на самых ранних ступенях его развития, ни в новейшие времена. Религиозные архетипы обрели характер чуть ли не врожденных, бессознательных форм массового поведения. Порвать с ними за несколько считанных лет — утопия!

Но от разумной политики веротерпимости вскоре не осталось и следа. Сталин избрал путь политической борьбы с церковью, подменив спор мировоззрений политической конфронтацией. В этих целях он использовал раскол церкви на патриаршую и обновленческую: их междоусобная борьба ослабляла обе стороны. Вторая половина 20-х и 30-е годы отличаются активно нарастающим давлением на церковь и ее служителей, репрессиями по отношению к духовенству и верующим, грубой антирелигиозной агитацией, которая несла не столько просвещение массам, сколько подстрекала их к антицерковным действиям. В эти годы принимается ряд подзаконных актов, которые носят, прямо скажем, драконовский характер. Начало им положило постановление ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года, оно ввело запутанный и суровый порядок регистрации всех религиозных общин, групп, течений и культовых объединений. Круто были урезаны права верующих и церкви, ее духовные пастыри обрели странный статус наемных служащих религиозной общины. Это и дальнейшие постановления, инструкции никогда не обнародовались в открытой печати, многие из них скрывались от церкви, хотя касались ее деятельности. До сих пор все законодательство о религиозных культах публикуется малыми тиражами в специальных сборниках «для служебного пользования». И не случайно этот процесс сталинизации законодательства о религии народ окрестил отделением совести от государства.

Короче, наступает новый этап в религиозной ситуации: в стране искусственно организуется, тщательно, хотя и завуалированно, поддерживается процесс вытеснения из сознания людей традиционных верований, замещения их иными духовными ценностями, первенствующая роль среди которых принадлежит новому культу. Однако пройдут годы прежде, чем люди поймут социальный смысл этой антицерковной политики. В чем состояли ее особенности, повлиявшие затем на формирование культа Сталина?

В среде антицерковных экстремистов в начале 20-х годов начали организовываться кружки безбожников, ставивших

своей целью практическую борьбу с церковью и религией. С декабря 1922 года при поддержке властей начала выходить газета «Безбожник», вокруг нее возникли кружки. В августе 1924 года, после смерти Ленина, они объединились в общество друзей газеты «Безбожник», а затем, в июне 1925 года, оно было преобразовано в Союз безбожников СССР, переименованный впоследствии в Союз воинствующих безбожников (что в общем-то более соответствовало и его целям, и практике его работы). Число членов Союза воинствующих безбожников быстро росло. В 1926 году их насчитывалось около 87 тысяч, в 1929 году — более 465 тысяч, на 1.5.1930 года — 3,5 миллиона, ко второй половине 1931 года — около 5 миллионов человек.

Под влиянием Союза и давлением властей началось повсеместное закрытие храмов. Чтобы облегчить этот процесс, разрешили передачу богослужебных зданий под культурно-просветительные учреждения, хозяйственные нужды по решению собраний безбожников, которые предписывали сносить церкви, сбивать с их маковок кресты, скидывать наземь колокола... Религиозные объединения распускались, на ремонт и строительство новых церквей годами никто не давал разрешения. Оставленные без надлежащего присмотра и хозяйского глаза, церкви ветшали, приходили в запустение и упадок, их растаскивали на кирпичи. Творилось это под лозунгом борьбы с религией, которая якобы остается «буржуазным орудием». И, что очень важно, выполняли разрушительную работу не какие-то темные силы, масоны или сионисты, как о том думают члены общества «Память», а сами православные! Крушили с удовольствием, полагая, что вслед за падением церквей настанет светлое утро социализма.

К 1938 году было закрыто более 40 тысяч молитвенных зданий, в том числе за период с 1929 по 1938 год — около 30 тысяч. Еще 10 тысяч зданий без всякого оформления были изъяты у религиозных объединений. Сказанное относится не только к православным храмам, но также к мечетям, синагогам и т. п. Их сносили, ломали, уничтожали «порвавшие с религией» мусульмане и иудаисты. Апофеозом этого беспрецедентного наступления можно считать взрыв храма Христа Спасителя в Москве. Акты вандализма творились повсеместно. Сравним эти дела с тем, о чем думал В. И. Ленин 20 ноября 1917 года, подписывая обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока»: «Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными». Вот вам и неприкосновенность!..

В начале главы я называл число действующих храмов в нашей стране перед Октябрем. На 1.1.1986 года, к концу первого года перестройки, в Советском Союзе действовало 10 255 богослужебных зданий и молитвенных домов (в том числе 376 мечетей), арендовалось религиозными объединениями еще 2153. Сохранились, хотя и не действуют, 18 195 богослужебных зданий, из них используются в народно-хозяйственных целях 6880, 4177 — используются в социокультурной сфере, 7410 — просто пустуют, находятся в заброшенном, а 4680 из этих последних — в аварийном состоянии.

Сталин не ограничился разрушением церквей. То была лишь небольшая часть его антирелигиозной программы, имевшей определенную практическую задачу. Следующий шаг состоял в дезорганизации церкви, ликвидации ее кадров и учебных заведений.

Точных данных о числе репрессированных за религиозные убеждения священнослужителей и верующих нет. Многие из репрессированных по религиозным мотивам до сих пор не реабилитированы, их честное имя не восстановлено. Это еще предстоит сделать. В те времена, когда хватало и правового и виноватого, открытое отправление религиозного культа расценивалось чуть ли не как вражеский выпад против Советской власти. Репрессии привели почти к поголовному истреблению служителей культа. Сегодня их всего 25 тысяч, до недавнего времени большая часть священников и мулл была в почтенном возрасте — под и за 60 лет.

Сталин наставлял: «Антирелигиозная пропаганда является тем средством, которое должно довести до конца дело ликвидации реакционного духовенства». Вдумайтесь в эту «железную» формулу, в ее мрачный смысл — **пропаганда**

должна вести к ликвидации духовных пастырей! Всем теперь известно, что означало слово «ликвидация» в сталинском лексиконе. Где уж тут спорить о принципиальной истине, стоящей за научным атеизмом? И не случайно с конца 20-х годов прекратились открытые диспуты с теологами и деятелями церкви по проблемам атеизма. Характерна судьба авторов декрета об отделении церкви от государства и церкви от школы. Без вести пропал М. В. Галкин, о его судьбе в 30-х годах ничего не известно. Оклеветан и смещен с поста первый наркомюст Петрас Стучка, в котором А. Я. Вышинский видел личного соперника.

Заметим: организованные Сталиным и его окружением широкомасштабные антиклерикальные процессы не влияли на религиозное сознание. Они не затрагивали его фундаментальных основ, били в другую цель, ниспровергая церковь и ее «прислужников», наклеивая на них ярлык «орудия буржуазии». Религиозное же сознание оставалось в неприкосновенности, сохраняя свои устои, стереотипы мышления.

Мне могут возразить: как же мы толкуем о сохранении религиозного сознания, когда люди почти не посещали церкви, резко уменьшилось число крещений, венчаний, отпеваний и пр., основная масса верующих перестала верить в бога, который сидит на облаке и всеми повелевает? Разве это не свидетельствует об отращивании от религии и переходе к атеистическому мировоззрению?

Неужели не очевидно, однако, что посещение церквей, совершение религиозных обрядов во многом зависит от демократичности атмосферы в обществе? Ведь до самого последнего времени для крещения ребенка, к примеру, требовалось не только согласие родителей, но и их паспорта, квитанции об уплате сборов за совершение таинства. Списки крестивших подавались в райкомы партии и районные Советы депутатов. Те направляли соответствующие бумаги в организации, где работали крестившие своих детей родители. Страх потерять работу, получить партийное или комсомольское взыскание, а то и вовсе быть исключенным из этих организаций, что означало конец всякой должностной карьеры, — вот скрытая основа снижения числа религиозных обрядов.

Но даже при этом известно, что в республиках Средней Азии до сих пор все 100 процентов мальчиков коренных национальностей подвергаются обрезанию. О каком снижении религиозной обрядности может идти в этом случае речь? За последние 22 года выросло число отпеваний, венчаний, крещений совершеннолетних, крещений детей школьного возраста. Что, кстати говоря, свидетельствует не о росте религиозности населения, а о степени демократизации общественной жизни.

Итак, вообще говоря, число совершенных религиозных обрядов не свидетельствует о снижении религиозности населения. Тогда, быть может, об этом говорят специальные исследования?

Прежде всего заметим, что их спектр чрезвычайно широк: от самостоятельных попыток проанализировать религиозность школьного класса до труднейших, связанных с большими затратами анкетирования тысяч людей, исследований, которые проводятся, как правило, под эгидой Института научного атеизма при АОН.

За образец социологической самостоятельности возьмем письмо, присланное из Букинского района Ташкентской области преподавателем русского языка Фано Набиевой, работающей в школе № 9. Она пишет: «Классный час на тему «С богом пронырливым надо бороться» я провела на русском языке. Конечно, в сельской местности на такую тему надо очень готовиться, побольше фактов, и я дала ребятам анкету: «Веришь ли ты в бога? Есть ли в семье верующие? Посещают ли твои родители мечеть? Как встречаешь вы национальные праздники (кто у вас в семье держит уразу)? Веришь ли ты в сны, гадания?»».

Читаешь анкету, письмо и удивляешься: что это — вопросы педагога или проект доноса новых Павликов Морозовых на своих родителей? Ведь еще у всех на памяти, как за веру в бога людей забирали в тюрьмы!

Я привел пример полной социологической (как, впрочем, и педагогической) безграмотности не для того лишь, чтобы упрекнуть Ф. Набиеву. Она тут виновата, видимо, не больше своих коллег и наставников. Но, быть может, методика современных солидных исследований фундаментальным об-

разом отличается от попыток Ф. Набиевой бороться с «пронырливым богом»?

В 1964 году в Институте научного атеизма разработана анкета, состоящая из 68 групп вопросов. Казалось бы, солидно, не так ли?

Но посмотрим, какая процедура при этом рекомендовалась. Берется список избирателей района, по нему отмечается каждый десятый, анкетер записывает адреса и фамилии опрашиваемых себе в блокнот и отправляется к ним на дом. Представьте: к вам в дом приходит незнакомый человек, знающий вашу фамилию и адрес, представляющий анкетером общества «Знание» (хотя опрос проводится под эгидой обкома или райкома партии), и задает вопросы: «Менялось ли ваше отношение к религии на протяжении вашей жизни?», «Религиозны ли ваши близкие родственники, проживающие с вами сейчас или постоянно с вами общающиеся?». И так далее. Что вы подумаете о целях и задачах анкеты, о функциях анкетера, который — хотя анкета формально «анонимная» — для чего-то в конце вопросника оставляет свои заметки о личности опрашиваемого? Можно ли доверять хоть одному ответу на подобную анкету?

Методикой Института научного атеизма пользовались на протяжении более 20 лет почти все, кто защищал кандидатские и докторские диссертации по атеистическому воспитанию. В 1985 году принята новая методика, почти не отличающаяся от предыдущей. Кроме вопросов, которые были в анкете 1964 года, вдобавок к ним появились и другие, связанные с мусульманством, православием. Например, такие: «Соблюдаете ли вы мусульманский пост «уразу»?» (вопрос № 28). «Соблюдает ли уразу кто-либо из членов вашей семьи?» (вопрос № 29). Точно так, как и у Фано Набиевой, — никакого отличия!

Реальны ли полученные результаты? Имеют ли они хоть какую-то ценность? На последний вопрос можно ответить утвердительно: да, ибо результаты исследований посылаются «наверх», а в них видна снижающаяся религиозность населения. Что, в свою очередь, служит основанием для положительной оценки атеистической работы ответственных за нее должностных лиц.

Между тем имеются серьезные основания полагать, что массовое религиозное сознание не только сохранилось в период культа Сталина, но и некоторым образом упрочилось, поскольку обрело вполне легальный объект поклонения — кумира, которого оно обожествило. Оно изменило символику, обновило идеалы. Сталинская антицерковная политика как бы расчистила «строительную площадку» для возведения культа личности.

Путь на Олимп

В отличие от уважения, лести, подобиострастия и т. п. культ личности состоит в обожествлении какого-то человека, в признании за ним сверхъестественных свойств и качеств. Человек может быть талантливым, гениальным; бог — провидец всего и вся. Авторитетный политик может доказать свою правоту и повести за собой. «Бог» заставляет повиноваться слепо, не рассуждая и не сомневаясь ни в чем. Человек может быть сильным, «бог» всемогущ, ему подвластны и люди, и стихии неба, земли. Гений знает столь много, что это может казаться удивительным, но все же объяснимо; «бог» — принципиально всезнающ, он понимает мир изначально.

Сталин строил свой культ исходя из этих (примерно, разумеется!) основ, наделяя себя качествами не гения, но именно всемогущего, всезнающего, все умеющего «бога». В этом суть культа личности. А не в авторитете Сталина как руководителя. В массовом сознании он был богом. И возводил свой культ, требуя от верующих определенных сакральных действий. Таков социокультурный феномен культа личности, имеющий свой канон, особую структуру власти, символы, обряды, которые совершали все, живущие в стране. Даже те, кто ненавидел Сталина. И, ненавидя, ужасаясь, — трепетали перед ним.

А теперь попробуем представить, что должен был сделать любой из претендентов на власть в стране, где во главе революционной партии еще недавно стоял такой признанный народом вождь, как Ленин, если этот претендент поставил перед собой цель сотворить культ собственной личности? В стране, которая исповедовала десятки религий, чье население в своей подавляющей массе было православным, католическим, мусульманским или иудейским?

Единственный выход: так повернуть религиозное сознание масс, чтобы оно восприняло особый, ни с одной из религий

* Уразу — 30-дневный пост у мусульман в месяце рамазане.

в данном государстве не имеющий общего, новый культ.

И вот совершенно неожиданно для партии, народа Сталин выдвигает предложение и проводит 25 января 1924 года через Президиум ВЦИК решение: сохранить тело Ленина!

Идея не пришла к Сталину сразу, словно свалилась с неба.

Ему помогло многое. И прежде всего то, что основа для культа личности была уже создана. Сопратники, несмотря на явное сопротивление самого Ленина, пытались создать вокруг его имени, вокруг его политической фигуры особый ореол. Воздать по заслугам великому вождю пролетариата и революции? Да, но и вместе с ним попасть в сонм приближенных, то есть тоже «богов», пусть и второго сорта. Стоит почитать брошюру «50-летие Владимира Ильича Ульянова-Ленина», выпущенную в 1920 году и содержащую отчет о юбилейном празднике в МК РКП(б), как многое станет понятно. Какими только эпитетами не наделяют соратники Ленина вождя революции! «Человек величайшего ума, величайшей воли, величайшего напряжения и величайшей прозорливости» (Камнев). «И вдруг мы видим такую фигуру, глядя на которую, уверяю вас, хотя я и не трусливого десятка, но мне становится жутко. Делается страшно от вида этого великого человека, который на нашей планете вертит рычагом истории так, как этого ему хочется» (М. Горький). «Он не думает о себе никогда... Откуда этот неудержимый поток энергии? Почему эта суровая расправа с врагами? Только потому, что это нужно для реализации высоких идеалов», «В нем есть что-то нечеловеческое» (А. Луначарский). И так далее, вплоть до стихов.

Щепетильный вопрос о будущем захоронении Ленина обсуждался некоторыми членами Политбюро задолго до кончины вождя, осенью 1923-го. (Сведения об этом совещании имеются в воспоминаниях Троцкого, Валентинова, обсуждаются в религиозно-философской литературе Запада.) Заговорил о том, что в случае смерти Ленина его следует похоронить на особый манер, М. Калинин. Его тут же поддержал И. Сталин, сказавший, что хоронить Ленина надо, очевидно, по русскому обряду, то есть предать земле, но с этим спешить нельзя, некоторые «товарищи из провинции, которые не успеют приехать на похороны, никогда нам этого не простят». Троцкий пожелал узнать, кто эти товарищи. Сталин уклонился от ответа, однако настаивал на своем. Троцкий, Бухарин, Камнев выступили против сохранения тела вождя после его смерти. Сталин, Калинин и другие — за.

Видимо, после этого совещания Сталин продолжал обдумывать идею мавзолея, мумифицирования тела Ленина, как всегда, — тайно, в одиночестве, ни с кем не делись своими планами, не посвящая в них даже единомышленников.

Инициатива Сталина, решение Президиума ВЦИК произвели на всех шоковое впечатление. С точки зрения всех конфессий России то было неслыханное и невиданное кощунство, надругательство над телом вождя. Если к тому времени духовенство страны не было бы организационно разгромлено, если бы престиж прежних конфессий не упал, то такой шаг Сталина не нашел бы ни поддержки, ни оправдания. Сталин выиграл первый открытый бой в религиозном сознании страны, заложив основы нового культа. Он встал над монобожием, над всеми конфессиями страны, заставив религиозное сознание масс отступить назад, в глубь веков, в сторону язычества.

Характерно, что против создания мавзолея не выступил в то время ни один из претендентов на власть в партии — ни Троцкий, ни Бухарин, ни Камнев, ни Зиновьев. Робко протестовала Н. К. Крупская... Но к ее голосу никто не прислушался, настолько поразительным было предложение Сталина.

Закладка мавзолея была одновременно и первым шагом в сторону культа Сталина. Он выступил не просто как ученик умершего вождя, но как первый апостол и основатель новой религии. Он принес клятву безвременного скончавшемуся вождю, больше похожую на ритуальное заклинание, чем на обещание хранить верность идеям, за которые всю свою сознательную жизнь боролся Ленин. И постепенно, исподволь, тем способом, каким он привык продвигать в жизнь свои намерения, то есть тайно, Сталин начинает строить свой культ. Лозунг «Сталин — это Ленин сегодня», который Ари Барбюс сделал афоризмом через 11 лет, практически начал свою жизнь в 1924 году, задолго до появления книги французского писателя. А чтобы культ был воспринят как естественное продолжение обожествления Ленина, Сталин соединил себя с Лениным, как с учителем.

Ученик, последователь, затем продолжатель дела Ленина, еще позже — сподвижник, соратник. Своим профилем он

закрывает лицо Ленина. Так постепенно, шаг за шагом Сталин поднимается по ступеням, становясь, наконец, на пьедестал рядом с Лениным как равный ему. И тем самым обретает божественную харизму*, которой он ранее окружил имя Ленина.

Основные события развернулись в 20-х годах. Началась вакханалия переименований. Еще в 1925 году Царицын стал Сталинградом. К 1941 году в нашей стране насчитывалось 64 города и района с именем «Сталин», а ведь были переименования и потом, до самого 1953 года! Паровоз «ИС» — Иосиф Сталин, танк — «ИС», сотни заводов, фабрик, колхозов, шахт, каналов имени Сталина. По улицам Москвы бегали черные ЗИСы — автомашины завода, который теперь носит имя Лихачева. На карте появились горные пики Сталина, залив его имени. Возникли привычные словосочетания, которые только так и произносились: сталинские соколы, сталинские пятилетки, сталинская Конституция, сталинский план (преобразование природы), сталинская дружба народов... Повсюду висели лозунги: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!», «Партии Ленина — Сталина слава!», «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — вперед, к победе коммунизма!» и так далее.

Архитектура... Мавзолей сохранил символику христианского храма. Его центральная часть — сося, расположенная перед иконостасом, обычно возвышается, на ней амвон, с которого произносятся проповеди. По бокам — клиросы с певчими. Не угадывается ли в архитектуре мавзолея та же система? И амвон, с которого Сталин произносил свои речи... Но характерно и отличие мавзолея от церкви. Христианский храм — место совершения богослужения, не отделенное от людей, наоборот, это место их сбора, общения с богом, который на небе. Такова символика христианской архитектуры. «Языческий» храм — обиталище богов, люд толпился и молился перед ним, принося сюда жертвы. В Кремле жили «боги», они восходили на мавзолей, где тоже — «бог». Поэтому и не пускали людей в Кремль при жизни Сталина.

Самая одежда Сталина служила его культу. К древнеаполлоновским временам восходит так называемая фелонь — походный плащ, который проповедники слова божия надевали во время странствия от общины к общине; теперь она заменена шинелью, новым символом апостольского звания. Было большое художественное полотно — «Сталин и Ворошилов на Кремлевской набережной». Видимо, только что прошел дождь, мокрая мостовая блестит, ночь, лишь фонари освещают каменные лица шагающих в шинелях Сталина и Ворошилова. Народ называл картину «Два вождя после дождя...».

Новый культ быстро перенимал чужие религиозные традиции. Это типично: народ в храме должен ощущать нечто непонятное, надчеловеческое. В западной церкви язык богослужения — латынь, у разноязыких мусульман — арабский, у иудеев — древнееврейский. На собраниях и заседаниях времен культа царила тарбарщина, которую простой человек понимал с трудом.

«А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?»

— Пленарное, — небрежно ответил сосед.

— Ишь ты, — удивился первый, — то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.

— Да уж будьте покойны, — строго ответил второй. — Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался — только держись...

Это из рассказа М. Зощенко «Обезьяний язык» — о непонятном разговоре двух соседей на собрании, которые слушали «острого оратора», произносившего «надменные слова с иностранным туманным значением».

Короче, возникла символика и обрядность нового культа, которые включали специфику одежды, парадов, заседаний, демонстраций, значков, знаков поощрения и отличия (Сталинские премии, к примеру. Не было лишь ордена Сталина. Почему?) Аплодисменты на съездах партии и сессиях Верховного Совета тоже получили строгую градацию.

Постепенно в культ Сталина начали проникать раннехристианские мотивы страдания за правду, стремления к бедности; его жизнь изображалась как некое житие аскета, святого, не имеющего личной жизни. Спать он ложился в четыре часа утра, всю ночь работал. Заработную плату получал всего несколько сот рублей, то есть столько, сколько зарабатывает квалифицированный рабочий.

* харизма — благодать.

Все черты харизмы Сталина не были какой-то случайностью, они соответствовали представлениям, которые, по его мнению, должен был иметь народ о своем Вожде. Бедность? Да, бедность, ибо весь народ беден. Лозунг Н. Бухарина «Обогащайтесь!» — слово вредителя, который рад кулацкой удаче. А скорее верблюд пролезет в игольное ушко, чем богатый войдет в царствие небесное... Все успехи в строительстве новой жизни приписывались личному участию Сталина, неудачи — козням вредителей, врагов народа. Сталин прибегает и к манипулированию общественным сознанием с помощью простейших методов и приемов пропаганды.

Профанация системы

Вообще говоря, культ живого «бога» необязательно связан с основными общественными структурами. И не каждое общество подстраивает правление к культу (если он, конечно, есть!). История знает немало примеров тому, как культ личности, той или иной должности в общественном устройстве, существуя «сам по себе», не влечет кардинальную перестройку правления. Если посмотреть без предвзятости на такие страны, как Великобритания, Япония и некоторые другие, то мы заметим, что в них культ королей, императоров существует именно как культ личности — с присущим ему отношением к своим кумирам. Однако система правления в них далеко не та, которую ввел Сталин в 20-е годы. Бывает, что в государстве действует культ личности, а живой «бог» находится в противоборстве с властью — царем или олигархией. Модель таких отношений можно разглядеть в мифе о Геракле, к примеру. Ведь Геракл совершал подвиги по приказу царя Эврисфея, «бог» повиновался смертному...

Но Сталин собирался не только царствовать, он хотел править страной!

Система правления времен военного коммунизма была хороша и подходила Сталину, но она не соответствовала задачам, стоявшим перед страной, искавшей выход на путях нэпа. Жестко централизованный аппарат государственной власти, построенный по армейскому образцу, не создавал возможности для проявления инициативы в хозяйственной области, в общественно-культурной жизни. И он был частично разрушен, многие его кадры переместились из госорганов в хозяйственные управления. Число служащих наркоматов в 1923 году составляло полтора миллиона, в 1924 году — 1200 тысяч. Однако «то, что мы выиграли на учреждениях госбюджетных в смысле сокращения», говорил сам Сталин, — мы в значительной мере проиграли на учреждениях, работающих на основе хозрасчета. Я уж не говорю о том, что часть служащих перешла на местный бюджет». Уже тогда, как мы видим, отмечалась исключительная цепкость, гибкость аппарата в борьбе за самосохранение! У его кадров, конечно же, сохранилась память о недавних порядках военного коммунизма, когда аппарат жил неплохо. И эти кадры, ставшие в стране значительной силой, с удовольствием, мало того, с восторгом, восприняли идею «конца отступления», переход от нэповской раздробленности к воссозданию аппарата управления, построенного на началах централизма, для прикрытия именуемого демократическим. Каждый шаг на пути ликвидации нэповских свобод ими рассматривался как новая победа. Централизация создавала возможность концентрации ресурсов. Чтобы оправдать ее, Сталин нагнетал в общественном мнении страны впечатление, будто Советский Союз окружен врагами, что война может начаться не сегодня-завтра, что весь мир вооружается против нас. И это звучало не только в песнях («Если завтра война...»), но и с трибун съездов, пленумов, с газетных полос. И хотя в те годы (1925—1930) ни одна страна в мире не вооружалась столь стремительно, никто не создавал столь яростными темпами новейшие виды вооружения, как мы, все же Советский Союз находился в состоянии какого-то гипнотического ужаса перед надвигающейся войной. А цепочка «доказательств», которыми окружал общественное мнение Сталин, неизменно начиналась с «агрессивных замыслов империализма». Пророчества Вождя тут достигали самых нелепых и чудовищных форм. Кого только не выдвигал Сталин в качестве кандидата в будущие агрессоры!.. Тут и Польша, и Прибалтийские государства, и Англия, и Италия. Ни одно из его пророчеств не сбылось. России не раз приходилось отстаивать свою независимость от иноземцев, и нигде оборонные лозунги не находили такого восторженного понимания, как у нас. Под этот пропагандистский шум Сталин приступил к созданию особого аппарата управления страной, который

быстро вытеснил и заменил собой раздробленный, нэповский. Каковы же особенности этой новой системы? Случайно ли она оказалась столь восприимчивой к культу личности?

В последние годы наша пресса уделяла немалое внимание характеристике этой системы. Пожалуй, наибольшее признание получила статья доктора экономических наук Г. Х. Попова «С точки зрения экономиста» (о романе Александра Бека «Новое назначение») своей антисталинской направленностью, глубиной анализа. Характеристика Системы, которую Г. Х. Попов называет Административной, — четкая, правдивая. Хочется тем не менее сказать несколько слов о том, что взгляд экономиста на систему правления страной все же несколько узок.

Административная система — вообще говоря, неотъемлемый институт любого современного государства. Подобные системы существуют во всех демократических странах, представляя более или менее масштабные структуры властных органов. Жесткая и разветвленная административная система управления действует во Франции, где она тем не менее не приводит к культу личности и репрессиям. Сталинскую форму правления с большой натяжкой можно назвать административной. И лучше было бы не бросать тень на административные системы, поскольку и они способны сослужить добрую службу государству, обществу.

Тогда, быть может, назвать ее тоталитарной? Термин введен в 1923 году Д. Лукачем в книге «История и классовое сознание», с тех пор неоднократно использовался в различных политических целях. С его помощью многие политологи пытались поставить на одну доску гитлеризм и сталинизм. Такие параллели имеют под собой почву: в обоих случаях мы видим культ личности. Но есть и серьезные отличия.

Для нас важно сейчас другое: изначальный смысл категории «тотальность» состоит в том, что общество, вводя любую систему правления, начинает подчинять ей самое себя. Тотальность, по сути дела, не что иное, как высокая степень втянутости в режим словес и групп населения. Но само это понятие растяжимо, ведь каждое общество в той или иной мере «тотально», ибо подчиняется избранному режиму правления. Что же касается организации системы, то есть структуры и принципов взаимоотношения в обществе, то «тотальность» о них ничего не говорит. Между тем именно организация системы оказывает решающее воздействие на общество. Между прочим, свободное общество товарных взаимоотношений тоталитарно рыночно, в нем царят свои религиозные представления — товарный фетишизм, к примеру, о котором писал в свое время еще К. Маркс. Смешно было бы об этом забывать...

Есть смысл отказаться от всех предложенных выше понятий и вернуться к тому, которое основательно забыто, хотя создано еще в начале нашего века «отцом» и основателем системного анализа, русским ученым, философом А. А. Богдановым, автором «Всобщей организационной науки тектологии». В терминах своего времени он выразил суть системы, которую вскоре и начал вводить Сталин, следующим образом: неравенство активностей создает агрессию (от слова «эго» — «я», отсюда эгоцентризм — ставящее «я» в центр всего). «Агрессия», учил А. А. Богданов, — концентрирует определенные активности.

При всей краткости и кажущейся неясностью формулировка А. Богданова очень емка и верна. Суть ее в том, что при неравенстве активностей («сил», «прав» и т. п.) образуется система, которая ориентируется целиком и полностью, по всем аспектам жизнедеятельности людей на центр, на свое «эго». Рождается полная и безоговорочная субординация, подчиненная велениям различных порядков: экономическим, административным, личной зависимости и т. п. Система при этом обретает вид пирамиды, на вершине которой — руководящий центр, расширяющееся подножие — чины иерархии, а подшова — исполнители, лишенные «активностей», выполняющие чужую волю и предписания. Это система, где нижние группы во всем зависят от высших, команды выдаются только сверху, снизу должны идти лишь сигналы об исполнении.

Переданная сверху команда очень часто не может быть исполнена целиком (изменялась ситуация, не хватило ресурсов для исполнения, неточен был первоначальный расчет, противодействие среды учтено плохо и т. п.). В этом случае возникает коллизия. Не исполнить приказ — значит вступить в конфликт с центром, с вышестоящей инстанцией: активности-то концентрируются наверху... Спорить безнадёжно и опасно. Тогда делается вид, будто команда выполнена. Поэтому следующая команда усугубляет положение.

порой доводя состояние системы до критического. Информация все же передается наверх. Но в каком изуродованном виде!.. Она ведь должна удовлетворять промежуточную инстанцию. Возникают такие опасные и уродливые явления, как лакировка (искажение образа окружающей среды), приписки (лакировка положения внутри системы), дезинформация.

Боязнь ответственности за неисполнение вызывает необходимость в создании подсистем страха, они встраиваются в эгрессию как ее необходимое дополнение. Отсюда многочисленные и разнообразные репрессалии, называемые по-разному: чистками, «нарушениями соцзакононости»... Само общество при этом развивается медленно, эволюционные, деструктивные и застойные процессы в нем примерно равны по силе и сглаживают друг друга. Второе свойство эгрессии состоит, очевидно, в лишении личности ее ярких индивидуальных качеств. Человек обезличивается, встраиваясь в систему неким автоматом, «винтиком», «гаечкой». «Незаменимых у нас нет!» — лозунг, который Сталин довел до афористичности и который действовал с неукротимостью Прокруста на протяжении долгих лет культа личности. При этом страдали не только талантливые люди, выходящие за рамки привычного круга обязанностей, мучались и те, кто не «дотягивал» до положенных ему рамок. Но больше всего, разумеется, страдали безвестные «винтики» и «гаечки», обретающие полный автоматизм и незаинтересованность в исполнении своих обязанностей.

Эгрессивная система стремится расширить свои владения, завоевать максимум социального и географического пространства, подчинить себе другие системы, преобразовывая их по своему подобию. Эгрессия обращается не только вовне, но и к делам внутри системы, уничтожая многоцентрие. Совершенно очевидно, что сталинская система правления не могла сосуществовать с океаном «неуправляемых» крестьян, она взялась переделывать эту среду и в течение нескольких лет превратила ее в свое подобие с помощью коллективизации. Низы общества при этом полностью бесправны — все их «активности» присвоены вышестоящими. Но уже первый ранг в иерархии дает его обладателю некое положение, которое лучше всего определяется старинной армейской поговоркой: самый главный чин в армии — ефрейтор. У него есть возможность отлынивать от исполнительской работы, переваливая ее на чужие плечи. На второй ступеньке число льгот увеличивается, на третьей достигает солидного размера. На иерархической лестнице образуется особый срединный слой, в привычном социологическом обиходе — номенклатура, «аппарат».

Таковы в общих чертах свойства эгрессии — той системы, которую в течение многих лет насаждал Сталин. Как мы видим, она не породила культ личности автоматически, но приняла культ с восторгом, который свидетельствовал об одном: он помогал ей выполнять свои функции, раскрывал ее потенции. Чем объяснить этот феномен?

Присмотритесь к взаимоотношениям в вашем учреждении, предприятии. Ваш прямой начальник обладает большими возможностями, чем те, которые находятся в вашем распоряжении. Для простоты рассуждений примем, что его набор прав превосходит ваш на порядок, то есть в десять раз. Вы можете сосчитать их количество и увидеть их предел. Сложнее представить компетенцию начальника вашего начальника — объем его прерогатив уже на два порядка выше вашего. Через третью или четвертую ступень иерархической лестницы вы теряете им счет и не можете достаточно твердо определить их рамки. А через десятую ступень? Что же касается возможностей Самого Главного Начальника (предположим, министра), то они для вас бесконечно велики, приближаясь к возможностям если не бога, то, во всяком случае, чудотворца. Так начинается восхождение к «богу».

Живой «бог» — олицетворение сверхчеловеческих качеств: он всемогущ, всезнающ. Если внимательно присмотреться к тому, о чем идет речь, то мы обнаружим, что это все же человеческие свойства, аспекты человеческой жизнедеятельности, возведенные в очень высокую степень, когда наш разум перестает их воспринимать как присущие людям. Для математика такая степень записывается в привычных абстрактных символах, поскольку она связана с понятием бесконечности. «Суть вопроса в том, — писал Норберт Винер, — что понятия Всемогущества и Всеведения в действительности являются не превосходными степенями, а лишь неопределенными формами выражения очень большой власти и очень больших знаний».

Если власть действует гласно (что, как известно, претит аппаратной работе), если она строго регламентирована законами и надежным контролем, может быть блокирована другими, независимыми системами, то еще куда ни шло... Но коль скоро она решает вопросы келейно, затрагивая интересы многих людей, находящихся на разных ступенях эгрессии, то вся она буквально срывается в режим веры, обожествляя руководство.

Начинается профанация системы, отлучение ее от задач, для которых она, собственно, создавалась. Эгрессия, таким образом, легко соскальзывает в режим культа личности. Она служит благодатной почвой для религиозного сознания, порождая культ личности ежесекундно, ежечасно — только направь ее энергию в соответствующее русло!

Канон

Пришла пора сказать об идеологии сталинизма в целом, об ее духовных, нравственных и прочих аспектах. Ведь Сталин создал определенный свод догматов, из которых исходили (и по сей день исходят) его сторонники и поклонники. Этот своеобразный канон представляет набор бездоказательных теоретических конструкций, имевших религиозную притягательность. И это надо понимать четко! Без своего канона Сталин не сумел бы стать живым «богом», поскольку бога не бывает без вероучения.

Традиционная религия, как известно, переносит рай и ад за временные рамки существования человека. Сталинизм оба эти понятия пытается возвести в ранг жизненных реалий. Сталин преуспел как в сотворении определенного «рая» для некоторой части населения страны, так и особенно ада — в отношении огромного большинства. Христианство может позволить себе отодвигать рай и ад в загробную жизнь: бог вечен, ему незачем спешить с исполнением обещаний. Культ живого «бога» должен претворять в жизнь свои пророчества как можно быстрее, если возможно — немедленно! Чтобы народ верил в его силу, его великую и справедливую идею. Это центральное положение идеологии любого культа личности, его фундамент.

Экстенсивный рост и огосударствление производства выдавались за построение социализма, за его победу.

А раз «социализм» построен в основном и целом, то обещания, данные Сталиным, выполнены. Мелочи в счет не идут... Лес рубят — щепки летят. Если бы не «враги народа», наши успехи могли бы быть куда больше. Все, я привел вас в землю обетованную — пользуйтесь ею, живите в ней, любите свое новое отечество — Советский Союз, самое мирное, самое свободололюбивое государство в мире, основанное на принципах социализма, равенства и справедливости. Благодарите Вождя и Отца народов!

Уже к 1941 году, к XVIII партконференции, выяснилось, что мы создали не самое передовое и развитое общество, а крупную и плохо управляемую экономику, не способную развиваться имманентно, исходя из потребностей человека, живущую по законам все более костенеющей, замкнутой системы. Новая техника быстро устаревала морально и физически, требовала постоянной замены, обновления, к чему в нашей крупной индустрии не было (и по сей день нет) серьезных стимулов. Колхозы и совхозы снижали производство продуктов села, деревня пустела, нищала. Голод, отвращение к земледелию стали привычными и на годы вперед определили судьбу крестьянства.

Наше счастье, что война с Германией началась в 1941-м, а не десять лет спустя, — к тому времени наше хозяйство было бы более отсталым и одряхлевшим, чем в 1941-м. Сталинский «социализм» оказался на поверку не расем, он даже не приблизил нас к цивилизации. Скорее, отбросил назад.

Снести старое не значит построить новое. Эта примитивная истина скрывалась. За горизонтом зрительных возможностей народа оставались жуткие, трагические поражения и неудачи сталинского режима. Произошла поляризация экономической жизни. На одном ее полюсе концентрировались блага и льготы: щедрый стол, огромные квартиры, персональные автомашины, пайки, талоны Торгина, особые лечебницы, охрана, холуи и лакеи. «А по праздникам — кино с Целиковской...» Это рай, эталон советской жизни, ее как бы конечная, она же достигнутая цель. По эталону жила верхушка аппарата управления, «номенклатура». Этот полюс общества грабил и жил за счет обнищания и голодания другого полюса, где находился социальный ад. Самое его «пекло» — тюрьма и лагерь, зона за колючей проволокой.

Здесь жили и умирали от унижений, голода, холода, работали из последних сил, чтобы выйти на свободу, вступить на первую ступеньку лестницы, ведущей человека к раю.

Нищая деревня тоже походила на лагерную зону. Колхозник не имел паспорта и трудовой книжки, а значит, не мог уехать в город и устроиться на работу, перейти из крестьян в рабочие.

Выхода оставалось два, и оба использовались на полную мощность. После службы в армии демобилизованный крестьянин имел право пойти на завод или — чаще всего — на стройку. Молодой колхозник мог и поступить в строительное училище, завербоваться на стройку, уехать в дальние края, где возводились новые города.

Постепенно стройка стала неким чистилищем, через которое проходила страна, чтобы попасть в городской рай, сделаться рабочим, то есть человеком первого сорта. Строительный рабочий — первая ступень к промышленному. За сорок лет — с 1926 по 1967 год — в Советском Союзе произошло великое переселение народов: из села уехало около 60 миллионов крестьян! Почти все они прошли через сталинское чистилище: возводили заводы, становились основателями новых городов. В 1928 году на строительстве было занято всего 646 тысяч человек, главным образом сезонников, которые на зиму (бетон укладывали лишь в теплое время года) возвращались в деревню. Но в последующие годы строить начали круглогодично, привлекая рабочую силу из деревни на постоянную работу. В 1932 году строителей насчитывалось уже около 2 миллионов, в 1940-м их стало 2567 тысяч, в 1950-м — 4087 тысяч, в 1960-м — 6555 тысяч. К 1970 году их число перевалило за 10 миллионов. Текущее, как правило, составляло 90—95 процентов. Нигде и никогда в мире урбанизация не была столь быстрой, как в СССР. Число городских поселков и новых городов до войны росло по 37 в год, с 1946 по 1959-й — по 105, с 1959 по 1967-й — по 86.

Муки их создателей сопоставимы разве что с мучениями в лагерной зоне, за колючей проволокой. Города создавались на костях своих строителей, цемент словно бы замешивался на крови каменщиков. Голод, цинга, эпидемии, десятки лет в общежитиях, в бараках и землянках — на все шли вчерашние крестьяне и зеки, все терпели! Мало того — проявляли исключительный энтузиазм, небывалое рвение. Понимали — одна из главных приманок! — перейдут в богоносный класс рабочих, пользующийся солидными преимуществами перед второсортными крестьянами и третьесортной интеллигенцией, снимут с себя клеймо анафемы.

В этом чистилище вычищались и души, прочь выметалось все, что связывало с психологией крестьянина, привыкшего быть хозяином на своем поле, на своем участке работы. Люди постепенно превращались в живые придатки к машинам. Но все-таки их жизнь была лучше, чем в деревне, где царили безысходность, голод, неимоверно тяжелый труд.

Сталин наладил специфический конвейер, по которому постоянно перемещались живые (точнее, полуживые) тела: из ада выбивались в чистилище, из него (кому повезет!) — в райские кущи. Ну, а оттуда вел крутой спуск обратно — в самое пекло ада, в зону за колючей проволокой, порой прямо на тот свет. В механизм этого жуткого конвейера была встроена идея искупления греха, который совершил человек или его родители, не принадлежащие богоносному классу. Смысл грех (впрочем, полностью никогда!) только в аду или чистилище. Воздаяние за рабский труд — «На свободу — с чистой совестью». Вот что реально дала народу фундаментальная догма культа личности о достижениях рая на земле при жизни одного поколения!

Уверовав в центральную сталинскую догму, общество без возражений, а наоборот, с восторгом приняло и вторую: идеология всегда идет впереди социальной практики. Как и в лагерной зоне, любой шаг в сторону — даже в мысли, в процессе поиска истины, когда человека обуревают естественные сомнения в правильности хода рассуждений! — считался «побегом», а расправа была особенно жестока и скоропалительна. Впрочем, ересь всегда каралась жестоко, по отношению к ней любые пытки и изуверство лишь поощрялись.

Казалось бы, что безобиднее чисто философских рассуждений о диалектике, о единстве и борьбе противоположностей? Ну, действительно бывает, что в объекте научного изучения, в процессе природы или общества возникают противоречия, противоположности. Случается, что, наоборот, элементы социальной системы объединяются, подчиняясь общей цели. В природе, мышлении, социальной практике

и то и другое имеет место. Но Сталин делает упор исключительно на противоречия, словно процессов объединения не существует.

Множество реальных, а не мнимых противоречий возникло из-за этого бездоказательного и примитивного утверждения. Но, главное, какие практические выводы были сделаны из этой догмы, которая нигде не доказывалась, а лишь повторялась и утверждалась, сохранившись до наших дней. На основе этой «гениальной мысли» Сталин пришел к идее, что при социализме классовая борьба не затухает, а, наоборот, разгорается и обостряется. Сколько крови стране стоила эта идея, повторять нет смысла... Вопрос только в том, что стояло впереди: идеологическое клише или необходимость оправдания репрессий? Думается, что все же идеологическая догма: она давала возможность употребить ее в различных ситуациях. То есть делало ее безграничной, распылчатой.

Не менее характерно и другое: полное безразличие создателя канона и верующих в него к тому, что философско-религиозные догмы явно противоречат реалиям жизни. Нельзя сказать, что ошибки не замечались, — это было бы неверно. В том-то и дело, что их все видели, при необходимости тезис перетолковывался в иную сторону. В крайних случаях философское алиби сохранялось отпущением грехов: «Скажем диалектически — и да и нет!»

Согласитесь, странная, поразительная картина. Она неожиданно обнаруживает кровную близость сталинского идеологического канона к вере, к религиозным бездоказательным утверждениям. Перед нами некое «божественное» откровение, ведическое «знание», не подлежащее экспериментальной проверке или логическому испытанию. Объяснение причинности заменяется указанием: «Маркс писал...», «Ленин учит...» Одного упоминания имени было достаточно, чтобы считать свою точку зрения доказанной, а противника — опровергнутой.

Отношение к сталинскому канону как некоей святыне породило особый тип фанатиков культа, которые не моргнув глазом и ничтоже сумняшеся могли убить, написать донос, посадить человека в тюрьму. Из этой породы людей выходили и «железные прорабы», руководившие стройками, заводами, колхозами. Вооруженные наганом или маузером, одетые, как правило, в сталинские костюмы (френч, сапоги, фуражка, шинель), они командовали производством и людьми, уверенные в своей полной власти над ними. Власть, доходящая до возможности физического уничтожения непослушных. Предвидя этих людей, угадывая этот тип, поэт описал их:

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертва века.

...Сегодня мы много и обоснованно утверждаем, что политика должна быть нравственной. Под этим подразумевается, что в мире существуют высшие ценности, политические действия не имеют права их нарушать. Но в каноне Сталина заложена такая догма: «Практическая деятельность партии пролетариата должна основываться не на добрых пожеланиях «выдающихся лиц», не на требованиях «разума», «всеобщей морали» и т. п., а на закономерностях развития общества, на изучении этих закономерностей». Спрашивается, как должны были относиться к миролюбивым заверениям Сталина соседние государства, зная, что в любой момент политика нашей страны может измениться, если Сталин найдет, что такова «закономерность развития»?

Примат интереса над нормами общечеловеческой морали, над Добром и Злом, над Свободой и принципами демократии вообще характерен для «языческой» морали, она еще не доросла до высшей справедливости и идеалов нравственности, закрепленных в лучших догматах иудаизма, христианства, ислама.

Но, разумеется, и «языческая» мораль требовала оправдания в глазах людей! С этой целью сталинщина создавала особые мифы, которые внедрялись в головы масс, вбивались в них ежедневно и ежедневно. Так возникли иллюзии о беспрецедентном миролюбии, высшей демократичности и нравственности нашей страны и общества. Во многих случаях Сталин даже не находил нужным скрывать свои подлинные взгляды на эти ценности.

Казалось бы, что важнее для народа, строящего социализм, чем свобода и демократия? Послушаем Сталина: «У нас некоторые товарищи и некоторые организации фетишизируют вопрос о демократии, рассматривая его как нечто

абсолютное, вне времени и пространства. Я этим хочу сказать, что демократия не есть нечто данное для всех времен и условий, ибо бывают моменты, когда нет возможности и смысла проводить ее. Для того чтобы она, эта внутрипартийная демократия, стала возможной, нужны два условия или две группы условий, внутренних и внешних, без которых все говорить о демократии». Какие же это условия? Во-первых, «чтобы индустрия развивалась, чтобы материальное положение рабочего класса не ухудшалось, чтобы рабочий класс рос количественно, чтобы культурность рабочего класса поднималась и чтобы рабочий класс рос качественно». И, во-вторых, — мир с соседними государствами.

Заметим: речь идет о внутрипартийной демократии, о свободе мнений среди единомышленников-революционеров из числа тех, кому оказывалось самое высокое доверие! Что уж тут говорить об остальном народе? И как определить, что рабочий класс «растет качественно» — какие критерии тут следует применить? Не очевидно ли, что Сталин всегда предпочитал диктатуру личной власти любой демократии? И разве не ясно, что эти мысли любыми путями вдалбливались партии, всему народу?

Еще один миф — «мы самые миролюбивые». Эта иллюзия внедрялась разными методами — от прямого обмана до эстрадных песен, от кинофильмов до выступлений с высокими трибун. А теперь посмотрим, как началась советско-финская война.

Официальный миф, изложенный в справке «Фальсификация истории»: Финляндия развязала войну с Советским Союзом».

Возьмем в руки двухтомник «Бои в Финляндии», изданный в 1941 году. Здесь собраны воспоминания участников войны, которые «отредактированы» под официальный миф:

— «И вдруг оттуда, с урюмой финской стороны, резко гукнула пушка. Еще и еще. По воздуху с нарастающим воем пронесли снаряды».

После чего, как утверждают авторы и редакторы двухтомника, началась война.

Прошли годы, и вот воспоминания одного из участников совещания у Сталина в 1939 году, приведенные К. Симоновым: «Как началась финская война? Ленинградский фронт начал войну, не подготовившись к ней...» Такова реальность. До сих пор, правда, неизвестно, кто организовал провокацию, выстрелив из пушек.

Что бы мы сегодня сказали о политическом деятеле, вздумавшем решать территориальные проблемы таким образом?

Идолопоклонники

Странная это религия, культ личности! Каждый, кто находится внутри ее социального поля, не замечает, что он верующий. Спроси его напрямик, считает ли он себя атеистом, он гордо выпятит грудь: разумеется, кто в этом сомневается? Но если смотреть на то же поле со стороны, словно с трибуны стадиона — на футбол, то все слова, все поступки участников этого религиозного действия тут же преобразуются.

Нам, очевидно, следует внимательно, стараясь не оскорблять религиозных (именно религиозных, а не народных) чувств верующих в Сталина, не святотатствуя и не швыряясь ругательными эпитетами, словно булыжниками, проанализировать, кто же верит в культ личности сегодня? Каков облик этого специфического верующего?

Первая группа — верующие по интересам.

Многие из этой категории идолопоклонников запятали себя участием в репрессиях, нарушениями социалистической законности. Среди них часто встречаются также те, кто принадлежал к средней, высшей номенклатуре или принадлежит к ней сейчас.

Не всегда вера по «интересу» приземлена личными мотивами, порой она зиждилась на неправильном понимании интересов страны, дальнейшего развития общества. Некоторые полагали, что негоже выносить сор из советской избы и обижать наши противоречия перед Западом. Не всегда это лицемерие своекорыстно, порой оно исходит из благотельных побуждений. Да, Сталин — олицетворение зла, чудовищный нарост на здоровом теле, но при этом он выполнил благородную историческую функцию.

Иные искренне полагают, что, хотя их кумир и был некоторым образом воплощением зла, но при нем был элементарный порядок, который исчез за годы волюнтаризма и застоя.

Как мы видим, эта группа идолопоклонников отличается несколько странным отношением к своему кумиру — она верит в него, исходя из интересов. Для религии это в общем-то нехарактерно. В Сталине они так или иначе видели не только божественную, но и земную опору. Собственно конфессиональные мотивы здесь на втором плане, на передний выступают мирские тревожения и обиды. Если же мы хотим увидеть новые грани духовного облика идолопоклонника, то нам придется рисовать их психологические портреты. Можно назвать их своеобразными типами.

«СТРАУС». Как известно, он прячет голову в песок при опасности. И. В. Бестужев-Лада так описывает психологию подобного типа верующих в Сталина: это «часть людей пожилого и преклонного возраста, не сумевших пережить колоссального шока, который вызвали у всех нас, людей этого возраста, разоблачения, сделанные на XX съезде КПСС, и избравших способом существования позицию страуса, прячущего голову в песок при виде чего-то ужасного. Так проще. Так удобнее. Так спокойнее наседина со своей совестью. Так легче отвечать на вопрос сына, а теперь, наверно, уже и внука: «А что, отец (дед), был 1937 год или вам померещилось со страху?»

Не всегда «страус» молчалив и отделивается лишь несколькими словами и фразами от «обвинений» потомков. Бывает иначе. «Характерно, что защитников сталинизма вовсе не заботит, правда ли то, что пишут, или неправда, было или не было: знают — тут не опровергнешь, только спровоцируешь удешевленный поток разоблачительных фактов», — пишет Андрей Нуйкин. — А посему лозунг один: не замай!»

Здесь тонко подмечены извивы верующей души, которая отнюдь не хочет развенчания кумира, полагая такое разоблачение святотатством, оскорблением религиозного чувства (последнее — абсолютно верно!). «Страусу» вовсе нет дела до фактов и истины, он жаждет иного: почтения к своему идолу. Жаждет безмотивно, вопреки доказательствам и доводам рассудка — как истинно верующий человек!

«КОНФОРМИСТ». Во времена культа личности он занимал, как правило, низшее положение в агрессивной системе, это тот «винтик» или «гаечка», которые «без шума и треска» строили новую жизнь. Впрочем, на любой ступени иерархической лестницы можно было обнаружить такие «винтики»: ведь они выполняли чужие приказы без рассуждения, без возражения. Отсюда — «вирус безответственности», полное пренебрежение общественными и государственными интересами во имя выполнения приказа, плана.

Известно, что конформисты есть в любом обществе. Но только в том, где царил (или царит до сих пор) культ личности, этот тип становится социально массовым. А потому — особенно опасным, поскольку влияет на положение дел в обществе, на его нравы, ценности и идеалы. Если посмотреть, кому мы обязаны всей антиэкологической линией, то без труда увидим у ее начала миллионы конформистов, которые энергично, с энтузиазмом исполняли аморальные приказы.

Характерно, что наряду с «конформистами» культ личности воспитывал и других, которые не молчали, но действовали. Писали, активно добиваясь принятия каких-то мер. Они исповедовали принцип: «Все мы рады попасть в рай, да грехи не пускают!»

Поскольку «рай» на земле был почти рядом, настолько близок, что его место точно привязывалось к шкале ближайшего времени — к следующей сталинской пятилетке, то дело оставалось за малым: разоблачить грехи остальных граждан, мешающих обществу въехать в рай.

Оущение греховности (не всегда, впрочем, чужой, иногда и собственной; отсюда масса самооговоров, имевших место в те времена) оказало сильнейшее влияние на нравственный климат сталинской эпохи, породив специфическую фигуру «ДОНОСЧИКА». Он не брезговал подметными письмами, полагая, что вершит справедливость. Писали не только из подлости, но и в уверенности, что это единственный путь борьбы с «вредителями», с «врагами народа». Число доносов поразительно велико! Если кто-то думает, будто не народ, а кто-то со стороны навлекал на него искупительные жертвы культа, тот ошибается, не будучи осведомленным о числе доносов. Своего апогея «разоблачительные» письма достигли в пик репрессий — 1937 год, когда в доносы была втянута чуть не поголовно вся страна. Организовывались массовые движения рабселькоров, тайных осведомителей, анонимов...

Вот, к примеру, что писали в то время о рабселькорах:

«Вместе с прокуратурой они единым фронтом выступили против врагов народа, разоблачая вредителей и расхитителей социалистической собственности. Набатным колоколом часто звучат рабселькорские заметки, призывающие нас не забывать слов руководителя доблестной советской разведки т. Н. И. Ежова о том, что «чем сильнее мы становимся, чем мы становимся богаче, тем больше злобы мы вызываем у оголтелой своры фашиствующей буржуазии, которая готовится к войне с нами и которая пока что засылает нам пачками шпионов, диверсантов и вредителей...»

Органами прокуратуры в 1937 году на Украине было получено и взято на учет 54 825 рабселькорских писем. Проверка и расследование «подтвердили правильность 42 500 заметок, то есть 77,4 процента. При этом делался вывод, что «немалая доля вины в том, что 22,6 процента заметок рабселькоров не подтвердились, лежит и на органах прокуратуры».

Вот масштабы доносов — и это только на Украине, а что в других республиках? И только ведь в прокуратуру, а не в «органы внутренних дел», куда поступало больше всего «заметок», доносов и анонимок. Я называю эти «заметки» доносами потому, что рабочий или сельский корреспондент пишет в газету, журнал, но никак не в прокуратуру. Стоит добавить, пожалуй, что частенько доносы направлялись не в газету, не в прокуратуру или органы госбезопасности, внутренних дел, а... в партийную организацию! Это типичные доносы, а в партийные органы они направляются по простой причине: «доносчик» (с каким сожалением приходится ставить здесь кавычки! Но ничего не поделаешь, я пишу о типе идолопоклонников) рассматривает партию по-сталински, именно как орден меченосцев, призванный расправляться с еретиком огнем и железом.

Власть, конечно, поощряла «доносчика» в его святом служении культу. Вознаграждение не всегда было чисто денежным, порой мздой служила часть конфискованной у грешника собственности, его крестьянский дом, «кулацкое» хозяйство. Иногда донос был платой за собственное спасение от расправы.

«ЯНУС». Раздвоение личности, когда одна ее ипостась идейно и нравственно отличается от другой, противоречит первой, не новость для любого общества. Во все времена двуликий Янус считался нравственным уродом, а прямота, честность, твердость в убеждениях перед лицом опасности почитались как образцы добродетели. В период культа личности Сталина двуликость, когда человек на глазах исповедует одно, а за глаза, под одеялом, за запертой квартирной дверью — совершенно другое, стала явлением социальным, массовым. Она захватила все слои общества, особенно его верхние этажи и номенклатуру. Но и «низы» были деморализованы, прибегая к двуличности, чтобы сохраниться физически, не попасть за решетку. Различие двух стилей мышления, нравственности и поведения постепенно превратилось в привычку, вросло в плоть и кровь каждого из нас.

«ОЛИМПИЙЦЫ». Язычество как культ живых или недавно умерших «богов» включает в себя веру не только в главного «бога» — некоего «Зевса», но и признание целого сонма «богов» — его друзей, сподвижников, соратников... Слава небожителя тенью ложится на остальных «богов-олимпийцев», как бы окрыляя их, возводя в сан бессмертных, которых следует почитать и уважать.

С возникновением культа Сталина произошло обожествление не только его, но и его ближайшего окружения, исполнителей его воли и желаний. А его противники — высокого ранга, разумеется! — тут же заслужили чин антихриста, дьявола.

Критика «бога» вызывает у его приверженцев неподдельную ярость, поскольку разжигает религиозное чувство, не соглашающееся с какими бы то ни было доводами разума. Оскорбленное, оно способно доходить до высокого накала, образуя весьма знакомый нам по другим конфессиям тип религиозного «ФАНАТИКА», готового порой жертвовать интересами общества, семьи, своего окружения — во имя оправдания своего бога и восстановления предуказанной им справедливости.

«Фанатик» не задумывается над реальной обстановкой, в которой он проповедует свои идеи и веру; он излагает их так, будто они изначально справедливы, должны восприниматься как откровение и проводиться в жизнь с неукоснительностью закона механики.

Тяжко признать, но ведь и со стороны критиков Сталина тоже немало людей, буквально одержимых страстью к разоблачениям. Они рассматривают Сталина не как обыкновен-

ного человека, преследовавшего свои корыстные цели, то есть создателя и устроителя своего культа, а как некую демоническую личность, вершителя Всемирного Зла. Снять религиозный флер можно лишь, если все аргументы «за» и «против» будут взвешиваться на весах разума. Потому что обличение Сталина средствами религиозного его уничижения, доведения его до звания Антихриста в конечном счете так же мало способствует разоблачению культа личности, как борьба с «религиозными предрассудками» — при помощи примитивной атеистической пропаганды о том, что бога на небе нет — космонавты летали и нигде его не видели...

Вглядываясь в облик верующих в Сталина как в бога или как в дьявола, мы видим любопытную картину: ведь, по сути дела, мы пишем психологические портреты «язычников»! Многие думают, что это какие-то дикари, варвары, канибалы, танцующие в набедренных повязках у жертвенного костра, — выясняется, что это совершенно не так. Такие же люди, как и прочие. У них лишь деформирована духовная сфера, снижена нравственность — по сравнению с теми идеалами, которые начертаны, к примеру, на знаменах христианства. Современные «язычники» могут быть образованными, владеть знаниями XX века в том их объеме, который представляют к их услугам научные библиотеки и институты. Среди них немало писателей, ученых. Несомненно лишь одно: они полные невежды в том, что касается их собственного мировоззрения. Они — не всегда, но весьма часто — не подозревают, что они верующие. Что стереотипы их мышления относятся к исчезнувшим еще в те века, когда в сознании передовых народов утвердился монотеизм. «Язычество» — термин богословский, он обозначает все, что лежит за гранью монотеизма. В течение двух тысячелетий среди большинства передовых наций боролось и победило единобожие. Но рецидивы «язычества», как мы видим, вполне возможны. И немало народов мира сделали в своем духовном развитии сложную петлю, затянувшуюся на шеях миллионов братьев по крови. В этом исторический урок культа личности в тех его видах, которые стали известны в XX веке в фашистской Германии, в Советском Союзе, в Китае...

Дымный «шлейф»

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня».

Ветхий завет. Вторая книга Моисеева. Исход, гл. 20, §§ 4, 5.

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим».

Новый завет. Евангелие от Матфея; гл. 24, §§ 4, 5.

«Неужели ты идолов превращаешь в богов? Я вижу, что ты и твой народ — в явном заблуждении».

Коран, сура 6, аят 74.

После 50-х годов ушло безоглядное обожествление лидеров партии и государства. Общество изменилось. Но переменялась ли общественная обстановка в целом?

Несомненно, что Н. С. Хрущев несколько расшатал эгрессивную систему, сформированную Сталиным. Его попытки создать параллелизмы и многоцентризм в экономике (совнархозы), «раздвоить» партию на сельскую и городскую, прекращение массовых репрессий, стремление не столько «отстреливать», сколько тянуть за собой «своих», послабления в области книжно-издательской деятельности, журнальных публикаций в первые годы после XX съезда у многих создали впечатление, будто «номенклатурная революция» продолжается и с культом личности мы покончим.

Но уже вскоре появились первые признаки попятных движений — назад, к культу, теперь уже Хрущева... Его ссоры с учеными, разгром «Оттепели» И. Еренбурга, травля Б. Пастернака, скульптора Э. Неизвестного, поэтов А. Вознесенского, Е. Евтушенко и многих других — все это породило сильный «качок» вправо. Он был изолирован, окружен небольшой верхушкой приближенных, которые, недавно по-

пав на самый верхний этаж номенклатуры, быстро начали перерождаться. Утвердился и свой первосвященник — М. А. Суслов, серый кардинал, который правил страной именем новоявленного «бога». Окрепла номенклатура, добившаяся еще большей власти, получившая уверенность в своей безнаказанности.

Короче, оказавшись на вершине созданной Сталиным системы, Хрущев не только не сумел перекроить его «сбрую», но и сам забрался в «седло» культа, небезуспешно продержавшись на коне до октября 1964 года. Лагерей, правда, стало чуть поменьше. Зато выросло количество психушек, куда стали заключать инакомыслящих, поскольку Хрущев заявил, что в Советском Союзе нет политических преступлений. Остальное сохранилось... И слетел он со своего кресла отнюдь не за попытки ликвидировать культ личности, а из-за неумолимого стремления насильно, сверху внедрить некое равенство номенклатуры и «низов», отобрать у аппаратчиков машины и дачи.

После октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС, когда, по выражению кого-то из западных журналистов, «самый говорливый политик эпохи ушел со сцены молча», к власти пришел Л. И. Брежнев, на первых порах тоже взявшийся реформировать агрессивную систему правления. Попытки внедрить экономическую реформу, однако, ни к чему не привели. Все вернулось на круги своя! Мнение, что ни Хрущев, ни Брежнев не обожествлялись, а следовательно, культ личности остался позади, в 50-х годах, маскировало истинное положение дел в обществе.

Что же фактически произошло после смерти Сталина и XX съезда? Сохранилась оболочка, форма культа личности, но верить в новых «богов» по-настоящему, истоно, как верили в Сталина, было уже невозможно! Разоблачение одного культа бросало тень на зарождавшиеся новые. О Хрущеве и Брежневе появились сотни и тысячи анекдотов, их не могли остановить уголовные процессы. Возник самиздат, появились диссиденты — все это было просто невозможно при Сталине!

Куль личности дал решительную трещину, годы застоя лишь отодвигали близящийся предел терпения, обнаруживая экономический и политический крах сталинского пути. Он не вел вперед. Прогресс становился фикцией сознания, галлюцинацией. Делегаты съездов партии хлопали в ладоши докладам генсека и открыто смеялись над ним. Неуважение к новоявленным кумирам достигало открытого неповиновения, которое гасилось привычными приемами аппарата подавления. Идолы менялись и тут же сбрасывались с пьедестала почета. Впрочем, поругание идола — характернейшая черта язычества вообще. Если кумир не исполнил желания — в грязь его, в реку, в огонь! Уважения к богам у идолопоклонников нет, мы напрасно отождествляем мораль монотеиста и мораль язычника, они во многом разные.

Куль верховного владыки при Хрущеве и Брежневе ослабел. Но суть не изменилась. Куль Сталина — начало, последующие культы и культ личности — продолжение того же явления, но в исторически иной форме.

Словно именно об этом времени Б. Пастернак сказал высоким пророческим слогом:

Светало. За Владикавказом
Чернело что-то. Тяжело
Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.

Народ, как всегда, настроенный саркастически, написал эпиграмму на свою эпоху:

Передают по радио указ,
Переменяя музыкой и плачем:
«Один светильник разума угас.
Другой светильник разума назначен...»

Лично мне ситуация в стране после XX съезда чем-то напоминает сцену, свидетелем которой довелось быть в 1956 году на Сахалине. В Южно-Сахалинске на привокзальной площади, от которой начинался проспект имени Сталина, на бетонном постаменте высилась бронзовая фигура великого Вождя и Учителя. Однажды к ней подъехал трактор, водитель захлестнул вокруг шеи Отца народов стальной трос, двинул рычагом, сдернул и поволок статую по мостовой. Но не всю! От сильного рывка она обломилась у колен, и сапоги еще неделю торчали на постаменте, приводя иных в ужас и вызывая у других издевательскую улыбку.

Несомненно, к нашему времени сама идея культа личности себя изжила, она исторически опозорена и вызывает ныне

лишь холодную презрительную усмешку, но никак не трепет. Происходит раскрепощение сознания. Письма антисталинистов, статьи, воспоминания, художественные произведения, опубликованные в течение нескольких лет перестройки, обнажили отвратительные и тяжкие последствия культа личности — кто же теперь станет его строить?

Не претерпела, однако, существенных изменений главная опора культа личности — агрессивная система правления. Попытки «разбить» аппарат, сломать номенклатуру, создать многоцентризм и параллелизм внутри управления наталкиваются на ожесточенное сопротивление. Некоторые экономисты полагают, что эти попытки не увенчаются успехом до тех пор, пока хозяйственная система не включит в себя «независимые производственные единицы». Разумеется, «независимые экономические субъекты» способны хоть как-то, хоть чем-то противостоять эггессии! До определенной степени можно надеяться и на десятки тысяч неформальных объединений, которые созданы сейчас по всем городам и весям.

Во всяком случае, в обществе чувствуется тяга к тому, чтобы покончить с культом личности. Для этого надо бы прежде всего сломать его механизм... В самом общем виде можно сказать, что нет такого аспекта в социальной жизни, который не испытал бы на себе жесткого и мощного давления культа личности. Он сумел наложить свой отпечаток буквально на все стороны нашего духовного, нравственного и материального бытия. И нам придется поворачивать свое мышление, свою нравственность целиком и полностью, как груженный корабль разворачивается в гавани.

Проблема, как мне кажется, заключается не в том, чтобы указать на последствия культа личности, который мы рассматривали под весьма специфическим углом зрения — социологии религии. Разумеется, за культом Сталина скрываются факторы, напрямую не связанные с религиоведческой проблематикой, многие его компоненты формировались под сильным влиянием социально-экономических процессов, которые по необходимости объясняются иначе. Читатель, видимо, почувствовал, что этот анализ совершенно неожиданно образом связал между собой, казалось бы, далекие друг от друга феномены. И ясно почему. С самых древних времен в социальном поле располагаются некоторые явления и институты, возникшие в момент выделения человечества из лона биоэволюции. История не знала общества без религии, искусства, этноса, инакомыслия... Ни один народ, ни одно племя не мыслит себя без них. Все наши поступки, само мышление запрограммированы древнейшим ядром социальных явлений. Отступление в одном секторе этого туго сплетенного клубка неминуемо вызывает деформацию других секторов сознания. Стоило нам тронуть религию, отступить от монобожия назад, к политеизму, как закачалось, пришло в неустойчивое, хаотическое состояние целиком все ядро. Чего теперь удивляться тому, что религия и церковь стали популярны? Дело обстоит просто: мы желаем догнать то, что волею истории оказалось впереди, поскольку культ личности отбросил нас к нравственному и духовному уровню, который существовал на Руси до ее крещения.

Некогда, в 30-е годы, мы собирались пробежать расстояние, отделяющее нас от передовых стран, за 10—15 лет, иначе, дескать, «сомнут». Легко ли теперь пробежать за считанные годы тысячелетнее отставание?

С этой точки зрения самым страшным последствием культа личности оказались даже не кровавые репрессии, приведшие к гибели миллионов (хотя, казалось бы, что может быть ужаснее?!), но то, что культ личности нарушил и расстроил технологию формирования культуры. Все системы нашего бытия активно подвергаются деструкции. Мы не сделали пока ни одного шага по пути продуцирования культуры, кроме одного: осознали, наконец, что падаем в пропасть.

Как долго продолжится это захватывающее дух историческое падение? Сколько еще будет пролито крови? И смеем ли мы в конце концов остановиться, зацепившись за какой-нибудь кустик на склоне? Или упадем сами и потащим за собой планету?

Никто не ведаст. Но, думается, остановка произойдет не раньше, чем минуют три-четыре поколения. Ибо наказаны будут «дети за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня». Мы пренебрегли предостережением — не слишком ли дорого это обошлось? Да и сапоги все еще крепко стоят на пьедестале...

Культура и искусство

Борис
ЗАБОЛОТСКИХ

МСТИСЛАВОВА ГРАМОТА

В 1804 году тридцатисемилетний Евфимий Болховитинов, в монастыре Евгений, был возведен в высокий сан викария новгородского.

Сообщая московскому приятелю о столь крутой перемене в своей судьбе, он особо ликовал по поводу того, что попал в Новгород.

«Новгород мне нравится самыми своими селами и мещанхолической унылостью. Я часто со вздохами взираю на место Ярославова двора, на руины Княжеского дома, на щепень Марфиных палат. А Софийский собор — палладиум древних новгородцев! Он много видал происшествий славных и позорных, радостных и плачевных. Он все их пережил, был увешиваем и трофеями и омываем слезами. И он-то у меня перед окнами. Глядя на него, я часто разворачиваю новгородскую летопись, писанную точным старинным языком новгородцев. Читая ее, я сам себе кажусь существующим за несколько веков перед сим. К сожалению, досуга у меня немного. Иначе я бы мог открыть здесь многое сокровенное от русских историописателей».

Весной того же 1804 года, едва прошумели вешние воды и подсохли просеки дороги, Болховитинов, вознамерившись обозреть свои владения, отправился с «ревизией» в близлежащий Юрьев монастырь. Однако не желая выказывать себя «новой метлой», он загодя дал знать настоятелю о предстоящем визите. Тот, понятно, бросился наводить порядок, чтобы не ударить в грязь лицом перед новым начальством.

До Юрьева монастыря, отстоявшего от города в нескольких верстах, можно было добраться двумя путями: верхней дорогой, весьма удобной для передвижения в экипаже; но довольно однообразной и скучной для путешественника; или нижней, проходившей по-над Волховом, очень живописной, но по весне малопросежей. Болховитинов избрал последний маршрут.

Коляска уже приближалась к монастырю, как вдруг из ворот его выкатил воз и направился к реке. «Что бы это значило?» — удивился викарий и, поравнявшись с возницей, окликнул его:

— Куда держишь путь? Что везешь?

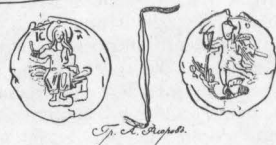
— Разный сор и хлам, — отвечал инок, сопровождавший груз. — Приказано выбросить все в реку.

— И что это за сор?

Инок откинул рогожу. Под ней лежали сваленные грудой старые и разбитые книги, грязные пергаментные обрывки. От праведного негодования у Болховитинова перехватило дух. Когда он вновь обрел дар речи, то строго приказал везти все обратно.

В монастыре он устроил форменный разнос настоятелю. Под конец объявил:

† СЕАЗМЛСТНСЛАВЪ КОЛОДАНЪ БЪНДЪ ЖАРОУ
СЪСКОУЗЕМАНИЕ СЯ И КНАЖИНИ ПОВЕЛЪ БЪ
СЛАСНОУСЪ ОНДОУ ВСЕ БОЛОДОУ ОДАТИ СЯ
ЦЪ СТОМОУ ГЕОРГИЕВИ СЪСЛАНИЮ НЕЗНАРАМИНЕ
ПРОДАЖАМИ НА ДЖЕКОТОРЫИ КНАЗЪ ПОМОЩЬ КНА
ЖЕНИИ ПОУЧЕТИ ХОТѢТИ ОУМЪ ТНУ СТОМОУ ГЕОРГИ
И А БЪ БОУДЪ ТЪ СЛАВЪ СТОМОУ ГЕОРГИЕВИ
РТИ ОУ НЕГО ТЪ СТОМОУ ГЕОРГИЕВИ
НЕЗНАРАТИ А ОНДѢ ЖЕ СЛАВЪ СТОМОУ ГЕОРГИЕВИ
МОАТЕЕ АЗМАЛАНЪ МОБѢТИ КТО САНЪ ОСТА
НЕТЪ БЪ МАНАСТЪРН ТО КЪ ТЪ СЛАВЪ БЪ ЖЕНИИ
СТЕАЛОАТИНЪ АНЪ БАН ПРНЖЕАТЪ НЕЗНАЛА
РТИ АНЪ АЗМАЛАНЪ ОУ КАНЕВОЮ НРЕННИИ ПО
ЛЮАНДЪ АРОВАНОЕ ПОАХЪ РТИ НА ДЕСАТЕ РТИ
БЪНІСТМОУ ЖЕ ГЕОРГИЕВИ СЪСЛАНИЮ ВСЕ БОЛОДЪ
ПЪСЛАВЪ БОДО СЕРЕБРЯНО БЪ А ГРНЪ СЕРЕБРА
СТАМОУ ЖЕ ГЕОРГИЕВИ БЪ ВЕЛЪ СЛАВЪ БЪ
НИИ ОЕБѢ КОЛАНГОУМЕНЪ ОЕБѢ ДА КЪ
ДАЖЕ КТО АЗЪ РТИНЪ АНТОУ ДАНЪ НЕ КЛИ
ДО АА СОУДАТАМЪ АНЪ ОУМЪ СЪСЛА
НЪ БО ОНТО АСТЪНІИ АНЪ



— Раз монастырю не нужны эти книги и документы, то я забираю их себе!

Уподобившись записному архивариусу, Болховитинов несколько дней подряд разбирал случайно обретенную им книжную залежь. Находки опережали одна другую. Следом за древними рукописными «Евангелиями» обнаружился никому не известные «Жития святых» XII—XIII веков, фрагменты старинных теологических статей. Наконец, когда наступил черед разбирать пергаменты, он наткнулся на древние документы, и среди них — на сложный в несколько раз лист. Едва рука коснулась его, как изнутри выпала свинцовая облатка с неясными рисунками. Стало ясно, что это печать, какими в прошлые времена скрепляли официальные документы, а сам пергаментный лист — не что иное, как древняя грамота.

Осторожно Болховитинов развернул ветхий лист. Текст, к сожалению, оказалось невозможно разобрать из-за толстого слоя спекшейся грязи, покрывавшей поверхность. Много лучше сохранилась печать. После небольшой чистки на одной ее стороне проступило изображение Спасителя, на другой — архангела Михаила, поражающего копьем змия.

Немало трудов потребовала расчистка грамоты. Затем началась ее расшифровка. Написана грамота была крупным уставным почерком. Буквы, поставленные одна возле другой, как солдаты, располагались по линиям, прочерченным не то лезвием ножа, не то острием иглы, да так глубоко, что пергамент кое-где оказался прорезанным насковозь.

Далеко не скоро, но все же текст грамоты составил:

«Се азъ Мъстиславъ Володимиръ снъ държа роусьскоу землю въ свое княжение повелелъ емь сноу своему Всеслоду отдати... цъ стмоу Георгиеви съ данию и съ вирами и съ продажами даже который князь помоемъ княжении почнеть хотети отъяти оу стаго Георгия. А бъ буди за темъ и стая бца и ть стый Георгий оу него то отимають и ты игоуменс... и Вы братис донележе ся миръ състоитъ. Молите ба за мя и за мое дети. Кто изостаенъ в монастыри. То Вы темъ дължны истемолити за ны ба и при животе и въ смърти. а язъ далъ роукоу своєю. и оченнее полюдне дарованное полътретидесяте гривнь стмоу же Георгиеви. а се я Всеслодъ далъ емь блюдо серебряно. Въ л гривъ серебра. Стмоу же Георгиеви велелъ емь бити в не на обеде коли игоумень обдасть, даже кто запъртити или тоу дань и се блюдо, да соудити стмоу бъ въ днь пришьствия своего и ть сьси и Георгии».

Однако при всем старании три места в грамоте так и остались неразобранными: в третьей строке, после слова «отда-

ти», в девятой, после слова «игомене». Последнее «белое пятно» — приписка между строк, над словом «продажами», сделанная чрезвычайно мелким почерком.

Древние русские грамоты никогда не датировались. Время их написания устанавливалось по именам, встречающимся в тексте. В данном случае определителями служили имена князей Мстислава Владимировича и его сына, Всеволода Мстиславича. В новгородских летописях сказано, что Мстислав Владимирович правил в XII веке. В 6625 (1117) году перешел на княжение в Белгородок, что близ Киева, а в 6633 (1125) году, по смерти отца своего, Владимира Мономаха, вступил на великое княжение Киевское и оставался великим князем Киевским до 1132 года, до своей кончины.

Сын его, Всеволод Мстиславич, по отъезде отца принял в 1125 году удельное Новгородское княжение. В Новгороде он оставался до 1136 года, а затем был изгнан за «потерю» сражения с суздальцами и ростовцами. Незадачливый полководец удалился в Киев, к своему дяде великому князю Ярополку Владимировичу, который выделил ему удел в Вышгороде. Вскоре псковичи приняли его к себе на княжение. В Пскове Всеволод пробыл один год, где и скончался в апреле 1138 года.

Поскольку в грамоте главной персоной выступал Мстислав Владимирович, то время ее написания Болховитинов поначалу определил с большим приближением, в период с 1125 по 1132 год. В последующем он пришел к выводу, что скорее всего князь выдал грамоту Юрьеву монастырю в радостный для себя момент — в день отъезда в Киев на великое княжение, то есть в 1125 году!

Покончив с одной проблемой, он взялся за другую. Теперь требовалось установить степень старшинства обнаруженной «грамоты Мстислава».

В ту пору российская палеография еще только делала свои первые шаги. Никаких научных исследований о древних отечественных юридических актах не имелось. Правда, в 1802 году в Геттингене вышел на немецком языке двухтомный труд А. Л. Шлэцера под названием «Нестор», обращенный к русским летописям, в котором указывалось, что наидревнейшая из российских грамот относится ко времени правления великого князя Андрея Боголюбского и датируется 1158 годом. Шлэцер лично не видел этого древнего документа, но по его свидетельству, подтверждавшему реальность существования грамоты, ее держал в руках управляющий Московским государственным архивом Коллегии иностранных дел известный историк Герард Фридрих Миллер. Впрочем, преемник его, Иван Стриттер, подвергал сомнению наличие в фондах архива столь древнего документа. По его словам, старейший из них датировался 1265 годом.

Ознакомившись с указанными историческими материалами, Болховитинов испытал сильнейшее потрясение. Ведь получалось, что найденная им грамота почти на полтора столетия превосходила самый древний из всех известных документов отечественной истории!

Обосновавшись в Новгороде, Болховитинов почти все летнее время проводил в Хутыне — старинном монастыре, бывшем в десяти верстах к северу от города, на большой московской дороге. Основанный еще в 1192 году на правом берегу Волхова, он поражал своими живописными окрестностями.

Под воздействием здешних красот Болховитинов даже обратился к поэзии:

Мой сад не английский, но фруктов в оном боле;
Они сочной Петропольских, растущих поневоле;
Театр мой — целый сад, музыка — птичек хоры,
Мой пышный двор — друзей любезных разговоры;
Мой Эрмитаж — в саду, в сгустившихся кустах;
Моя Кунсткамера — в снопах и в закромах;
Вся Академия — природа предо мной;
В ней лучше учиться и сердце и ум мой.

Впрочем, в свою «Академию» Болховитинов хаживал не столь уж часто, занятый делами. Большую часть дня он проводил за работой, усердно трудясь над «Словарем русских писателей». Начальные статьи из него в 1805 году появились в московском журнале «Друг Просвещения».

Издатели журнала, в первую очередь граф Дмитрий Иванович Хвостов, всячески торопили его с присылкой очередных статей. Болховитинов обещал, но дело продвигалось вперед крайне медленно из-за нехватки материала. В мае 1805 года он обратился к Хвостову:

«Вам коротко знаком Державин. А у меня нет ни малейших черт его жизни. Буква же «Д» близко. Напишите, сделайте милость, к нему и попросите его именем всех литераторов почитающих его, чтобы вам сообщили записки: 1) которого года, месяца и числа он родился и где, а также нечто хотя о родителях его; 2) где воспитывался и чему учился; 3) хотя самое краткое начертание его службы; 4) с которого года начал писать и издавать сочинения свои и которое из них было самое первое; 5) не сообщит ли каких о себе и анекдотов, до литературы касающихся? Он живет теперь от Новгорода верстах в 30, но никогда сюда не ездит и мне незнаком».

Хвостов немедленно связался с Державиным, отдохнувшим в своем новгородском имении Званка, и слезно просил сообщить Болховитинову свои биографические данные для помещения в «Друге Просвещения». Одновременно он выслал рекомендательное письмо в Хутынь.

Не без волнения Болховитинов отправился в Званку, к знаменитому поэту.

Державин, отличавшийся радушием, весьма любезно встретил гостя, а в конце августа нанес ответный визит. С собой он привез краткую автобиографию, снабженную примечаниями ко всем крупным произведениям.

В таком виде биография поэта и увидела свет в третьем номере «Друга Просвещения» за 1806 год. А позднее безо всяких изменений перешла в отдельное издание «Словаря русских писателей».

Тогда, в Хутыне, Болховитинов и пробудил нескрываемый интерес поэта к своим изысканиям.

— Первые слова Мстиславовой грамоты, — объяснял он, — «се азъ». Так начинаются почти все наши древние грамоты, жалованные на какие-нибудь имущества или имения и вклады монастырям. Местоимение «азъ» встречается и в других формах — «язъ» и «я». Очевидно, все они находились в то время в употреблении. Но в княжеских грамотах последующего периода, вплоть до середины XVII века, писалось только «язъ».

Объяснений потребовали многие места в тексте грамоты, в частности: «държа роуськоу землю въ свое княжение».

— Речь идет о государственной власти. К тому времени, — продолжал Болховитинов, — Мстислав уже находился на великокняжеском Киевском престоле, то есть после 1125 года. Тогда Русью назывался собственно Киев с околележащими областями.

Удивило Державина упоминание в грамоте про Юрьев монастырь.

— Неужто он уже тогда существовал?

— А как же. Юрьев монастырь — один из старейших. По мнению Татищева, он основан еще Ярославом Первым, в крещении именовавшимся Георгием. Отсюда и название.

Болховитинов исчерпывающе прокомментировал и слова: «Съ данию и съ вирами и съ продажами».

— Это самая тяжелая для истолкования часть грамоты, — признался он. — Слова «дань» и «продажа» — греческие. Они имеют несколько значений. Татищев указывает три значения слова «дань»: ежегодный оброк, устанавливаемый для подданных государем; сбор с населения на какой-то незапланированный, чрезвычайный государственный расход; ежегодная выплата одного народа другому народу. Под словом «продажа» разумеется пеня, взимаемая князем за ведение уголовных и исковых дел. Из статей «Правды Русской» видно, что в XI веке так называлась и отступная плата изувеченному или избитому. Несколько позднее под словом «продажа» подразумевалась взятка. Что касается «виры», то это — денежная пеня, назначаемая за совершенное преступление вместо смертной казни.

— Да вы провели целое научное исследование!

— К сожалению, столь скрупулезный анализ сделан лишь до середины текста. Далее, что называется, — дремучий лес.

— Ничего, — успокоительно откликнулся Державин. — Главное не спешить с обнародованием сделанного открытия до полного разъяснения грамоты. Тут ни в чем нельзя ошибиться, иначе вас непременно заклюют наши доморощенные палеографы из зависти.

В конце 1807 года на открытых испытаниях учащихся в Новгородской духовной семинарии Болховитинов при огромном стечении публики огласил свое «Рассуждение о древностях Великого Новгорода». Цель лекции — привлечь внимание к отечественной истории. Реакция присутствующих превзошла все ожидания. В ближайшие две недели ему пришлось еще дважды выступить с лекциями, слушавшими продолжением первой.

В начале следующего года все три лекции отпечатали в Москве отдельной книжкой под названием «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода». Быстрому выходу книги из печати в немалой степени способствовал содержатель университетской книжной лавки Семен Аникеевич Селивановский, приходившийся Болховитинову дальним родственником.

Одним из первых, кто получил «Исторические разговоры» с дарственной надписью от сочинителя, был Державин.

Поэт со всем вниманием прочел книгу. Особенно его заинтересовал «Первый разговор» — «О многолюдстве древнего Новгорода». Приведенные свидетельства летописцев поражали: даже не верилось, что нынешний захолустный городок в далеком прошлом был огромным городом. Однако цифры говорили сами за себя, — только в 1467 году в Новгороде умерло от моровой язвы почти пятьдесят тысяч человек. Другой разительный пример относился к 1489 году, — тогда по приказу великого князя Иоанна Васильевича из Новгорода выселили в другие города более тысячи боярских и купеческих семей!

С любопытной книжной новинкой Державин поспешил ознакомить члена Российской Академии наук Алексея Николаевича Оленина, большого знатока отечественной истории и палеографии, а тот в свою очередь — сочлена по Российской Академии графа Николая Петровича Румянцева, известного собирателя русских древностей.

— Теперь мне понятно, почему в старину говорили: кто может против бога и против Великого Новгорода! — заметил Румянцев по прочтении книги и уважительно добавил: — Судя по слогу и содержанию, «Исторические разговоры» принадлежат сочинителю, стяжавшему обширные сведения в отечественной истории.

Болховитинов, в 1808 году ставший епископом в Вологде, не скоро появился в Петербурге. Но стоило ему приехать в столицу по делам службы, как Державин поспешил отвести его в старинный дом на Английской набережной, построенный фельдмаршалом П. А. Румянцевым-Задунайским, отцом Н. П. Румянцева.

Глубина исторических познаний и ясность суждений Болховитинова произвели на Румянцева сильное впечатление. В последующем всякий раз, при возникновении каких-либо «исторических недоумений», он неизменно обращался за справкой к нему.

В 1812 году французская армия вторглась в пределы России. Румянцев, занимавший в то время пост государственного канцлера, тяжело перенес крушение своей внешней политики: он был сторонником сближения с Францией. Известие о вступлении Наполеона в пределы России настолько потрясло Румянцева, что с ним сделался апоплексический удар и он навсегда лишился слуха. С окружающими канцлер общался посредством аспидной доски и мела — на ней писались обращенные к нему вопросы, а он давал устные ответы.

Утром 20 февраля 1813 года Румянцева навестил его брат, Сергей Петрович. В кабинете, помимо них, находился еще секретарь. Разобрав утреннюю почту, он поставил перед канцлером поднос с наиболее важной корреспонденцией.

Тот заинтересовался пухлым конвертом.

— Что это?

Секретарь поспешно чиркнул на аспидной доске: «Пакет из Вологды».

— От Болховитинова! — оживился канцлер. — Ну-ка вскрой!

В пакете оказалась объемистая рукопись с приложением в виде ветхого пергаментного листа, с привешенной к нему свинцовой печатью. Перебросив рукопись брату, канцлер углубился в чтение сопроводительного письма, а затем обратился к пергаментной грамоте. И так и эдак щупал и рассматривал ее на свет, а под конец восторженно возгласил:

— Чудо да и только, — 1125 год!

Сергей Петрович, скептически относившийся к подобного рода открытиям, вывел мелком на доске: «Подделка!» — и выразительно указал на шнуток при печати.

Канцлер рассердился.

— Экий ты, Фома неверующий!.. Шнуток действительно новый, поскольку прежний сопрел, но печать доподлинная, старинная. В пользу древности грамоты говорит и почерк, коим она написана, а также и само правописание. Убедительны, на мой взгляд, и прочие доводы Болховитинова, свидетельствующие об исключительной старине его находки!



Делая вид, будто не замечает скептической гримасы, промелькнувшей на лице брата, принялся читать вслух присланный из Вологды трактат:

— «Древние наши рукописи в каждом почти веке имеют некоторые отличные буквы, а потому можно бы их по примеру Гаттереру различить на классы... В сей грамоте отличные буквы, принадлежащие собственно XI, XII и XIII векам, суть, во-первых, связанное доегласное «іе», употреблявшееся там, где мы произносим букву «е» густо с начала слов и в середине после гласных, как, например, в словах «его» и «твоему». К тем же векам принадлежат здесь встречающиеся буквы: У (Ч) вилообразная, «Н» вместо нынешнего «И», «N» вместо «Н», «оу» вместо «у», «з» с отличным хвостом, «ы», и употребление везде буквы «и», где следовало бы быть «і», которого в сей грамоте вовсе нет, кроме в доегласной «іе». Не видно здесь также буквы «юса», которая есть в Щербатовском сборнике, писанном в XI веке»!

Захлопнув тетрадку, торжествуя глянул на брата:

— Ну что, нашла коса на камень!

В своем письме Болховитинов просил государственного канцлера посодействовать в обнаружении важного исторического документа. Не особо полагаясь на свои познания в палеографии, Румянцев призвал к себе директора Публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина.

Оленин, внимательно выслушав канцлера, пообещал снять самую точную копию и вообще тщательнейшим образом изучить «грамоту Мстислава».

— Учтите, это очень ответственное задание. К тому же я развонил всем и вся, что вы непременно с ним справитесь, так что не подведите!

Весь следующий день Оленин старательно изучал «грамоту Мстислава». А затем призвал на подмогу двух больших знатоков отечественных древностей: конференц-секретаря Академии художеств Александра Ивановича Ермолаева и коллекционера-любителя Петра Козьмича Фролова.

Когда все точки над «і» были поставлены, Оленин приступил к составлению письменного отчета государственному канцлеру:

«По некоторому навыку к древним русским рукописям, с помощью увеличительных стекол, яркого ныне солнечного света и двух истинных любителей русских древностей: г. г. Ермолаева и Фролова, общими силами и с великим терпением, мы, наконец, имели счастье разобрать на грамоте великого князя Мстислава Володимировича то слово, которое уповательно собственно рукою сего князя между строк приписано, и не тиснено, как то ясно мы теперь уже рассмо-

трели. Равным образом открыли мы несомненные следы, что грамота сия вся вообще была писана золотом по червцу или бакану и что золото от времени и небрежения совершенно почти стерлось. К сему открытию руководствовали нас золотые, почти не приметные крапинки, оставшиеся на красноватых чернилах, которыми сия грамота для подготовки под золото была вся писана. Чернило сие составлено из краски малинового цвета, известной ныне у нас под именем бакана, из коего лучший род называется кармином. Сего краскою в древних наших рукописях подготавливались литеры под позолоту, чтоб золоту дать густой и лучший цвет, в чем можно удостовериться, рассмотрев прилежно позолоченные буквы в рукописном новгородском «Евангелии» XI века, которое я имел честь показывать вашему сиятельству на сих днях.

Распространившись о позолоте букв Мстиславовой грамоты, едва было я не забыл донести вашему сиятельству, какие именно буквы составляют речение, на сей грамоте между строк писанное. Я здесь прилагаю список в том точно виде, в каком они, по прилежном рассмотрении, нам действительно показались, назначая точками истертые и едва уже приметные литеры, а чертами те, которые и без лупы можно довольно ясно разбирать:

+ и Вено Вотское.

Речения сии поставлены в след за поименованием имени и прав, Мстиславом подаренных монастырю Св. Георгия, а именно: **повелел иесть сыну своему отдати Боуйц Святому Георгиеву с данию и с вирами и с продажами**; а в след за сим над строкою написано: и вено вотское.

Теперь, ваше сиятельство, может быть, у меня изволите спросить: что сии слова значат? На это скажу вам следующее наше заключение.

Вено, значит то имяне, которое мы ныне называем приданое. Вотское, вот — была пятнина Новгородская. Следовательно, под сими словами ныне должно разуметь «и приданое имяне в вотской пятине». Мстислав Володимирович во втором браке имел за собою дочь посадника новгородского Дмитрия Завидовича. Первая его жена неизвестно от какого была рода, но уповательно, что Мстислав как за первую, так и за вторую женою получил вено, т. е. приданое имяне, которое, вероятно, находилось в вотской пятине, — и Мстислав отдал сие имяне Георгиеву монастырю, по душе первой его жены, а может быть, и второй.

Вот каким образом мы осмеливаемся толковать сию приписку, вероятно, рукою самого князя Мстислава писанную, а не клеимую, что доказывается неправильною в почерке букв и чернилами, которыми сия приписка первоначально была писана, для положения на нее золота, подобно как и на все письма сей грамоты, которые, несомненно, были позолоченные.

Заключение авторитетной комиссии Румянцев переслал Болховитинову. От себя же лично писал:

«Я усердно занимаюсь теперь всеми распоряжениями, чтобы сообщить сей драгоценный труд ваш ко всеобщему сведению просвещенной публики и передать опыт потомству, и надеюсь, в непродолжительном времени представить опыт Вашему преосвященству, отпечатанный самым рачительнейшим образом. Наидейтельнейшее соучастие в исполнении сего намерения моего принял на себя г. тайный советник и статс-секретарь Алексей Николаевич Оленин, и я наиприятнейшим долгом вменяю себе сообщить Вашему Преосвященству список с его письма, мною полученного и заключающего разные его замечания о Мстиславовой грамоте.

Я не замедлю возвратить Вашему Преосвященству подлинник сей грамоты. Но на сей раз задержу опыт для того, что с печати снимают особые рисунки для большей точности и потому, что приложенные на копиях показались несколько недостаточными».

Болховитинов изумился, узнав, что грамота «золотая». Искусство писать растворенным золотом весьма древнее, уходящее корнями еще в IV век. Однако золото употреблялось в основном для «раскраски» надписей и заглавных букв в рукописных книгах. В Синодальной библиотеке в Москве имелось несколько изукрашенных позолотой «Евангелий» и «Апостолов». В средние века создавались книги и полностью «золотые». Их родина — Греция и Византия. На Руси эта традиция не получила распространения. При написании книг и грамот у нас использовались только черные чернила. Известна лишь одна грамота, выпадающая из общего ряда: послание царя Иоанна Васильевича Грозного архиепископу

Казанскому Гурию, датированное 1555 годом. Она писана кинноварью. Золото в русских грамотах появилось лишь в начале XVII века. Им покрывали имена властителей.

Болховитинов получил письмо от Державина:

«Вы прислали грамоту одного великого князя к графу Румянцеву. Он отдал ее на рассмотрение Алексею Николаевичу Оленину, как человеку, с приятелями своими охотно занимающемуся древностями. Они «Рассуждение» ваше о ней весьма похваляют. Но находят и некоторую неправильность, а именно: 1) между строк не клеимо князя, но приписка его рукою, что в вено отдал он село Буйце, которое и доньше в натуре находится в той самой пятине, в которой вы полагаете, но не разобрали название; 2) грамота писана не чернилами, но по бакану, золотом, который от времени почернел, а позолота слиняла, но несколько видна, что доказывається, как мне кажется, весьма убедительно. Советую, не для того, чтобы они были признаны ученым светом славнейшими антиквариями, но как вы называете их пред вами в сем деле знатоками, то прежде снесите с ними, нежели предавать в большую публику труды ваши, ежели какой-нибудь хотите иметь успех и славу; ибо нередко зависть потемняет и прекраснейшее».

Державинское послание не то чтобы встревожило, но как-то насторожило Болховитинова. Было непонятно, почему его разыскания должны были «уязвить» столичных исследователей, ежели он и они преследуют одну цель — воссоздание реальной картины прошлого России? Почти две недели он оттягивал с ответом, старался разобраться в сложившейся ситуации, всесторонне оценить державинские намеки. И лишь потом засел за ответное послание:

«Чувствительнейшее благодарю ваше превосходительство за письмо от 14-го марта и за предостерегательные в нем наставления в рассуждении сношения с антиквариями при издании моих сочинений о древностях. Но и в извинения свои я представляю вам:

Канцлер граф Николай Петрович иногда утомляет меня своих писем и нередко предлагает мне исторические вопросы на разрешение. По сему-то поводу сношений с ним я, между прочим, представил ему найденную мною еще в Новгороде одну древнюю 1125 года великокняжескую грамоту с примечаниями моими. Он поручил сие рассмотреть г. Оленину и ответ его прислал мне в копии, с которой список при сем представляю я и вашему превосходительству.

Тут извольте заметить, что он с помощью увеличительных стекол, яркого солнечного света и двух сотрудников насилу мог прочесть то, чего я никак прочесть не мог, и толковал я только догадками. Но я ручаюсь, что и после их разобранья не всякий и с увеличительным стеклом прочтет то же, и все это останется только догадками. Впрочем, я охотно уделю ему честь в толковании сей грамоты: но и у меня отнять чести невозможно. Ибо он растолковал только три слова, а я всю грамоту, и притом это моя собственная находка, и ученый свет мне первоначально будет тем обязан, что же касается до того, что будто вся сия грамота писана была золотом, то пусть судят о сем другие. А я не нашел сему примера в описаниях и наших и иностранных древних грамот. Но на это, конечно, надобно представить другой пример. Тогда будет сия грамота еще чудеснее, нежели как я о ней думал. Но, может быть, крупинки золота отскочили от князей подписи и прильнули к некоторым другим буквам грамот. А чернила князей подписи, бывшие под золотом, совсем другого цвета, нежели в других буквах. В новгородских многих рукописях книжных я точно такие же находил чернила, но они писаны не под золото. Впрочем, всякому вольно думать как угодно. А во всех исследованиях, чем больше бывает мнений, тем больше объяснений. Между учеными друг друга поправлять есть дело обыкновенное и нужное и сердиться на то не должно. Никто один совершенно всего не обдумал».

В сентябре 1813 года Болховитинов получил новое назначение: ему предстояло перебраться из Вологды в Калугу. Перемещение радовало, ведь Калуга рядом с Москвой, с ее книжными богатствами. Значит, можно общаться, пускай даже изредка, с московскими любителями древней письменности.

К Москве Болховитинов подъезжал не без тревоги. Хотя после пожара, сопровождавшего вступление французской армии в первопрестольную, минул целый год, но истекший срок представлялся незначительным, чтобы наполовину выгоревший город мог возродиться.

Едва коляска достигла городской заставы, как Болховитинов высунулся наполовину из окошка. По обеим сторонам улицы в тополиной зелени стояли не тронутые огнем домики. Потом потянулись каменные строения. В отдалении мелькнул барский особняк.

В архиве, по-прежнему помещавшемся на Покровке, он радостно делился с Малиновским своими наблюдениями:

— Оказывается, Москва не так уж сильно пострадала, как я предполагал. Город почти совсем не изменился.

— Начальное впечатление обманчиво, — разувел его Малиновский. — Москва пострадала, да еще как. Однако город быстро заживает свои раны. Даже в наиболее опустошенных огнем районах — в Замоскворечье, в Арбатской и Пречистенской частях появилось уже большое число построенных, а то и вновь построенных домов. Главное же, в московских жителях исчезла унылость, ее место заняла прежняя деятельность!

— Я тоже обратил внимание, — подхватил Болховитинов, — что на улицах толпится много народу, торгуют в полной силе!

Дверь служебного кабинета распахнулась: архивные чиновники принялись втаскивать увесистые пачки, туго перетянутые бечевками. Малиновский объяснил, что это привезли из типографии последние листы первого тома «Собрания государственных грамот и договоров», напечатанных изданием канцлера.

— Помните, — продолжал оживленно, — Шлёцер в своем «Несторе» упрекал нас в непростительном пренебрежении российскими памятниками письменности? Стараясь изгладить его справедливые укоризны и сознавая всю пользу от издания отечественных документов истории, Румянцев решил размножить наиболее важные из них посредством тиснения... Тем самым в некоторой степени удовлетворено и законное желание нашей публики иметь полное собрание государственных дипломатических актов.

Болховитинов, заинтересованный услышанным, выразил желание иметь экземпляр «Собрания государственных грамот и договоров».

— Мне очень просто оказать вам любезность, — обрадовался Малиновский, не зная, как сделать что-нибудь приятное именитому гостю. — Весь тираж «Собрания» является полной собственностью Архива и находится у нас для продажи. — И спросил про грамоту.

— О моей новгородской находке пока ни слуху ни духу. Канцлер и Оленин молчат, напоминать же мне неудобно!

— На вашу долю, — откликнулся Малиновский, — выпала честь отыскать наидревнейшую из отечественных грамот. Так что терпите: рано или поздно история вас увенчает лавровым венцом... К тому же я слышал, будто Оленин уже снял копию с грамоты, но работа якобы его не удовлетворила и он передал заказ другому мастеру.

На исходе 1815 года Оленин представил государственному канцлеру первый оттиск с Мстиславовой грамоты. Тот долго сличал копию с подлинником и под конец удовлетворенно произнес:

— Недурно. Впрочем, иного я и не ожидал увидеть. За три года просто невозможно сделать хуже!

Оленин понял, что от него ждут объяснения столь серьезного замедления в работе.

— Драгоценность документа, — принялся писать мелком на аспидной доске, — требовала великой точности в исполнении. Здесь граверы оказались неспособными к тому роду гравировки, что была необходима.

— А где был Ермолаев? — недовольно обронил канцлер. Мелок побегал дальше:

— Многие его казенные заботы, ослабление зрения поставили Александра Ивановича в невозможность исполнить то, что он сам желал.

— Кто гравировал копию с грамоты?

— Михаила Богучаров. Мой человек, под моим собственным смотрением.

— Когда будешь посылать грамоту и оттиск с нее Болховитинову, так и объясни!

В январе 1816 года в Калугу пришла долгожданная бандероль. Оттиск с грамоты весьма понравился Болховитинову. Устроило его в известной степени и «объяснительное» письмо Оленина. В ответ он написал:

«Все то, что в замедлении сего издания вы изволите называть своєю виною, есть паче истинное правило медленности строгих и точных издателей такого рода. Встречаемые

вами затруднения в сыскании верных гравиров, решимость ваша нарочно даже для сего дела выучить и усовершенствовать своего искусника; внимательное надзирание и за его резцом над его работою; строгое соблюдение всех и мельчайших признаков подлинника в списке; выражение всех черт, точек, пятен и самого цвета древности, — есть такой терпеливый подвиг, какого никто еще из любителей отечественной старины в России не предпринимал, и коего честь и первоначальный пример принадлежит Вам!»

Отправив письмо в Петербург, Болховитинов засел за другое — в Новгород. В пакет он вложил и подлинник «грамоты Мстислава». Отныне этому древнейшему памятнику отечественной юрисдикции надлежало находиться там, где он и был обнаружен, то есть в Юрьевом монастыре. Воистину, как в волшебной сказке, Золушка возвращалась в родные места в королевском облачении.

А теперь еще раз обратимся к письму в Петербург. Имевшая работу Оленина «терпеливым подвигом», Болховитинов изрядно иронизировал: ведь гравирование небольшой грамоты никак не могло потребовать трех лет. Так что львиная часть «подвига» приходилась на долю его самого. Действительно, нужно было обладать немалым терпением, чтобы в течение всего этого времени ничем не выдать своего неудовольствия и раздражения, хотя обнаружение Мстиславовой грамоты должно было произвести настоящий переворот в отечественной палеографии.

В 1818 году в московском журнале «Вестник Европы», в объединенном 15—16-м номере (август) появилась обширная публикация, обращенная к грамоте Мстислава. Называлась статья «Примечания на грамоту великого князя Мстислава Володимировича и сына его Всеволода Мстиславича, удельного князя Новгородского, пожалованную Новгородскому Юрьеву монастырю».

Статья пробудила такой интерес в публике, что по требованию подписчиков в двадцатом номере журнала была помещена копия грамоты. В сообщении от редакции говорилось: «Многим из читателей «Вестника Европы» казалось нужным, чтобы к «Примечаниям на грамоту великого князя Мстислава Володимировича» приложена была и точная копия самого текста сего, по древности своей знаменитого подлинника. С удовольствием исполняем справедливое требование, имея к тому возможность. За нужное почитаем сверх того уведомить наших читателей, что подлинную грамоту видеть можно в Новгородском Юрьеве монастыре, где она особенно сделалась известною с 1808 года».

После этой публикации имя Болховитинова сделалось широко известным в России. Его авторитет как палеографа неизмеримо возвысился.

В 1826 году Болховитинов еще раз обратился к своей юрьевской находке. В «Трудах и записках Общества истории и древностей российских» появилось значительно расширенное его исследование о «грамоте Мстислава». К тому времени, не без помощи Оленина и Ермолаева, установивших имя игумена Юрьева монастыря, которому была обращена грамота, — Исаии, была уточнена датировка — 1128—1130 годы.

Но и с этой поправкой грамота продолжала оставаться наистарейшей среди подобных документов.

18 декабря 1867 года в Петербургской Академии наук, в отделении русского языка и словесности состоялось заседание, посвященное памяти Киевского митрополита Евгения, а в обыденной жизни — Евфимия Болховитинова.

Выступавший на заседании академик Измаил Иванович Срезневский сказал:

— Мстиславова грамота не только в то время, когда Болховитинов открыл ее и работал над нею, но и после многих открытий, сделанных по русским древностям позже, достойна особенного внимания археолога, как древнейшая из русских грамот, уцелевших в подлиннике, а также тщательного разбора. Тогда у нас еще почти не было трудов подобного рода. Исследование Болховитинова воспринималось явлением очень замечательным и по внимательности ответов к разным вопросам палеографии и по тщательности ответов на них. Оно не только не утратило своего значения, но и теперь остается образцом палеографического описания, примером того, как надобно издавать памятники древней письменности.

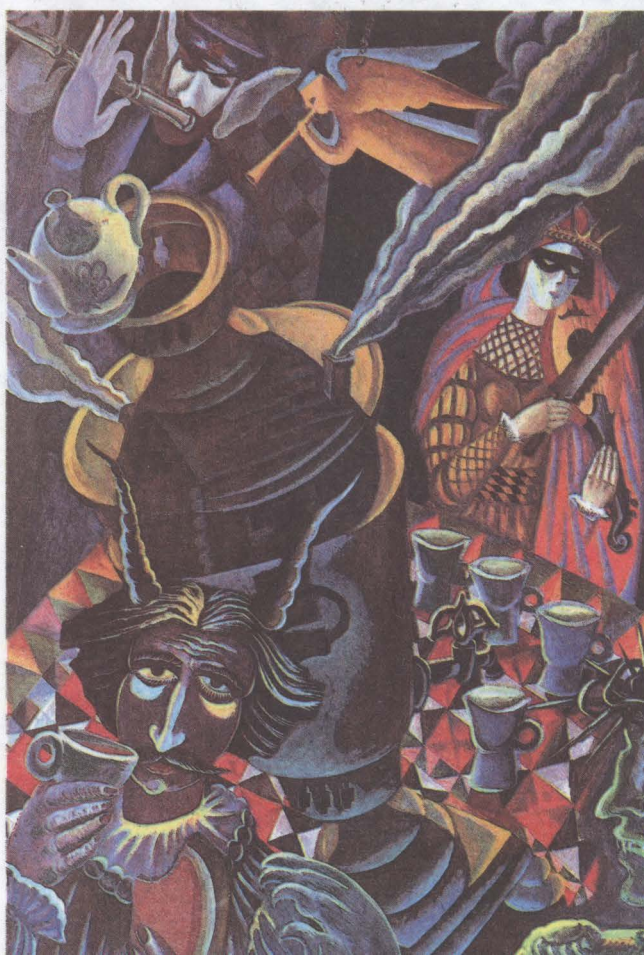


Сергей МИРОНОВ. Семья. 1986 г.

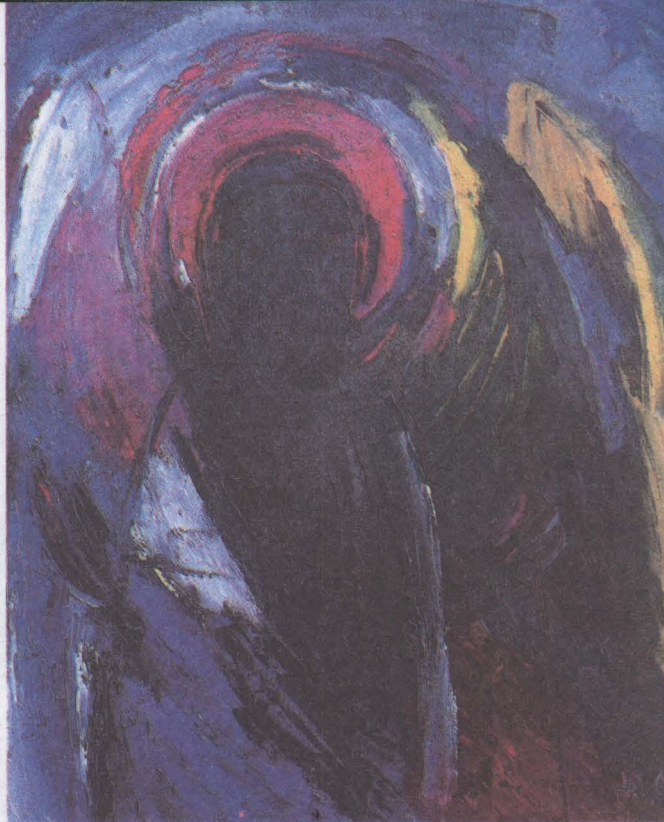
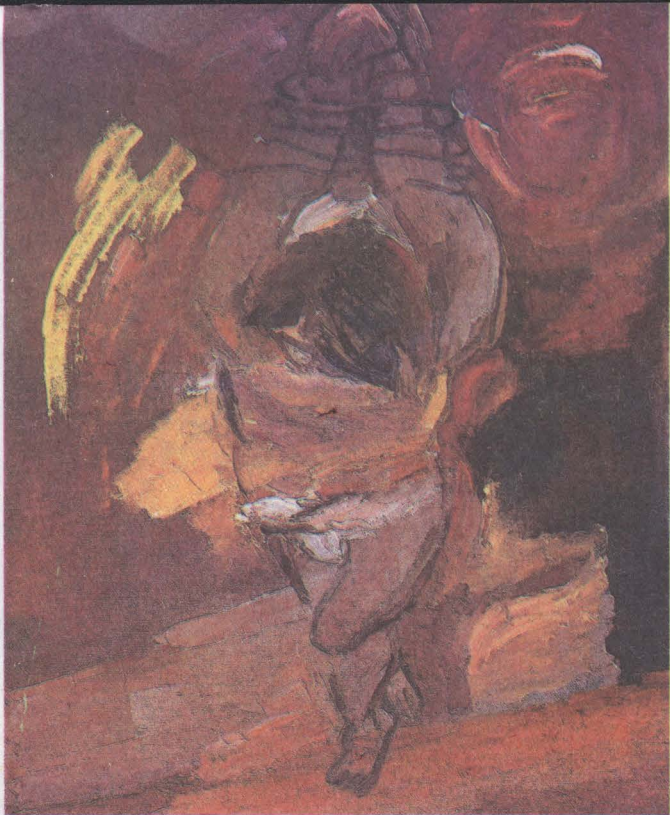
Творческая неформальная группа
«КРУГОВАЯ ПОРУКА»
г. Москва.



Игорь СИДОРИН.
Святой Себастьян. 1988 г.



Алексей МИРОНОВ.
Тайное чаепитие. 1988 г.



Юрий ФАТЕЕВ. Человек. Ангел. 1989 г.

Сергей ЧЕШОКОВ. Метро. 1985 г.





«КРУГОВАЯ ПОРУКА»
у нас в редакции.

Вверху: Алексей Миронов,
Игорь Сидорин,
Сергей Миронов.
Внизу: Сергей Чесноков,
Юрий Красавин,
Юрий Фатеев.

Фото Л. Шимановича.

«МЫ ТОЛЬКО В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ...»

Их шестеро. Все совершенно разные, даже братья-близнецы Мироновы. Для всех шестерых главное дело в жизни — живопись. Все — неудачники.

Ни шумных успехов, ни скандальных выставок, ни мастерских, ни средств (хотя бы на то, чтобы полностью отдаться любимому делу и не служить, не сторожить, не оформлять). У всех семьи, дети. Среди них сторож, преподаватель вуза, художник-оформитель, дворник, инвалид. Все они — члены творческого объединения «Круговая порука».

Не слишком ли тенденциозно название? Нет, отвечают они. «Круговая порука» — это товарищество, где «Все по одному и один по Всех» (читайте Толковый словарь В. И. Даля).

Игра в слова и жонглирование терминами в совсем недавние годы часто подвергала термины эти идеологической трансформации, а порой просто ставила все с ног на голову. Так что теперь приходится как бы заново открывать для себя истинное значение этих слов и терминов. После двух выставок 1986 и 1987 гг., прошедших в выставочном зале Тушинского района, сам собой сложился состав группы.

Это Алексей и Сергей Мироновы, Игорь Сидорин, Юрий Фатеев, Сергей Чесноков и Юрий Красавин.

В небольшом творческом коллективе легче сохранить индивидуальность, есть возможность не раствориться в общей массе, преодолеть искушение погони за материальными и прочими благами.

Художники абсолютно разны по творческому темпераменту, мировоззрению и привязанностям. В искусстве объединились именно в силу этих различий.

Главное, что объединяет этих художников, — глубокий интерес к традициям русского авангарда 10–20-х годов нашего века. Члены объединения считают, что русский авангард не исчерпал себя, а лишь приоткрыл перед творцом новые горизонты, лишь наметил немыслимые доселе пути развития. Кандинский, Малевич, Филонов, Матюшин, Древин, Родченко, Ларионов, Гончарова, Клюн, примитив, аналитическое искусство, супрематизм, беспредметное искусство — вот круг интересов членов «К. П.».

Алексей Миронов, один из инициаторов создания группы, председатель Тушинского товарищества художников:

— Нам повезло меньше — наши выставки не давили бульдозерами, нас не выслали за границу... Нас просто не показывали, и не потому, что мы несли «крамолу», а потому, что мы были иные, исповедовали иные истины, имели иных кумиров — тех, чьи юбилейные выставки после десятков лет молчания стали достоянием всего народа.

Показать свои работы зрителю в центральных выставочных залах Союза художников и по сей день чрезвычайно трудно. Ответственные работники, в не столь далекие годы усердно оберегавшие выставочные залы от всякого рода «сомнительных» произведений, сейчас, видимо, получили директиву: давать побольше авангарда. И дают. Правда, авангард они трактуют так же своеобразно, как совсем недавно — социализм.

До перестройки наши работы казались работникам Министерства культуры и членам выставочных комиссий слишком «левыми», теперь же, очевидно, — «правыми». К сожалению, до сих пор существует проблема тенденциозного отбора работ на выставку.

Мы за равноправное существование всех объединений, групп и течений в стране, от Союза художников до «Чемпионов мира».

Мы — группа, выступающая против групповщины.

Игорь Сидорин: — Кто прав, кто нужен, кто лучше, кто хуже — решит только время! Поэтому современному художественному процессу нужны все. А вообще от разговоров толку нет. Мне легче рисовать, писать. Мы-то еще ничего, а вот Юре труднее всех — пенсия 30 рублей.

Юрий Фатеев: — Живописью у нас уже можно заработать, но пока только на хлеб. А у всех семьи, дети... Правда, есть Арбат, есть «Измайловская Битца», но это не про нас.

Не связывается у нас как-то восдино вся эта рыночная атмосфера и искусство. «Я вчера хорошо поработал, шесть картин написал. Сегодня три уже ушли по 25 рэ». Смешно? Смешно. И стыдно. Нет, не ему — нам! Там торгуют таким, что невозможно заставить себя встать рядом.

Пусть, пусть существует этот рынок. Хорошо, что он наконец есть. Ведь именно там иной человек впервые обращает внимание на произведения искусства. Может получиться и так, что путь от Арбата до Третьяковской галереи будет не таким уж долгим. Но...

Сергей Чесноков: — Малевич писал в начале века: «Всегда требуют, чтобы искусство было понятно, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к пониманию... И думается многим, что искусство для того, чтобы писать всем понятные бублики». Так вот, я считаю, что художник не должен писать «к выставке», что, кстати, практикуется повсеместно. Не должен писать работу «на заказ», если это не заказ социальный, если он не хочет делать это всей душой.

То, что ты на что-то способен, нужно доказывать каждый день прежде всего самому себе, хотя бы на шаг продвигаться вперед по вечному пути совершенства...

Еще одна особенность, определяющая принципиальную позицию «Круговой поруки» — резкое неприятие художественного официоза последних лет, конъюнктуры, протекционизма.

Сергей Миронов: — Творчество настоящего художника, не копирующего действительность, а создающего свой собственный мир, — это прежде всего прорыв — прорыв из серых будней... Это не праздник, а чаще драма, порой трагедия, запечатленная душой художника на холсте.

Юрий Красавин: — Я самый молодой член объединения. Непоспелый еще... Я выставился с ребятами на первой выставке 13 московских художников в Тушине. Потом дороги наши разошлись. Не пришлось там ко двору моя живопись официально-«молодежного» толка.

Через два года состоялась новая встреча (за эти два года на моем творческом пути произошел крутой поворот от реализма 70-х годов к колористическому экспрессионизму), и, к моему удивлению, реакция товарищей по искусству была диаметрально противоположной. Я выслушал столько лестных отзывов и теплых слов, что думаю, половина из них — отцы.

Сергей Чесноков: — На наших глазах произошло то, что увидишь нечасто. Красавин сбросил с себя груз догм, школярства и лжеправил искусства. На наших глазах он обрел свободу, голос, друзей.

Создание «Круговой поруки» — это прежде всего попытка вырваться из тисков обыденности, социальных и духовных стереотипов, пронизывающих всю нашу жизнь.

Объединение — это не дань моде. Не случайно объединение появилось в конце 1988 года — время, когда уже были созданы в основном все известные группы: «Центр», 1-е творческое объединение при Союзе художников, «Периферия», «СКИтальцы», «Товарищество» и др.

Устраиваются встречи, совместные выставки с объединениями Москвы и других городов. Последняя выставка 1988 года прошла совместно с ленинградскими художниками из группы «Стена».

Сейчас думаем о встрече молодых художников Ленинграда, Горького, Москвы. Мы только в самом начале пути...

Олег КОРОТКОВ



Андрей
ФАДИН

СТРАХ-2

«Мы переживаем время суровых, но бесплодных поучений. Все как будто проснулось от пьяного сна и впервые встретилось лицом к лицу с какою-то безнадежною, почти фантастическою действительностью. Отсюда — всеобщее изумление, поголовный страх. Именно только изумление и страх, потому что бросившийся в глаза хаос не вызвал в нас решимости разобраться в нем, не указал на необходимость разделить следствия от причин, согласовать накопившиеся жизненные противоречия и установить отправные пункты для будущего жизнестроительства, а только пробудил какое-то спутанное чувство, которое и овладело умами с неудержимою силой...»

М. Е. Салтыков-Щедрин

Ощущение каких-то неясных еще, но необратимо начавшихся перемен (пусть робких, недостаточных, медленных) растворено сегодня в самом воздухе времени, которым дышат и полумифический «человек улицы», и вполне осязаемый столичный сноб-интеллектуал, и совсем уж конкретный шашлычник-кооператор, раньше всех сообразивший, как повернуться в этой перестройке. И дышится этим воздухом как-то легко, быть может, потому, что впервые за жизнь нескольких поколений нас отпустил СТРАХ.

Тот самый страх, вошедший вместе с насилием в самую ткань общественных отношений, ставший тривиальной, как насморк, чертой нашей повседневности и мощнейшим регулятором социального поведения. Его, конечно, еще очень много в подкорке, этого генетического страха, проценты с которого позволяли командно-карательному монстру держать в узде колоссальную страну в течение нескольких десятилетий. Но он уже зримо стал отступать, съеживаться, терять свою всепроникающую силу.

Появился новый социальный субъект, который осознал себя независимым от властных структур государства, осмелившийся не только думать, но и говорить, и действовать, не спрашивая на то ничего разрешения. Причем не в традиционной российской системе координат «власть — антивласть (оппозиция)», в которой жили и классические диссиденты 70-х, и те, кто их преследовал, а совершенно в новом измерении, как свободная самоорганизация свободных индивидов, выстраивающая свою позицию не как протест против чего-то, а как самовыражение независимого движения к независимо выбранным целям.

Их уже очень немало: по некоторым оценкам, в стране более 60 тысяч различных по целям и предмету деятельности, философии и идеологии, формам деятельности и самоуправления неформальных групп. «Экологисты» и «оздоровители», «экокультурники» и «фольки», «мирники» и эсперантисты, правозащитные и правопорядковые объединения, целый спектр политико-идеологических групп (от национально-почвенных до демолиберальных), адепты самых разнообразных религиозно-философских учений, эстетических и этических систем (последователи Рериха и толстовцы, кришнаиты и дзен-буддисты), все оттенки субкультурных поколенческих и локальных групп (хиппи и панки, брейкеры и рокеры, «металлисты», люберы и пр.) — невозможно исчерпать никаким перечислением многообразия общественной жизни вне официальных культур. Столь же невозможно и описать их все в одной публикации.

Однако же возникают вопросы: откуда что взялось, где было все это многообразие раньше? Как к нему относиться? Что с ним будет дальше?

Вопросы не праздные, ибо «неформалы», став для себя субъектом, остаются для общества «неопознанным социальным объектом», внушающим смутные тревоги одним, неопределенные надежды — другим и решительное неприятие — третьим.

В то время как существование НЛО еще надо доказывать, присутствие неформалов как существенного элемента социальной реальности вполне очевидно, каждодневно подтверждается живой «уличной» практикой. Иное дело — понимание природы этого социального объекта, который поистине все еще не опознан. Здесь необходим внимательный взгляд «понимающей социологии».

Подобный анализ особо необходим сегодня, ибо новые явления социальной жизни являют обществу подчас столь отвратительный и угрожающий самим основам социальности лик, что вызывают мощную «отбойную волну» консервативно-охранительной реакции.

«Наци», «качки», десятки разновидностей панкующих и хиппующих стай демонстрируют время от времени то дикие взрывы немотивированного насилия, то спазмы тотального нигилизма.

Десятки убийств и искалеченных в войне «группировок» в Казани, столкновения люберов и «металлистов» в Москве, «Коммуна свободной жизни» в лесу под Ригой, в которой несовершеннолетние девочки устраивают состязания в количестве «пропущенных» через себя партнеров, а в промежутках ловят наркотический кайф... Выплески такого рода «неформальности» сами по себе становятся фактором, тяжело травмирующим массовое сознание, и встраиваются в угнетающую панораму социальных бед.

Увы, социальное подсознание, опираясь на вековые стереотипы и смутную интуицию, однозначно связывает эти пугающие явления с перестройкой пусть скудного, но такого привычного и стабильного мира застоя. Перемены внушают определенные опасения многим, как всякая «езда в незнаемое», они чреватые потрясениями. Но особенно они страшны для обывателя, который идеально встроился в застойную систему человеческих и производственных отношений, приспособился к благу и лжи, добился пусть минимального, но процветания, спокойной жизни. Для него происходящее имеет характер крушения мира.

И сколько бы пресса и авторитеты ни доказывали, что обнажившиеся социальные язвы назрели задолго до начала перемен, более того, обусловили их необходимость, этот тип сознания нуждается в «образе врага», виновного во всех их бедах, и находит его — в тех, кто реализует перемены или воплощает их собой.

Эти и подобные им составяющие социально-психологического климата в стране порождают явление принципиально нового характера. Назовем его условно СТРАХ-2.

В отличие от извечного нашего страха перед всеисильностью тотальной и беспощадной власти госмашинны

СТРАХ-2 — это и растерянность человека, утратившего привычные ориентиры «одной правды» в условиях, когда все забько, все пришло в движение и нет никакой надежной опоры, и ужас традиции, не узнающей себя в зеркале враждебной современности...

Вслушавшись в голоса народных депутатов СССР, замечательных русских писателей В. Белова и В. Распутина. Вот предупреждают они об опасности плюрализма нравственности, вот жестко критикуют средства массовой информации за показ секса и насилия, за предоставление телескранов и журнальных страниц для демонстрации рок-культуры, а вот они уже и дают понять, что за всеми этими «нестроевыми» земли российской — отнюдь не стихийные процессы, а что-то враждебные происки. Чьи же? Впрямую это не называется, но понять несложно: это «либералы», «прогрессисты», «масоны», «сионисты», всевозможные националы, растаскивающие «единую и неделимую»...

Эти «темные силы» — совершенно необходимый элемент в логике патриархально-авторитарного сознания: ведь должен кто-то персонифицировать все зло, нести ответственность за все несчастья наши... А признать, что на нас самих эта ответственность как раз и лежит, что и народ, и его же усилиями ставшая над ним власть ответственны за то, что с нами произошло... — этого признать «почвенникам» никак нельзя. Ибо тогда супостат оказывается не вне, а внутри народа, тогда «единое национальное целое» предстает противоборством разнородных социально-политических сил, и приходится не «любить весь свой народ», а определять свою сторону в суровых и конкретных внутренних конфликтах. Тогда раскалывается и тот идеал всеединства, «соборности», который извечно осыпал романтическую утопию «особого русского пути».

Однако «неопознанные социальные объекты», «НСО», вызывают агрессивное неприятие и страх отнюдь не только у идеологически ориентированных традиционалистов.

СТРАХ-2, порожденный широким диапазоном стихийных и непонятных социальных процессов, несомненно, является одной из основ поднимающейся волны массового консерватизма, сопротивления не только идущей «сверху» модернизации, но и растущей «снизу» плюрализации социальной жизни. Корни его глубоки, они уходят в самую глубь русского исторического опыта — с его жестокими обвалами идущих сверху крутых преобразований, не считающихся ни с какой человеческой ценой, если речь идет о достижении державного величия. Каждая реформа таит в себе угрозу ухудшения тяжелого, но привычного уклада жизни, прогресс ассоциируется прежде всего с его непомерной ценой, с бедами и лишениями...

В этом горьком историческом опыте — сила низового народного консерватизма. В нем же и опасность для любой последовательной политики модернизации. При дурном обороте событий именно он станет основой «идеологии реставрации».

Конечно, «почвенный» традиционализм далеко не однозначен, порой его яростная борьба с социальными язвами работает на оздоровление общественной атмосферы больше, чем иные демолиберальные и прогрессистские проповеди. Это особенно ярко проявилось и в формировании отношения общества к пьянству и алкоголизму как к общенациональной беде, и в получении нового статуса экологическими и экокультурными движениями. Можно сказать, что в отношении иных групп, инициатив, движений он играет роль своего рода «сторожа» общественного мнения. Более того, оформившись как социально-групповой субъект, традиционализм вступает в отношения полемики с другими субъектами, и сам фактически способствует той самой плюрализации, которую критикует.

В то же время обыденное сознание неаналитично по своей природе и, как правило, не проводит грани между различными (иногда даже и противоположными) проявлениями одного и того же (в его восприятии) социокультурного прогресса. Негативные стереотипы восприятия неформального мира, сформированные шокирующими выбросами активности в молодежной среде, страхом перед началом межнациональных отношений, опасениями за судьбы социального порядка, автоматически переносятся на любую неофициальную социальную самостоятельность. Этот неуловимый перенос восприятия осуществляется как бы по принципу «амальгамы»: любая неформальная активность воспринимается как часть процесса плюрализации, «разбегания ценностей», как угроза мифической органичности традиционного мироустройства. СТРАХ-2 начинает работать про-

тив складывания нового социального порядка, блокирует формирование структур гражданского общества.

Этот страх мобилизует всегда дремлющее в толщах массового сознания репрессивное мышление. При виде нового, необычного, пугающего «рука тянется к кобуре»: раздается призывы к государственной власти применить наконец «революционное насилие» против «всего, что нам чуждо».

Не видя со стороны властей надлежащей решительности, наиболее активные охранители устоев берут святое дело «борьбы со скверной» в свои мускулистые руки. Люберы были не первыми, но наиболее известными из носителей этой низовой охранительной реакции. Однако явление это оказалось гораздо более широким и глубоким: самостоятельная «полиция нравов» избивала или обрывала наголо гуляющих с иностранцами «девочек» в нескольких городах (включая Москву), «афганцы» устраивали самостоятельные расследования источников несправедно нажитых (по их мнению) богатств, волны поджогов инвентаря и имущества обрушивались на кооператоров, «индивидуалов» и арендаторов.

И если «экономическая самостоятельность» еще может рассчитывать мирно встроиться в государственный социализм, то субкультурные и политизированные неформалы, видимо, будут и дальше находиться в «позиционном» конфликте с общеданным сознанием и структурами управления. Между тем если это противостояние не снять, вряд ли можно ожидать быстрого и мирного возрождения гражданского общества и правового государства, экспроприированного Административной Системой.

Правда, было ли оно у нас? Можно ли говорить именно о возрождении? В какой-то мере да, можно. Вспомним: ведь такое же колоссальное богатство социальной самостоятельности страна знала и в 20-е годы. Только в РСФСР, без Москвы и Ленинграда, на 1 января 1928 года было зарегистрировано почти четыре с половиной тысячи добровольных обществ и союзов, это без малого полтора миллиона членов. Эти объединения являлись выразителями самых разнообразных культурных и духовных потребностей всех основных социальных групп. Четко работал и механизм легализации инициатив. Закон 1922 года сводил административный надзор за общественными организациями к регистрации и утверждению уставов, то есть был установлен нормативно-явочный порядок регистрации, при котором лишь несоответствие устава законам могло быть основанием для отказа в регистрации.

Однако стремительное и тотальное огосударствление общественной жизни после сталинского сокрушения эпохи оборвало этот взлет социально-культурной самостоятельности. В 1932 году принимается новый закон (формально действующий и поныне), ставший основой фактического роспуска всех подлинно самостоятельных организаций и замены их фиктивно-общественными централизованными институтами, в действительности бывшими лишь «колесиками и винтиками» государственного аппарата. Волны репрессий одна за другой смывали пласты культурного слоя, накопленного страной. Уходили в небытие красавцы, члены и организаторы творческих, просветительских, художественных, спортивных-физкультурных союзов, национально-культурных ассоциаций, вообще те, кто не вписывался в монолит казарменного идеала общественного устройства.

Многообразная культурная жизнь общества как живого и суверенного организма, внутри которого протекают разнонаправленные и непредсказуемые процессы, была на десятилетия сведена к одному варианту. Культурная политика государства стремилась заместить собой культурную жизнь общества, а все, что не поддавалось такому замещению, подвергалось «критике оружием».

Существующая практика регистрации самостоятельных инициатив основывается либо на сталинском законе 1932 года, либо на Положении о любительских объединениях, нормативном акте 1986 года, согласованном 12 ведомствами и не имеющем силы закона. Путь легализации инициативы в соответствии с этими документами столь мучителен, неопределен, открыт для ведомственного произвола, что подавляющее большинство групп предпочитает оставаться «вне закона», то есть в прямом и точном смысле слова «неформалами».

Причины подобного состояния дел вполне прозрачны: отсутствие строгой юридической процедуры открывает полный простор для разрешительного права, когда для официального признания в каждом случае требуется специальное разрешение (либо в форме поручительства организации-учредителя, либо прямо через решение местных властей).

Другими словами, «пускать» или «не пускать», определяют сами местные власти по своему усмотрению. Понятно при этом, что если разрешение на официальную регистрацию, например, группы «Дельта», выступающей против строительства дамбы в Финском заливе, зависит от ленинградских властей, выступающих за дамбу, то эта группа никогда не получит легального статуса.

Но, удерживая группы гражданских инициатив вне официальной политической структуры, государство лишает себя возможности и воздействовать на эти группы, на процессы, в них происходящие. В самом деле, трудно ожидать, что та или иная группа (например, природоохранная или экокультурная) распадется, если ее выгонят из ДК, «просигнализируют» начальству по месту работы ее участников и т. п. Наоборот, подобные меры, как показывают многолетние наблюдения, приводят лишь к росту сплоченности в группе, радикализуют ее, усиливают социально-критические, оппозиционистские мотивы в ее деятельности (в ущерб настроением конструктивного сотрудничества, поисков взаимоприемлемых компромиссов).

Именно пережатость практически всех легальных каналов самовыражения, представительства специфических групповых и социальных интересов (культурных, религиозных, экологических и пр.) — главный мотор стремительной политизации неформального мира. Любая попытка сформулировать и защитить свои групповые интересы традиционно воспринимается властными структурами как покушение на аппаратную монополию власти. Самая частая программа, самое конкретное и частное требование вызывают обвинения в «политической деятельности», за которыми, в неглубоком подтексте, — подозрение в антисоветизме. Так было и с ленинградскими экокультурными группами, выступавшими против решения городских властей о сносе гостиницы «Англетер» (место самоубийства С. Есенина), и с Движением в защиту Байкала в Иркутске, и с общественным советом «За чистый воздух и воду» в Уфе... Список печальных примеров подобного рода неисчерпаем, ибо увеличивается с каждым днем.

Избирательная кампания по выборам народных депутатов дала много новых свидетельств, как душилась низовая инициатива на местах, как отказывали инициативным группам в проведении собраний избирателей, не давали помещений, а уличные митинги разгоняли, опираясь на печально знаменитый закон о правилах проведения массовых мероприятий, как проведенные все же собрания объявляли неправомочными, а выдвинутые на них кандидатуры не регистрировали... Москва не может защитить всех, а «правила игры» таковы, что слишком многое, почти все — в воле именно местных властей. Впрочем, избирательный закон — лишь частный случай отношений суверенной народной инициативы и властных структур, отношений неравных, несправедливых, разрушительных для нашего общего будущего.

Изменяется само отношение к политике как сфере человеческой деятельности, она реабилитируется в глазах общественного мнения. И если раньше большинство групп подчеркивало свой внеполитический фактор, то теперь, наоборот, даже сугубо культурнические и экологические объединения говорят о своих политических задачах.

Самоорганизуются инвалиды, начинают отстаивать свои права — это политика, самоорганизуются любители местной старины — это тем более политика. Вспомним, что эстонское общество охраны памятников было одним из источников и предтеч Народного фронта, а его попытки привести в порядок кладбище, на котором покоились павшие, отстаивавшие в 1918 году право Эстонии на независимость, были восприняты властями как антигосударственный шаг! На этом маленьком примере видно, что в стране, где политикой является все, а власть проникает во все клетки не только общественной, но и личной жизни, любое общественное действие или движение неминуемо превращается в политическое.

Естественным образом возникает вопрос о причинах подобной огнестрельной реакции аппаратной толпы на нарастающие снизу элементы гражданского общества. «Генетическая» версия, выводящая эту реакцию из исторических условий формирования советской бюрократии, представляется убедительной, но мало вникает в сегодняшние социально-психологические механизмы.

Вопреки первому впечатлению этот смысл далеко не однозначен. Конечно, для наиболее заскорузлых слоев партийной, советской, комсомольской, профсоюзной бюрократии, не умеющих и не желающих учиться управлять по-новому,

неформальный мир враждебен и опасен. В частности и потому, что впервые ставит вопрос о пределах компетенции и политической дееспособности бюрократии. Воспитанные в культуре приказа и запрета, кадры старой формации органически не в состоянии выдержать сколь-либо серьезной публичной политической борьбы, полемики, открытой дискуссии. Ни в Армении или Карабахе, ни в Москве «на Пушкине» («Гайд-парк» на Пушкинской площади), ни в Ярославле, Куйбышев, Южно-Сахалинске или Ленинграде — нигде бюрократия не смогла сколь-либо эффективно апеллировать к массам. Ее ораторы проваливались, ее программы отвергались.

Это не могло не вызвать спазмов комплекса политической неполноценности аппарата, которые прорвались новой вспышкой запретомании, попытками решить важные политические проблемы методами аппаратной интриги и полицейского контроля. Эффективность этих методов в условиях вето, наложенного нынешним политическим руководством страны на открытые политические репрессии, очень низка.

Пути компенсации этой политической недостаточности неожиданно наметились в идеологии — через сферу действия нового феномена общественного сознания, который мы обозначили как СТРАХ-2. Психолого-идеологический фон «нового консерватизма» дал аппаратчикам уникальный шанс установить негласный и неясный союз с широким и представительным национально-почвенным течением в общественной жизни.

Интервьюирование аппаратчиков среднего уровня в одном из крупнейших городов России дало поразительные результаты: была четко сформулирована установка на борьбу против всех независимых общественных движений, кроме тех, что развиваются под национально-почвенническим знаменем.

Будучи не в силах противопоставить сколь-либо глобальной альтернативы раскрепощению общества, консервативная часть аппарата пугает верховную власть угрозой потери контроля над ситуацией.

«Я не вижу в неформалах носителей плюрализма, — заявляет один из подобных идеологов на страницах академического журнала. — Неформалы — это альтернатива власти. Ее основа — это мелкобуржуазность в образе жизни и в мировоззрении, воспроизводящаяся в нашем обществе последние 20 лет. Это идейно-философская эклектика. Лидеры неформалов — агрессивные посредственности, потерявшие возможность утверждать себя на путях конституционного действия. Поэтому им свойствен экстремизм. Сегодня, даже если они говорят, что их движение — это мирная альтернатива, на самом деле — это борьба за власть. Я знаю одну динамику власти; добровольно ее не отдавал и не отдаст ни один правящий институт».

Что это — реальный страх или попытка запугать других? А может быть, и то, и другое?

В любом случае перед нами яркий образчик традиционалистского репрессивного мышления, специфическая проекция СТРАХА-2 на властные структуры.

Так СТРАХ-2 сплотил почвенный традиционализм в обществе и аппаратную «почву» бюрократии. Не следует, конечно, преувеличивать силу и сплоченность этого союза, но не случайно и то, что именно определенные писатели встречаются постоянно с определенными партийными руководителями.

И все же, продемонстрировав завидную настойчивость, неформалы навязали свою «легальность» той части аппарата, которая не желает модернизироваться и учиться управлять по-новому.

В то же время нужно понимать, что успехи подобного рода, как бы ни льстили они самолюбию «самодельных политиков», значат весьма немного, если не цивилизуется сознание самих управленцев. А это, в свою очередь, становится возможно лишь там, где инициатива, с одной стороны, и власть — с другой, преодолевают традиционный российский стереотип противостояния, конфронтации. Быть может, примером такого преодоления является участие нескольких сотрудников Читинского областного управления КГБ в работе местной организации «Мемориала». Настоящая работа по намыванию культурного слоя гражданского общества начинается лишь тогда, когда обе стороны перестают «перетягивать канат», одни — в сторону тотального запрета, другие — в сторону безответственного обличительства, деструктивной критики безо всякого учета реальности.

Что говорить, традиционный раскол общества и аппарата, интеллигенции и бюрократии накопил на обоих полюсах значительный потенциал недоверия и враждебности. В этом

неформалы, конечно, плоть от плоти породившего их общества: нетерпимость и отсутствие навыков диалога с властями (даже когда нечастая возможность его появляется), презумпция виновности в отношении любого шага аппарата, почти повсеместное понимание политики как сферы свободного выбора решений в соответствии с теми или иными идеалами и соответственно полное непонимание внутренней логики реальной политики как искусства возможного в данной ситуации.

Все эти черты, родовые пятна длительного полуподпольного существования воспроизводятся и в отношениях между группами, клубами, направлениями. Собственно, ведь и о движении неформалов говорить сегодня нельзя, ибо то, что существует, скорее можно назвать «неформальным миром». Периодически вспыхивающие конфликты между группами, борьба за помещения, за популярность, за выход в прессу, взаимная подозрительность и ревность — все это характерные черты этого мира, как, впрочем, и мира формальных организаций. Особенно рельефно можно наблюдать все прелести нашей неформальной политики на всевозможных больших сборах, «всесоюзных тусовках» типа первой или второй информационных встреч (в Москве в августе 1987 и в Питере в августе 1988 года).

И все же в этом мире процессы формирования новой политической культуры идут гораздо быстрее и плодотворнее, чем в других пластах нашей жизни. Буквально на глазах группы общественных инициатив овладевают навыками организации целей и ценностей, поисков компромиссных решений, другими словами, они постепенно овладевают технологией реальной политики.

Одним из ярких примеров подобной «технологии» может служить история общественного движения «Мемориал», начавшаяся как инициатива нескольких энтузиастов, а завершившаяся фактически решением XIX партконференции об установлении памятника жертвам сталинских репрессий и образованием добровольного историко-просветительского общества с участием «звезд первой величины» советской культуры и науки.

Когда еще немногочисленные активисты группы впервые выходили на улицы Москвы для сбора подписей, их хватили милиционеры («Низ-зя! Кто разрешил? Перестройка — это когда каждый на своем месте работает лучше!», а суд конвейерным способом присуждал их к штрафу. Важный чиновник в горкоме партии внушал им, что подобный проект будет отвлекать народ от решения грандиозных экономических задач перестройки, и если они не уймутся, то... Тогда (всего немногим более года назад!) это казалось общественному мнению страшным — выйти на улицу «не спросив разрешения», как, впрочем, и сама идея сбора подписей под подобного рода проектами. Необходимо было избежать прямой конфронтации с аппаратом управления, чтобы не загубить проект в самом начале. Тонкая и продуманная тактика подключения авторитетных для властей людей, привлечение на свою сторону прессы, наиболее современных, «перестроенных» из самих аппаратчиков позволили меньше чем за год провести широчайшую кампанию, которая изменила атмосферу вокруг идеи мемориала жертвам репрессий.

Подобных примеров, конечно, пока немного, но влияние их и на неформальный мир, и на оргструктуру власти невозможно переоценить. Ибо они создают тот механизм взаимодействия между общественной инициативой и госаппаратом, без которого в наших условиях нельзя надеяться на создание ни гражданского общества, ни правового государства.

Можно сколь угодно долго доказывать, почему сегодня реальная многопартийность для СССР неактуальна, и все же это не даст ответа на главный политический вопрос перестройки: как обеспечить реальный плюрализм и эффективную обратную связь в желаемом образе будущего устройства советского общества? Как выстроить демократические институты в условиях однопартийной системы? Как без сломов и потрясений добиться демократической эволюции властных структур и, самое главное, самой политической культуры общества? Да и возможно ли это вообще?

Сегодня никто не сможет ответить на эти вопросы убедительно и однозначно. Но похоже, что неформальный мир содержит в себе существенные потенции развития внепартийной, низовой, самоуправленческой демократии. Неся в себе все недостатки и особенности нашей политической культуры, он в то же время представляет собой идеальную экспериментальную реторту, в которой общество прокатывает альтернативные варианты решения сложнейших проблем. Причем чем более сложна, комплексна и неясна задача, чем

более нужна поисковая активность, тем эффективнее социальная самодеятельность и ниже шансы профессионализованного управления. Градостроительные, экологические, культурные и педагогические проблемы в этом смысле, пожалуй, наиболее показательны.

Нечего говорить о роли групп социальной инициативы как школы социализации, очагов формирования новой политической культуры, лаборатории новых технологий самоорганизации и самоуправления.

Но в условиях однопартийности все эти функции смогут быть реализованы лишь в том случае, если сама партия, позвоночный столб власти, сделает решительный шаг к плюрализму внутри себя — вплоть до легального существования различных платформ, программ, фракций. Другим условием является легальное признание множества параллельных структур, независимых центров социальной активности, с которыми различные направления внутри партии будут поддерживать союзные или полемические отношения.

Жизнь, конечно, не остановится, если эти условия и не будут выполнены. Процессы плюрализации социально-политических структур общества невозможно остановить, ибо неостановимы лежащие в их основе социально-экономические сдвиги. Но если самоорганизация и самодеятельность не получат защищенной законом экологической ниши в системе официальных политических институтов, жизнь будет просто обтекать эти институты. Социальная активность пробудившегося народа найдет тогда иное, вне-легальное и внеофициальное русло. И тогда уже придется отбросить все надежды на то, чтобы неизбежные во всяком живом обществе конфликты разрешились посредством диалога и служили «мотором развития».

Нет, в этом случае конфликты обратятся не в катализатор общественной эволюции, а в социальный динамит, первые взрывы которого мы видели уже в Фергане и Алапаевске, Сумгаите и Моршанске. Социальная механика здесь очень напоминает механику техническую: под высоким давлением пар, идущий по специальным каналам, способен выполнять колоссальную работу; но если каналы перекрыты, котел взрывается. И тогда развитие идет слишком известным нам, в России, катастрофическим путем, при котором цена прогресса ставит под сомнение самый прогресс.

Увы, если неформалам перекроют путь в мир формалов, если их именем будут продолжать пугать и страдать с высоких трибун, то они так и останутся для общества «неопознанным социальным объектом», «НСО», первой реакцией на который будет описанный уже СТРАХ-2. Этот страх, в свою очередь, вполне способен стать психологическим горючим любой реставрации, любой реакции.

Выбор сегодня — между суверенным обществом, овладевающим собой, обществом, в котором не будет никаких «НСО», внушающих безотчетное стремление прибегнуть к репрессии во имя порядка, и таким порядком, который уже нельзя поддерживать без репрессий. Другими словами, если сегодня СТРАХ-2 не будет преодолен обществом, неизбежно возвращение СТРАХА-1, страха перед всеисильностью безликой и беспощадной госмашины, перед культом абсолютной госвласти.

Лишь интеграция всех культурных и политических субъектов в многосторонний диалог с общими «правилами игры», законами цивилизованного отстаивания своих интересов может избавить наши грядущие переходные времена от вспышки экстремизма и охранительной реакции на него. Создание механизма такого диалога, своего рода форума или «парламента» социальных движений и политических организаций, видимо, станет скоро в повестку дня.

Ибо в опознании «неопознанных социальных объектов» заинтересованы и общество, и сами эти «объекты», стремящиеся к самопроявлению, самоосознанию, к превращению в «субъекты»...

...Все это в будущем, которого может и не быть. Но все же без сегодняшних ростков гражданского общества, которые мы обозначили смутным термином «неформалы», завтра в нашей стране не будут возможны ни гражданское общество, ни гражданский мир, ни даже граждане, а будут лишь «власть» и «подданные».

20

КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ



Оформление Рудольфа Клочкова

Тяжело видеть, как в конце 80-х годов XX века дети играют в войну, а государство поощряет их в этом. Зайдите в любой магазин, продающий детские игрушки, половина из них — всевозможные автоматы, пистолеты, пушки, танки, пулеметы, бронетранспортеры и даже пусковые установки для ракет. В размножившихся залах игровых автоматов дети вместе со взрослыми с восторгом «сбивают» самолеты, «топят» корабли. В некоторых странах милитаристские игрушки носят еще более изощренный, злобный характер. По качеству мы явно отстаем, но вот по количеству, по «валу», вероятно, намного впереди.

В наших школах, как, может быть, нигде в мире, ученики начиная с девятого класса 2 часа в неделю тратят на военную подготовку (столько же часов уходит на физкультуру или биологию). Их заставляют заниматься строевой, учат стрелять, собирать и разбирать стрелковое оружие. Моего сына-десятиклассника в прошлом учебном году дважды снимали с занятий из-за стрельб в тире. В пионерлагерях дети участвуют в военной игре «Зарница».

Зачем мы все это делаем? Как совмещается подобное всеобщее военное обучение с декларациями о разоружении и мирных намерениях? Поймут ли нас? Да и можно ли понять? Тем более что и после объявленного 500-тысячного сокращения наша армия останется самой большой в мире. Кстати, из армии все чаще поступают жалобы не на неумение новобранцев ходить в ногу или разбирать автомат, а на их низкую физическую подготовку и выносливость...

Но вернемся к военным игрушкам. Считается, что они воспитывают в детях патриотизм, то есть любовь к Родине. Думаю, что любовь к Родине воспитывается путем изучения истории, литературы и искусства.

Прекрасно, что благодаря предложениям М. С. Горбачева и политических деятелей некоторых других стран наконец осуществляется сокращение и частичное уничтожение ракет среднего радиуса действия и некоторых видов обычных вооружений, обсуждается запрещение атомных испытаний и др. Но сколько лет уйдет на это? А о полном запрещении любого (кроме легкого стрелкового) оружия пока и не говорят, не думают даже.

А дети во всем мире по-прежнему играют в войну! Сейчас, когда само существование рода человеческого и без войны поставлено под угрозу, не пора ли всем странам планеты изменить политику в области воспитания детей?

В силу многих причин людям трудно сразу отказаться от оружия атомного, да и обычного, но ОТ ОРУЖИЯ ДЕТСКОГО ОТКАЗАТЬСЯ МОЖНО И НУЖНО. От этого выиграют все, кто желает человечеству в перспективе мира. В отдельных странах уже делаются попытки запретить или ограничить продажу милитаристских игрушек. Мне кажется, что и нам пора отказаться от уроков военного дела в школах и передать освободившиеся часы урокам физкультуры. Пора отказаться и от пресловутой игры «Зарница» в пионерлагерях.

Было бы разумно, если Советский комитет защиты мира или Детский фонд обратились бы, скажем, через ЮНЕСКО или другую международную организацию ко всем странам и народам с предложением: ПРЕКРАТИТЬ В 1990 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ МИЛИТАРИСТСКИХ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК и в том же году ЛИКВИДИРОВАТЬ ИХ ЗАПАСЫ.

Не вижу, кто может быть против подобного «разоружения». Оно помогло бы преодолеть психологический барьер в переговорах о разоружении взрослых.

Ликвидация во всемирном масштабе «оружия» детского будет не таким уж маленьким шагом. Жизнь заставит сделать и последующие шаги.

Вадим КОВДА.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И УКАЗАНИЕ,

или
ещё раз
о «демократии
по-киевски»

Когда я впервые увидел Сергея, то был вправе принять его за кого угодно — от бомжа до наркомана. Неуверенная походка, затрудненная речь, впалые, бледные щёки. Аспирант Сергей Федоринчик несколько дней как вышел из заключения, имея на руках справку, гласящую, что ее обладатель «в период с 28.02 по 11.03 1989 г. отбывал арест в спецприемнике УВД г. Киева за нарушение, предусмотренное ст. 173 АК УССР». О голодовке, которую Сергей проводил в тюрьме, не говорится ни слова, а зря: именно она послужила «смягчающим обстоятельством», позволившим ему отсидеть 11 суток вместо назначенных 15. Впрочем, на фоне беззаконий прошлого такие сроки кажутся смешотворными...

Началом «преступной» деятельности Сергея следует, очевидно, считать его вступление в украинскую экологическую ассоциацию «Зеленый світ», где он вскоре стал исполнять обязанности члена секретариата. Киевлянам еще памятен митинг 13 ноября прошлого года, на котором Сергей читал заключительную резолюцию в адрес Верховного Совета УССР: «Украина стала регионом, представляющим опасность не только для своего народа... Украина перенасыщена предприятиями экологически агрессивных отраслей промышленности...» На этой фразе отключается аппаратура. Попытки «прокричать» текст ни к чему не приводят. Многотысячная толпа скандирует: «Микро-фон!..»

Глас народа тогда в очередной раз не был услышан, но вот фамилия оратора... Трудно сказать, завис ли над ней уже тогда чиновный карандаш. Во всяком случае, было Сергею замечание: остановись, пересмотри свое поведение! Но нет, продолжал катиться по наклонной...

Февраль. Предвыборная ситуация в городе сложилась достаточно скандальная, о чем уже рассказывала «Юность»¹. Кандидаты от аппарата, несмотря на режим наибольшего благоприятствования, не встречали поддержки у остальных слоев населения. Первый секретарь горкома партии К. И. Масик², чья кандидатура выдвигалась по 33-му национально-территориальному округу (весь город Киев) в единственном числе — и все-таки не прошла, — пенял потом на пассивность пропагандистов. У добровольных же агитаторов, среди которых был и Федоринчик, в листовках стояли имена академика Амосова, поэта Драча — кандидатов от территориальных округов. Но главной задачей они ставили себе просветительство, распространение Закона о выборах, разъяснение своей позиции. «Один кандидат — это выборы без выбора» — гласил самодельный плакат Сергея. Вокруг плаката собирались люди. О чем-то спрашивали Федоринчика, спорили между собой. Шла агитация не за то или иное лицо — за демократию как таковую.

Из заявления Сергея Федоринчика в Киевскую городскую прокуратуру: «18.02.89 г. во время предвыборного окружного собрания я вел предвыборную агитацию на улице Саксаганского. Около 4 часов дня недалеко от улицы Руставели я подвергся нападению трех неизвестных. Они схватили меня и потащили в подворотню. На мой крик

«Помогите!» прибежали люди. Им удалось схватить одного из нападавших. Двое других скрылись, унеся с собой мои агитационные плакаты. Они успели ударить меня о стену и разбили очки. Задержанный был нетрезв и оказывал сопротивление, применяя удары типа каратэ.

Как только я позвал милицию — сразу же появился майор Кондратюк, за ним другие сотрудники милиции. С момента нападения прошло не более 10—15 секунд...

Требую возбуждения уголовного дела».

Небольшое уточнение. Майор Б. Кондратюк — начальник Ленинского РОВД г. Киева. Ему принадлежит фраза, не вошедшая в заявление: «Видите, ваша агитация до добра не доводит». Странное для должностного лица напутствие потерпевшему! Впрочем, Борис Петрович знал, что говорил, — его имя еще появится в повествовании.

Так или иначе, Сергей этим документом сам пошел на сближение с органами юстиции. Ответный шаг не заставил себя ждать.

Из заявления Сергея Федоринчика в Прокуратуру УССР от 27 февраля: «Основываясь на ст. 47 Закона о выборах, 24.02.89 г. я проводил предвыборную агитацию и распространял брошюру с Законом о выборах на ступеньках Киевского горисполкома. Около 19 ч. 10 мин. ко мне подошел человек в штатском, назвал заместителем начальника Ленинского райотдела милиции подполковником Шульгой и потребовал, чтобы я ушел отсюда. Я отказался подчиниться требованию, не основанному на Законе. Через 3—5 минут ко мне подошли двое вооруженных сотрудников милиции, один из которых был лейтенант, схватили и, ничего не объяснив, потащили к микроавтобусу, стоявшему на Крещатике. Они даже не реагировали на мой крик: «Нарушается Закон о выборах!», который слышали многие прохожие.

Внутри микроавтобуса меня поставили на колени, обыскали. Хотя я не оказывал сопротивления, меня стукнули один раз по затылку и два раза по спине. Затем меня взяли за уши и стали тереть лицом о свою обувь. При этом меня называли «падло».

Пачки с «Законом...» лежали на полу, одна пачка была разорвана, брошюры валялись под ногами. Закон был растоптан...

В райотделе меня продержали минут сорок, но так и не смогли объяснить основания моего задержания...

Если сотрудники киевской милиции и не знают законов, то правило «лучший способ обороны — нападение» они усвоили хорошо. Уже дважды Сергей выступал в роли истца. Третье-го раза нельзя было допустить.

Утром 28 февраля его вызвали в Ленинскую райпрокуратуру по поводу его первого заявления с требованием о возбуждении уголовного дела. (Вот когда пригодилось!) Неподалеку от здания прокуратуры его ожидала милицейская машина. В 11.45 Федоринчика задержали. «Это было делом нашей служебной техники», — как заметит мне потом не без гордости майор Кондратюк.

В постановлении суда было сказано, что Федоринчик «...злостно в оскорбительной форме проводил пропаганду против членов правительства, на замечания граждан не реагировал, ругался нецензурными словами, а также не реагировал на замечания работников милиции...»

Мера наказания — 15 суток. Судья Ружицкий, вынесший постановление, заявил мне, что рассматривал дело 15 минут. По минуте на сутки?..

При том градусе общественной активности, какая в то время была в Киеве, «замолчать» ситуацию не удалось. Подписывались письма в защиту Федоринчика. На предвыборных встречах писатели — кандидаты И. Драч, Ю. Щербак, В. Яворивский говорили о беззаконии и произволе городских властей, проявившихся в этом деле. Олесь Гончар, пользуясь своими полномочиями депутата Верховного Совета СССР, обращался с запросом в органы юстиции... Молчание. Где, в чьем ящике стола скапливалась вся эта корреспонденция? Может быть, надеялись, что по прошествии некоторого времени волнение уляжется само собой?..

После суда события разворачивались следующим образом. 28.02.89 г. Сергея помещают в особую камеру спецприемника — «лентяйку», откуда на работы не выводят. Сомнительная привилегия «политических»... В камере — в лучших традициях — параша, общие нары и одна на всех зубная щетка (!).

1.03.89 г. Сергей требует, чтобы его вывели на работы или предоставили ручку и бумагу для подготовки диссертации. Ему отказывают.

2.03.89 г. В 11 часов 45 минут — ровно через двое суток

¹ Ю. Щербак «Как я стал народным депутатом». «Юность», 1989, № 6.

² Ныне зампред Совмина УССР.

после задержания — Федоринчик объявляет голодовку, о чем уведомляет Дарницкую райпрокуратуру г. Киева (специрjemник находится на территории Дарницкого района).

3.03.89 г. Жене Сергея Татьяна звонит его сокамерник, некий Виктор, отсидевший очередные сутки (в общей сложности 17 лет судимости). Виктор диктует записку Сергея: «Сталинщина еще жива, неограниченны произвол и беззаконие. Единственное, что я могу сделать — это голодать».

4.03.89 г. Федоринчик требует телефонного разговора с женой, что не запрещено Правилами пребывания в спецприемнике. Ему отказывают, тогда как остальные заключенные имеют эту возможность.

5.03.89 г. У республиканского стадиона идет многолюдный митинг киевского «Мемориала», на котором оглашается записка Сергея и рассуждается о его положении. Сообщение вызывает соответствующую бурную реакцию.

Городская газета «Прапор комунізму» публикует статью за подписью В. Мостового «Игра в политику на свежем воздухе». Вот ее заключительные строки: «Казалось бы, сама жизнь Сергея Федоринчика вместила самые достоверные доказательства братства трех славянских народов нашей страны. Он белорус, родился в Минской области, проживает в столице Украины, учится в Москве в аспирантуре Центрального научно-исследовательского института связи. Однако...» Конеч цитаты и конец статьи. Многозначительное многоточие. «Прицел» на обвинение в национализме?..

6.03.89 г. Член движения «Ноосфера» Р. В. Сотникова звонит в Ленинский РОВД с вопросом о Федоринчике. В ответ слышит: «Мелкий хулиган!»

8.03.89 г. «Ноосфера» пикетирует здание спецприемника с требованием освободить Федоринчика.

9.03.89 г. В спецприемник приезжает машина «скорой помощи». Врач предлагает Сергею прекратить голодовку. Он отказывается.

10.03.89 г. Народный судья Ружицкий (тот же самый) постановляет ограничить сроки заключения Федоринчика 11 сутками вместо 15 в связи с голодовкой и общим ухудшением состояния здоровья заключенного.

11.03.89 г. 11 часов 45 минут. Федоринчика освобождают. Завидная педантичность в вопросах режима...

Наказание закончилось. Преступление продолжалось. Сергей стал добиваться реабилитации.

Из жалобы (в порядке надзора) прокурору г. Киева адвоката А. С. Хаперского:

«(...) Проведение пропаганды — действие не только не запрещенное, а, наоборот, согласно ч. 3 ст. 47 Закона СССР о выборах народных депутатов гражданам гарантируется возможность свободного и всестороннего обсуждения политических, деловых и личных качеств кандидатов... Какая конкретно была форма пропаганды, в чем ее оскорбительность и для кого — ни в постановлении судьи, ни в других материалах дела не указано. (...)»

Согласно ст. 268 КоАП УССР лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе давать объяснения, заявлять ходатайства, пользоваться юридической помощью адвоката. Присутствие лица, привлекаемого к ответственности по ст. 173, при рассмотрении дела обязательно. Несмотря на это, судья Ружицкий не только не вызвал и не опросил свидетелей, что предусмотрено ст. 278 КоАП УССР, но даже рассмотрел дело в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности. (...)»

Протестовать документ полностью невозможно — в жалобе семь пунктов, и каждый свидетельствует о нарушении законности.

Делом Федоринчика заинтересовалась газета «Труд». 14 марта ее собор по Украине Елена Федоровна Рыбина-Косова и я пришли в Ленинский РОВД. Договорились о встрече с майором Кондратюком заблаговременно. Тем не менее начальник РОВД встретил нас не один, а в составе сильной команды: капитан милиции Савенко (именно он руководил задержанием), подполковник Шульга, районный прокурор Зинкевич, председатель райнарсуда Дурицкий... Предполагалось воевать не умением, а числом. И действительно, разговор получился несколько односторонним: на нас сыпались обвинения в неэффективности, некомпетентности, ...фальсификации (воистину с большой головы на здоровую!). Грозили сообщить о нас «что следует» в родные редакции... В буре ведомственного негодования запомнилась фраза, с неподдельной горечью брошенная Кондратюком: «Я в жизни больше сделал и создал, чем какой-то аспирант!» (Любопытно, а если бы речь шла о дворнике?..)

Вопрос, который мы приберегли под конец:

— Как вы расцениваете высказывание прокурора города В. И. Шевченко на встрече с прессой, где он назвал действия в отношении Федоринчика «поспешными»?

Молчание. Его, пожалуй, можно считать ответом по существу.

Некоторое время спустя состоялся повторный суд. На этот раз он длился три дня. Начала рассмотрение дела судья Индута, заканчивал председатель суда Дурицкий. Свидетель С. Кузьма, чьи показания составили основу постановления суда от 28 февраля, признался, что писал их под диктовку милиции. (Для справки: свидетель учится на юридическом факультете КГУ, так что его участие в первом разбирательстве можно считать внеочередной практикой.) Это второе показание председатель квалифицировал как неправдивое, предпочтя честь мундира чести суда. Решение об 11 сутках административного ареста осталось в силе.

Легко догадаться, что история продолжается. Последнее постановление также обжаловано. «Я надеюсь, что прокурор города даст надлежащую оценку злоупотреблениям, допущенным работниками правоохранительных органов», — говорит адвокат Хаперский. Ну что ж, мы тоже надеемся, что человек, находящийся на этом посту, справедлив, объективен и знает законы. И что его указания будут выполненными...

В том, что произошло и еще происходит с Федоринчиком, есть своя логика. Вначале можно попытаться припугнуть слишком ретивого перестройщика. Не боится? — тогда оклеветать, дискредитировать. Не верят? — тогда вот это, самое, может быть, действительное: запутать в паутине всевозможных бумаг, жалоб, обращений, представить его если не мелким хулиганом, так мелким склочником. Но для Сергея его реабилитация — такое же общественное дело, как и те, которыми он занимался последние годы. Федоринчик добивается ее ради того, чтобы мы когда-нибудь стали правовым государством. Чтобы судебные процессы не возникали на пустом месте, чтобы оперативники не били задержанных и не диктовали показания свидетелям, чтобы подсудимые были равны перед законом независимо от заслуг и даже при полном отсутствии таковых.

...А пока демократия по-прежнему наказуема. Если не уголовно, так административно.

20-Я КОМНАТА попросила высказаться по поводу происшедших в Киеве событий народного депутата СССР, писателя ЮРИЯ ЩЕРБАКА:

— В конце 1986 года, после опубликования моей документальной повести «Чернобыль» в журнале «Юность», меня познакомили с молодым белорусом-кибернетиком. Звали его Сергей Федоринчик. Он чист, правдив и бесхитроуен — и эти его качества в сочетании с широкой эрудицией снискали ему большую популярность в интеллигентских кругах Киева. И вот грянули выборы... Одним из предвестников свободы и рождающейся в муках отечественной демократии стал Сергей Федоринчик. С присущей ему страстностью окупился он в гущу предвыборной борьбы. Выступал на митингах, стоял в пикетах.

И когда вышел на ступени горисполкома, чтобы продавать Закон о выборах — не по спекулятивной цене, а по номиналу, чтоб народ знал, — чаша терпения наших киевских властей переполнилась. А надо сказать, что чаша эта — одна из самых микроскопических в стране. «Демократия по-киевски» — предмет особого разговора...

И вот человека, который органически неспособен сквернословить, обвиняют... в хулиганстве. Абсурдность этого обвинения ясна каждому, кто мало-мальски знает Федоринчика.

Сразу же после ареста несколько кандидатов в народные депутаты СССР — и я в том числе — обратились с протестом к Генеральному прокурору СССР. Федоринчик был освобожден. Досрочно. Власть сделали все, чтобы превратить нормального честного аспиранта в героя Киева. Спасибо им за это.

Игорь ГРИЦЕНКО

Р. С. Когда верстался номер, пришло сообщение о том, что председатель Киевского городского суда отменил все вышеуказанные постановления по «делу Федоринчика». Он полностью реабилитирован. Но понес ли кто-нибудь ответственность за допущенные беззакония?

Свободный микрофон

Предвзято —
с ЛЮБОВЬЮ

Осознанно или неосознанно, все мы стремимся, чтобы нас уважали и любили окружающие. Чтобы мы что-то значили в этой жизни. То есть в жизни других людей. А все другие цели — лишь промежуточные, рабочие пункты.

Конечно, масштабы этого желания различны. Кто-то хочет что-то значить для узкого круга знакомых, единомышленников. (Скажем, в клубе аквариумистов или в спортивной секции.) Но моя цель такова: хочу, чтоб меня любили все окружающие, все вы. Возможно ли это? Не знаю.

В каждом человеке есть что-то, достойное любви или хотя бы уважения. Надо только научиться видеть это. Я стараюсь помнить, что я не носитель истины в последней инстанции. Так оставляйте каждому человеку право быть таким, какой он есть! Не встречайте с ходу в штывы непривычные слова, необъяснимые поступки ваших друзей и недругов. Попытайтесь сначала понять их, вжиться в их ситуацию, прочувствовать. Подходите ко ВСЕМ предвзято — с любовью. Чтоб вас любили, любите сами!

Я врач. Оттого мне проще, наверное, понимать это. В моей реанимации лечились и умирали люди, прожившие разную жизнь. Я лечил их, как мог.

В одно из первых дежурств у меня умирала шестнадцатилетняя красивая девочка. Жизнь ее только начиналась, но диагноз — «острый менингоэнцефалит». Три дня от начала заболевания. Я не отходил от нее сутки. Но ничего не мог сделать. Медицина не всемогуща. Плакали медсестры, привычные к тому, что в реанимации умирают. Мысль о том, что я ничего не могу сделать, рвала мне душу. Я готов был отдать часть своей жизни, лишь бы она выжила... Тогда, наверное, я и осознал, как мало отводит нам природа. Никто не знает, что его ждет завтра. Что ждет завтра того, кто живет с тобой в одной квартире или едет в одном трамвае. Я понял, что пока есть возможность, надо делать жизнь окружающих ярче, чище, светлее. Именно СПЕШИТЬ делать добро!

Это нужно не только окружающим. Это в первую очередь нужно вам. Не бойтесь давать авансы любви и доброты. Они вернутся к вам стократно. Подходите к окружающим с мыслью: «Я знаю, что вы меня любите. Я бесконечно вам благодарен. Я люблю вас...» Или хотя бы безоценочно, с интересом. Это мой главный рецепт. И действует он почти безотказно. Но надо этому сначала научиться. Это не совсем просто.

Если вы возмущены, выражайте свое возмущение в излишне ласковой форме. Типа: «Уважаемый сэр! Мне кажется, вы не правы... А не угодно ли вам...» В любом конфликте главное — спокойствие. Спокойствие, доброжелательность — и моральная победа вам обеспечена.

В нашей жизни есть удачи и неудачи. Неминуемо есть и то, и другое. Не относитесь к любой неудаче, какого масштаба бы она ни была, как к крушению судьбы. Принимайте удары с достоинством, может быть, как должное. Сегодня потеряли одно, а завтра (через месяц, через год) вы обретете что-то более стоящее. Не поступили в институт? А может, через год вы поступите в другой, и всю оставшуюся жизнь будете благодарить судьбу, что так вышло. Ушла к другому? «Пусть будут счастливы», — через два года подумаете вы. Ведь если б этого не произошло, то новой встречи могло не случиться. Или, что еще хуже, было бы слишком поздно. Потеряли деньги? Совсем пустяки... Были не правы? Не стесняйтесь исправить ошибку. Смело начинайте новую жизнь. Не бойтесь это делать ежедневно!

Я не поддакиваю, когда не знаю, о чем речь. Или когда ругают за глаза. Я уважаю и люблю тех, кто тоже молчит при этом. Можно поговорить о женской красоте, но я стараюсь уйти от разговоров на скабрзные темы, когда пересекается граница уважительного отношения к женщине. Я не считаю себя ханжой. Но, мне кажется, в любой женщине есть что-то святое, от Бога... А может, в каждом человеке?

Я не одобряю яростных борцов с чужими недостатками. На одном из комсомольских собраний в институте я слышал: «Добро должно быть с кулаками!» Речь шла о нашем товарище, который устроил в общежитии день рождения, а на столе стояло шампанское. То есть «пьянство и разврат», по определению секретаря ВЛКСМ. Он считал «добром», если парня исключить из комсомола и из института. «Пусть сходит в армию, наберется ума, потом дальше учится...» Парня мы тогда отстояли. А через 4 года этот комсомольский лидер, коммунист, был отчислен из института за кражу норковой шапки. Скажите, смог бы он украсть, если бы понимал, как плохо человеку, когда он лишается чего-то? А добро с кулаками — абсурд! Это маскирующееся зло. Мимикрия. Я кусаю губы от досады, вспоминая, как много лет назад ударил пьяного парня, выкрикивавшего фашистские лозунги. Он потерял сознание. Потом очнулся, я отвел его в приемное нейрохирургии, сам ушел. Потом узнал — он пролежал три дня с сотрясением головного мозга, выписался. Мало ли что он кричал сдуру, вдруг после этого у него всю оставшуюся жизнь будут головные боли?! Так бывает...

Я не забуду, как умирал в реанимации мальчик-«металлист». Его избил бывший афганец, требуя снять «железяки». Вот оно, «добро» с кулаками! Парень, повзрослев, сам бы их снял. Они ведь никому не мешали. А каково горе матери, потерявшей не только сына, а и единственного родного человека вообще?!

Я говорил со многими афганцами. Часто слышишь от них, что, пройдя школу войны в Афганистане, они прошли школу жизни. Ни в коем случае! Здесь мир, здесь другие методы. Здесь практически нет смертельных врагов. Один афганец с гордостью рассказывал мне, как по приказу, ночью, танком топтал хижин. А другой, с орденом Красной Звезды и следами в глазах, говорил, что Афганистан — это его боль до конца жизни.

Я уважаю тех, кто там был. Сам писал заявление, но вскоре был подписан договор о выводе войск... Все неоднозначно. Но здесь-то мир! Разожмите кулаки! И не надо, ребята, оказывать помощь в разгоне мирных демонстраций, как было не раз и не в одном городе. Вы, афганцы, сильно любите жизнь, потому что умеете ею рисковать, когда надо. Спешите наполнить ее добротой и любовью!

Уже пятый год я врач. Оттого мне легче делать добро. Это моя профессиональная обязанность. Я не спрашиваю у больного, какой он человек, какое у него социальное положение, как он ко мне относится. От этого не меняется мое отношение к нему. Я не могу лечить лучше или хуже. Лечу, как умею. Как может медицина сегодня.

Недавно я отказался вступить в партию. Зачем? Это не поможет мне в достижении главной цели. Может, наше время даст приток новых сил в КПСС. И это тоже неоднозначно. Для многих это был единственный путь стать руководителем любого ранга. (Хотя они часто и без членства в партии это заслуживали.) Среди них есть прекрасные люди!

Игорь СВЕТЛОВСКИЙ, г. Москва

Операция «Периферия»



Убогий одноэтажный барак, затхлый запах небольшого коридора, в который вместились и зловоние кирзовых сапог, и угар из печек, дверцы которых глядели в коридор, и различные запахи грязного белья, преющих овчин и порченных продуктов. Школа, долгие дороги через снегопад, размытые дождями тропинки до дома. Мучения с уроками. Холод. Тоска по солнцу.

Все это — мое магаданское детство.

Но был и дед Кузьмич, живший со своей бабкой, имени которой мы так никогда и не узнали. Он походил на лешего и нравился нам тем, что постоянно приносил из леса (дом-то стоял на окраине) множество шишек, грибов, трав. Все его богатства сушились на чердаке, и когда Кузьмич отлучался из дому, мы пробирались по очень крутой лестнице на крышу и лакомились сладкими зернами кедровых орешков.

Тайком мы с соседскими детьми убегали порой на море, собирали медуз, морских звезд, искали раковины...

Дом, который приютил нас сейчас, тоже имеет свою примечательную историю. Рос он во время великого заселения Колымы. Строился в период «ситцевых палаток» — с 1929 по 1939 год. Старожилы рассказывают, что это было чуть ли не одно из первых деревянных стросний центральной части Магадана. Вначале вырос забор из колючей проволоки, появились вышки для надзирателей. Потом стали регулярно привозить людей в одинаковых одесждах с номерами на груди, колене и шапке. Вот они-то и произвели на свет строение, которое по сию пору укрывает нас от мороза и ветра. Когда-то в кухнях работали печи и было тепло. Теперь полуразрушенные их остовы держат перекрытия первого и второго этажей с тем, чтобы последние не завалились. Печи занимают большую часть кухни и служат прибежищем для крыс.

Когда мы учились в школе, то искренне верили, что наш город станет лучше, краше, нарядней. На глазах подрастающих граждан Магадана появлялись взамен покосившихся бараков новые дома, улицы, микрорайоны. Еще вчера мы тайком пробирались к одноэтажному зданию студии телевидения, чтобы взглянуть на живого диктора, а сегодня на этом месте стоит Дом политпросвещения, молчаливый, полупустой. А студия телевидения — красивое двухэтажное здание напротив политпросвета — транслирует свои передачи почти на всю область.

За ней расстилается парк.

Сейчас об экологии рассуждают все. И Магадан не стал исключением. Вырублены большей частью пойменные леса по берегам нерестовых рек, проведен длительный эксперимент по искусственному разведению лососей в инкубаторах, теперь наши ученые утверждают, что дальнейшие испытания по программе «Лосось» проводить бессмысленно. Исковерканы ложа рек золотодобытчиками, искорежена тундра вездеходами и горной техникой, разрушены естественные пастбища. Облесполком собирает предложения по охране тундровой зоны. Вот последние данные по сокращению ягельных пастбищ в оленеводческих районах: Чаунский — на 198 157 га, Билибинский — на 71 350 га, Шмидтовский — на 104 300 га. Иначе говоря, лишены пищи на сегодняшний день в Шмидтовском районе 3500 голов оленей, в Чаунском — 1500 оленей, в Билибинском — 1000. Сейчас специальный комитет занимается выработкой единых для этих трех районов маршрутов выпаса, чтобы сохранить еще имеющиеся поголовье. Таким образом, бесхозяйственное использование земель привело к полному исчезновению национального промысла коренных жителей Магаданской области, о чаяниях и возможностях которых мы лишь сегодня заговорили. По сути, у разбитого корыта.

Там, где работают полигоны, а работают они почти везде в нашей области, систематически раздаются «мирные» взрывы для нужд проходчиков. Вместе с ними взлетает в воздух масса ядовитых отравляющих веществ. Значит, и с воздухом не все у нас в порядке.

Однако и по сей день не чувствуется горькой тревоги за создавшуюся экологическую ситуацию в области. Видно, сказывается еще временщицкая психология (здесь-то проживание временное, как, скажем, на остановке автобуса, постоял да поехал восвояси). А потому шум вокруг брошенных бочек, никчемных гидроэлектростанций, погибших лесов, реки Колымы не вызывает должного резонанса.

...А город растет бурно, широко, уже высятся дома на сопке, которая казалась нам вечной и неприступной. Лишь одно место на ней было более всего уязвимо — широкое стрельбище, до которого и было двадцать минут ходу. Теперь стрельбище заселено, и далее следуют накатанные дороги. Кругом улицы, минимум растительности, только дома, дома, искореженные снегопадами, с облезающей краской.

Наша улица выбегает из моря. Когда-то очерченная баракками, сейчас она ограждена домами, имеет твердое покрытие, и уже груженные машины обходят ее по транспортному кольцу. Рядом центр. Ряды высоких пятиэтажных домов закрывают от внешнего мира старые постройки, дожившие до сегодняшних дней, и увидеть их можно лишь тогда, когда путь пролегает через очередную арку в сквозной дворик.

Вот таков он — мой Магадан.

Любовь КОЖЕУРОВА
г. Магадан.



Дорогие читатели! 20-я комната спешит уведомить вас, что в январе в городе Днепропетровске состоится первый всесоюзный фестиваль команд КВН и авторских сценических программ под общим названием «КИВИН-90».

В работе фестиваля примут участие лучшие команды КВН, театральные коллективы и творческие объединения на базе неакадемических учебных заведений и творческих союзов, а также отдельные представители литературного и эстрадного «андеграунда».

В связи с этим событием редакция молодежных программ ЦТ подготовит специальную передачу, а наш раздел — литературную страничку, в которой мы поместим работы некоторых авторов — участников предстоящего фестиваля.

Внимание госпредприятий и кооперативов, желающих помочь новому творческому образованию, а также получить рекламу в телепередаче либо на страницах журнала.

Адрес оргкомитета фестиваля:

г. Днепропетровск, 320041, ул. Трудовые резервы, 7, Игротехника «КИВИН-90»

г. Москва, 115522, ул. Москворечье, 19, корп. 2, комната 62: «КИВИН-90».

По этим же адресам оргкомитет ждет писем, предложений и всевозможной помощи от читателей журнала.

Не забывайте, пожалуйста, указывать обратный адрес или телефон.

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы воздерживались от полемики с журналом «Молодая гвардия», несмотря на обращение к нам критиков, публицистов и многочисленные письма читателей. Мы исходили из того, что любой литературный спор убедительнее всего решается качеством самой литературы. Однако июльский номер «Молодой гвардии» заставил нас прервать молчание.

В «Молодой гвардии» на сей раз мы имеем дело не с литературными выпадами, а с попыткой политически дезориентировать молодежь. Реальные трудности, переживаемые нашей страной, агрессивно используются главным редактором журнала Анатолием Ивановым и его окружением для неблагоприятных целей.

Мы считаем нелишним отметить, что все авторы упомянутого номера клянутся в своей верности перестройке. Посмотрим, как они ее понимают.

Характерно, что слово предоставляется самой Нине Андреевой, которая ставит вопрос ребром: «Во что мы перестраиваем «рожденный в боях социализм»? Ясное дело, раз, по ее мнению, социализм уже возведен, то его перестройка может иметь только антисоциалистический характер. Она пишет: «В нашей стране антисоциалистические силы с помощью ревизионистских элементов развернули в лоне перестройки процессы, сходные с событиями 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии». Нетрудно понять, в кого она метит, проводя эту «параллель». Только не выговаривает Нина Андреева, какие войска надо вводить в Москву, чтобы покончить с ревизионизмом. «Не пора ли остановить активность псевдоперестройщиков?» — вызывает она, имея в виду «Огонек», «Московские новости», «Юность», «Советскую культуру», «Неву» и «некоторые другие издания». Откуда такая застенчивость? Почему не сказать прямо, что не «некоторые», а почти все центральные издания, включая партийные. И не только центральные...

Таким образом, политическая позиция «Молодой гвардии» скреплена авторитетом Нины Андреевой.

Теперь об экономике. Думаете, надо демонтировать командно-административную систему, предоставить экономическую самостоятельность целым районам, предприятиям, развивать аренду? Ничего подобного. Журнал вещает устами Владимира Якушева: «Может быть, лучше не ломать действующую экономическую систему, а основательно очистить ее от «чужеродных тел» (!!) и перестроить ее работу на основе марксистско-ленинского учения?.. В стране есть ученые, готовые представить вновь избранному правительству страны конкретные предложения». Готовы представить, но почему-то не представляют... Подозрительно.

И маленькая неувязка. Нина Андреева считает, что социализм построен по всем правилам, а Владимир Якушев предлагает «перестроить» его экономику «на основе марксистско-ленинского учения». Пусть он и объяснит Нине Андреевой, на какой основе мы строили раньше.

Наконец, о позиции журнала в национальном вопросе. М. С. Горбачев на сессии Верховного Совета, говоря о необходимости «восстановить справедливость там, где она нарушена», отметил работу комиссий Совета Национальностей «по проблемам турок-месхетинцев, крымских татар, советских немцев», то есть тех, кто в годы сталинщины был насильственно переселен. Больные проблемы, тяжелые. А «Молодая гвардия» неустойчиво занимается палестинцами. Почему? Да потому, что в действительности авторам журнала, видимо, и дела нет до страданий палестинцев, это прием, метафора, а суть: сионисты якобы обездолили русских так же, как палестинцев. Эдуард Скобелев в «Уроках Палестины» и других стихах сообщает, что «на глазах у всей честной планеты лишили вечных очагов народ», что в нашей стране охаян труд советского человека, «прав повсюду Каин, посажен честный и отпущен вор» и вообще «чахнет Русь от вражеского зелья». Заметьте, пьют не русскую водку, а вражеское зелье, ихнее! Углубляет эту мысль Игорь Ляпин в сочинении «Братья-палестинцы»: «Гнев и боль на скорбных лицах, нет житья в родном краю (!!), отчий дом, как за граница (!!), я о братьях-палестинцах думаю думаю свою». И додумывается: «И в поселке, и в столице... у чернойбыль-

ской границы — все мы в чем-то палестинцы, все с надрывинкой в душе». Подобные авторы — борцы против мнимой русофобии — сами-то не очень уважают великий русский народ: «оккупанты» якобы делают с ним что хотят, сжигают со свету, спаивают...

Вносит ясность в межнациональные отношения Николай Кузьмин, который сам простодушно определяет свой интеллектуальный уровень: «Где я только не учился, куда только не поступал!» И перечисляет институты — медицинский, горный, стали и сплавов, пищевой, литературный, военноморскую академию... «Студентом я оказался весьма и весьма нерадивым», «за все пять лет учебы не высадил ни одного дня (!) на лекциях...» Ему чуть не попало в свое время за «Доктора Живаго», но, слава богу, Н. Кузьмин, «прочитав знаменитый роман... нашел, что он очень слаб... и со спокойной совестью сжег (!) эту книгу». Вот молодец!

Когда Н. Кузьмин жил в Алма-Ате, ему «требовалось выдержать экзамен по казахскому языку. Не стану скрывать, пишет он, отношение к этому предмету у нас у всех было откровенно наплевательское». Ни за что не угадаете, какой вывод делает Кузьмин из этого «факта»? А вот какой: «Нас, русских, сейчас называют колонизаторами. Но если бы мы такими были на самом деле, то уж казахский-то язык выучили бы непременно!» Это большое открытие. Оказывается, колонизаторы тем и отличались, что изучали языки туземцев, а не наоборот. Интересно, почему это до сих пор негры в Африке говорят на европейских языках? А Н. Кузьмин продолжает делать открытия: «Начнем с того, что Алтай во все времена (!) был исконно русским краем. Его «прирезали» к Казахстану...» Просим прощения у алтайцев и казахов за то, что перепечатываем такие глупости. Если б Н. Кузьмин не предупредил нас о своем невежестве, можно было бы его считать провокатором. В таком же стиле он оценивает ситуацию и в других республиках: «Огромные националисты в Риге до того обнаглели, что без всякого стеснения открыто проповедают имперскую политику»... Испугался Кузьмин «латышской империи»!

Латыши обеспокоены тем, что могут оказаться в меньшинстве у себя дома, а Кузьмин попрекает их перепроизводством интеллигенции: «оттого-то республики и вынуждены (?) были ввозить так называемых мигрантов. Ведь кому-то надо было и работать! Не может же нация состоять из одних актеров, писателей и кандидатов наук!» Это двойная несправедливость. Во-первых, в республиках достаточно рабочих и крестьян. А во-вторых, кто внушил Кузьмину, что интеллигенция не работает? Наконец, в связи с тем, что «в некоторых республиках восстановлены старые флаги и старые гимны», наш «демократ» восклицает: «что за чушь!» — и призывает «употребить имеющуюся власть... На то она и власть!» Как же, как же. Еще Нина Андреева сказала: «Не пора ли остановить...» и т. д.

На таком же уровне трактует Кузьмин и нашу историю. Все дело опять же в сионистах-русофобах. Хорошо, что Сталин победил Троцкого, Зиновьева и им подобных: «Одолей они «кремлевского горца», и мир содрогнулся бы от ужаса террора... Троцкого с его забрызганным кровью воинством». Интересно, чье было бы это «воинство»? Состоящее исключительно из хриstopродавцев?

Тема хриstopродавцев волнует и В. Бушину, о котором справочник «Писатели Москвы» сообщает, что он «прозаик, поэт (!), критик. Бушин выступает с принципиально антибрежневских позиций. Не он ли был диссидентом, не его ли исключали? Отнюдь. Его как раз при Брежневе приняли в СП СССР. Теперь он задним числом расхрабрился и клеймит Евтушенко, Вознесенского, Поженина за недостаточную принципиальность в годы застоя. Клеймит и клеветает. Он включает их в список «нечистых», где значатся и ненавистные ему главные редакторы «Советской культуры», «Огонька», «Юности», а среди них... «Искарriot Иуда Симонич, хриstopродавец». Бушину снится сон, что это выборы, надо выбрать одиоба. Бушин с супругой обливает помоями всех «кандидатов», кроме Иуды, который не участвовал «в осанетелой травле скромного преподавателя Нины Андреевой». Супруги советуются:

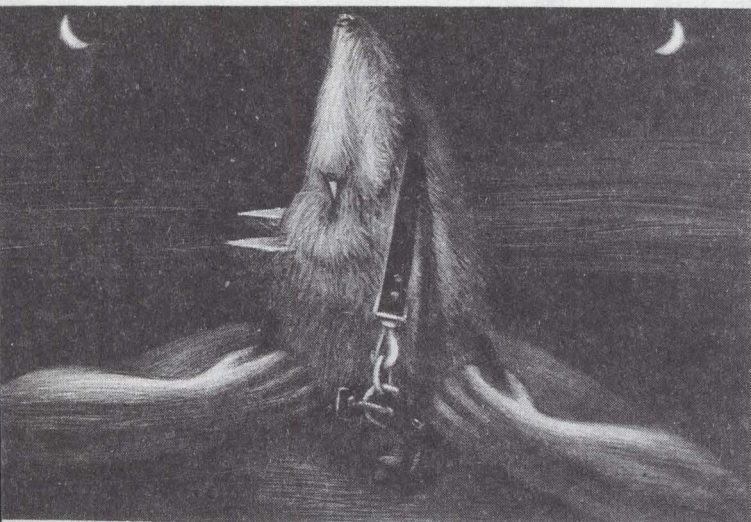
— Так что ж, голосуем за Иуду Симонича?

— Как за достойнейшего!

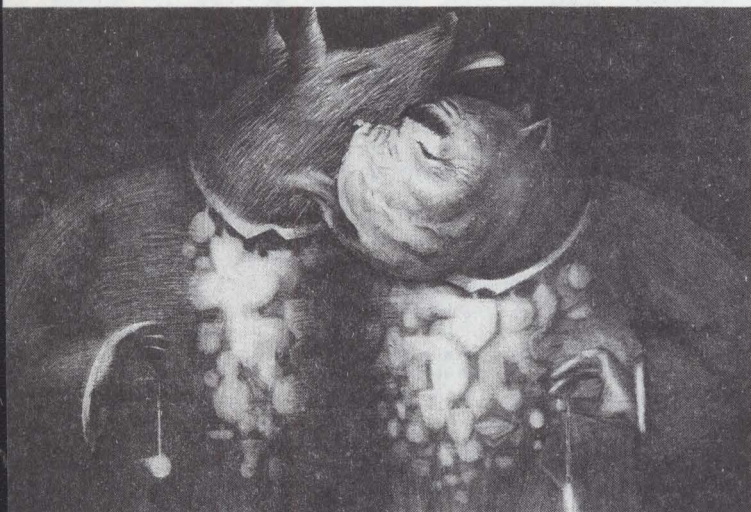
И, вычеркнув всех остальных, мы опустили в урну наши бюллетени.

С чем вас и поздравляем!

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕРЕЖЕ ХАДЖИНОВЕ



Из серии «Бестиарий»



Прошел не один месяц с того черного дня, когда нас, художников Киева, поразила страшная весть о катастрофе, случившейся с автобусом в далеком Узбекистане: в нем ехали наши молодые художники, находившиеся там в творческой командировке, есть погибшие, раненные. Конкретно пока никто ничего не знает. Слухи, как всегда, все преувеличивают. Наконец проясняется: погибла молодая киевская художница, керамист, красавица Марина Хусид и кто-то из Ворошиловграда. КТО??? И почему-то в глубине души сразу возникло — вдруг Сережа Хаджинов? Хотя я не знала, что он тоже в этой группе... Нет, этого не может быть.

Потом неотвратимое в своем ужасе известие — погиб и Хаджинов...

Тот самый, милый, умный, необычайно талантливый и обаятельный Сережа, которого я знала еще мальчиком. В то время наши семьи жили летом в чудесном Седневе Черниговской области. Там у нас, украинских художников, творческая база, а летом — дом отдыха. Сережин отец — тоже художник.

Сережу, внешне совсем незаметного, очень худенького подростка, родители всегда ставили в пример своим детям, мечтаая направить их по своим стопам:

— Ну почему ты все болтаешься? Пошел бы порисовал, ведь такая красота кругом. Посмотри на Сережу — опять пошел работать!

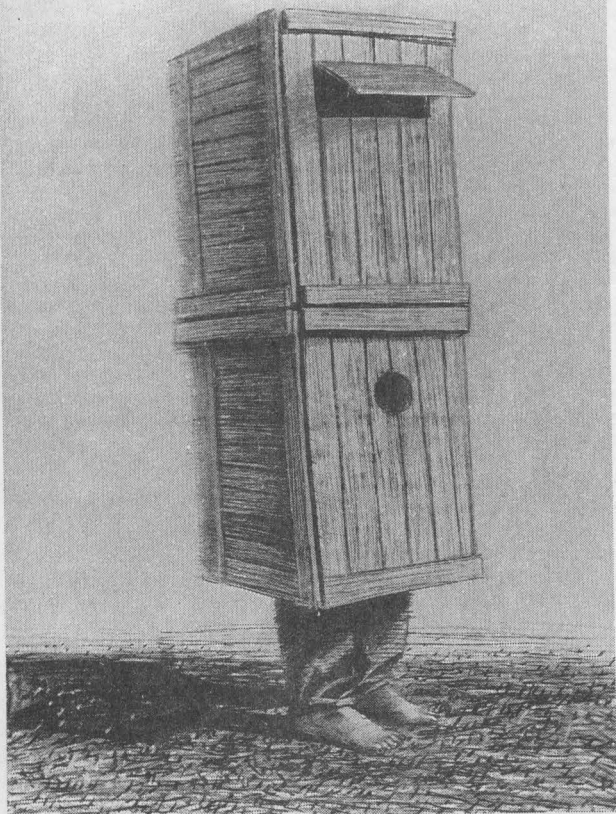
Писал тогда Сережа просто, бесхитростно. С наивной любовью к природе и с упорным желанием постигнуть нелегкое мастерство живописца, стать профессионалом. Не было его видно ни на пляже, ни среди шумных сверстников. Только большой, не по росту, этюдник проглядывал где-нибудь в укромном уголке, вдали от людских глаз. Был он тогда студентом Ворошиловградского художественного училища.

Прошло около десяти лет. И вот однажды весной, когда молодые художники собираются в Седнев для творческой работы, я была назначена руководителем группы. Ребята разные, почти все незнакомые. Но лицо одного из них кого-то мне напоминает. Среднего роста, худой, с несколько восточным разрезом узких карих глаз. В них что-то очень живое, умное и доброе. Где я видела его раньше? А он так просто, с таким радушием подошел и представился:

— Я — Сережа Хаджинов, помните?

Ну, конечно же! Рассказывает о себе. Учился в Харькове. График. Сразу же установились очень простые, товарищеские отношения. Эта его душевная открытость, коммуникабельность, доверительность в общении очень быстро привлекли к нему всех работавших в группе художников.

Но он вовсе не был «добрячком» — у него был очень острый и наблюдательный, ироничный ум. Он мог всегда беззлобно посмеяться и над товарищем, и над собой. Всегда очень честно, умно и откровенно высказывался о работах



Из серии «Человек и время»

товарищей, не боясь сказать и горькую правду. Но вместе с тем очень искренне и даже простодушно радовался успеху другого, не чувствуя ни малейшей зависти к любой удаче. Это качество, к сожалению, далеко не всегда встречается в нашей среде, изобилующей болезненными самолюбиями.

Много читал, прекрасно разбирался в очень сложных вопросах современности. В общем, был по-настоящему интеллигентным человеком.

К своему творчеству он относился особенно требовательно. Помню, долго не решался тогда, в Седневе, показать мне свои работы. Мучился: «Ничего не могу сделать, что-то ничего не получается»...

Наконец, позвал. И сразу почувствовала: очень талантлив, интеллектуален, сложен, поэтичен. Эти работы Сережи ничего общего не имели с его наивными ученическими этюдами. В них сразу угадывалось его очень своеобразное видение мира, органическое соединение в нем реального и фантастического, неожиданных, но по-своему очень убедительных превращений людей, деревьев, скворечников, заборов, домов в своеобразные поэтические образы-метафоры. Все это живет на его листах своей особой сложной поэтической жизнью, создавая у зрителя неожиданно острые чувства и ассоциации. И хотя внешне его листы и далеки от обычного правдоподобия, они наполнены живым обаянием весны, и работающих на земле людей, и неповторимым колоритом Седнева.

Сережа в творчестве продолжал стремительно идти вверх. Появление каждой его новой графической серии становилось событием. В каждой из них с новой силой проявлял он свое духовное богатство.

И вдруг — сокрушительный удар...

Вскоре после его трагической гибели на Республиканской художественной выставке, посвященной 70-летию комсомола, экспонировалась его великолепная серия «Человек и время». Она буквально приковала к себе внимание зрителей. Сколько в этих листах глубокого внутреннего смысла, смелости, неожиданности, остроты и особой хаджиновской поэзии гротеска!

Прошлой весной — в последнюю свою весну — он снова много и плодотворно работал в молодежной творческой группе в Седневе. В результате — острая, полная убийственного сарказма серия «Бестиарий». Часть этих работ



с успехом экспонировалась в Москве на выставке «70 лет ВЛКСМ». Я же впервые увидела их, увы, уже на посмертной выставке в Киеве в этом году. Она поразила меня своей необычайной выразительностью.

Всем своим творчеством, а особенно последними сериями, Сережа Хаджинов по праву завоевал себе прочное место в истории советской графики 80-х годов, став одним из самых ярких ее лидеров. Но успел ли он полностью реализовать себя как личность и как художник? Как ни страшно это сказать, мне кажется, что дикая ранняя гибель, прервав его творческий путь, не дала ему высказаться до конца. Сколько прекрасных вещей подарил бы он нам еще! Ведь рядом с сарказмом и иронией так много было доброты и поэзии в сложной, талантливой и прекрасной Сережиной душе.

Татьяна ЯБЛОНСКАЯ,
народный художник СССР

Из серии «Дети и предметы»



Иван
ТВАРДОВСКИЙ

СТРАНИЦЫ ПЕРЕЖИТОГО

Фото
Юрия Садовникова



Дорогой читатель!

Хочется верить, что первая часть моего повествования «Страницы пережитого», рассказывающая о семье Твардовских («Юность» № 3, 1988 год), Вам известна. Все же хочу напомнить, что рассказ был прерван на моменте моего краткого пребывания на курсах в учебном комбинате в Москве, в июле 1934 года.

Сейчас я обращаюсь к следующему периоду своей жизни — 1934—1940 годам, надеюсь успеть закончить и третью часть воспоминаний, над которой продолжаю работать.

Ив. ТВАРДОВСКИЙ

Нас, «курсантов-недоучек», как сами себя мы окрестили, численностью около ста человек, по какому-то межведомственному соглашению передали заводу «Можерез», где, по объяснению администрации, мы могли бы по собственному желанию освоить понравившуюся профессию прямо на рабочем месте. Этот неожиданный поворот в нашей судьбе был встречен полнейшим согласием, поскольку все были приезжие — из самых разных мест Союза и рады были любой работе и любой квартире, лишь бы осесть, зацепиться и укрепиться в Москве.

Везли нас на этот завод автобусами, где-то около часа. По сигналу «приехали!» мы быстро и шумно высыпались возле совсем непривлекательного барака, неподалеку от производственных корпусов. Внутри барака шел ремонт — рабочие таскали туда фанеру и был слышен стук молотков. Нам сразу же стало ясно, что жить придется здесь, в этом бараке, но все же как-то было странно, что ремонт не закончен ко времени нашего приезда.

Автобусы, на которых мы приехали, тут же ушли, а нам было предложено ждать — должны были привезти кровати, матрацы, постельное белье.

Первое впечатление у нашей сборной молодой братии было неудовольствие, послышались голоса: «Зона! Вокруг нас ограждение! Шхуна!...» Когда же заглянули вовнутрь, то некоторым и вовсе стало не по себе: — «Это же казарма! Никаких комнат!», кто-то вспомнил бабушку, кто-то пропел кукушкину песню в недоумении и... все притихло — появился сотрудник отдела кадров и сразу заметил, что есть недоумство. Он обратился ко всем со словами о том, что не следует так нетерпеливо вести себя, что еще никто не знает, чем он будет заниматься на данном заводе, а пока нужно просто хотя бы переночевать под крышей, все уладится само собой. — «Завтра побываем в цехах, где определится ваше место работы, а может, и судьба каждого из вас».

Эти слова были очень кстати, они смягчили первые впечатления, и мы стали думать о предстоящем завтра.

Небольшими группами — человек по десять, нас повели в цеха, и в одной из групп, направлявшейся в сталелитейный, случилось быть и мне, может, потому, что некоторое представление о литейном производстве я уже имел. Я знал, например, что ни особой чистоты, ни тишины, ни свежести и прохлады там нет и быть не может, что будет там и пыль, и жара, и нелегкий труд, труд в поте лица. Но это меня не страшило — идти туда я вызвался сам.

В огромный по тем временам сталелитейный цех мы вошли со стороны, где были работающие электропечи. Это был плавильный пролет, где есть и мартеновские печи, и ковшовое хозяйство, и разные краны, и разливка, и жара, и где нового человека просто подавляет сложность коммуникаций, где все в постоянном движении, и люди, оказавшиеся среди всего этого, кажутся бессильными выбраться из поглотившей их стихии.

Ближайшая электропечь была от нашей группы метрах в десяти. Нам хорошо был слышен характерный, с потрескиванием, ее гул — печь работала. Возле нее были два человека, сталевар и его первый подручный.

Улучив подходящую минуту, мы подошли к этой печи. Когда сталевар узнал о цели нашего прихода, то сразу оживился и охотно ответил на все наши вопросы. Было интересно слышать суждение этого старого человека о профессии, которой он посвятил свою трудовую жизнь.

— Что я могу сказать о моей профессии? — как бы вопросом начал Степан Микитович Гетун. — Я — сталевар! — Он приподнял на своей сильно облысевшей голове козырек головного убора с синими очками и добавил: — Самая лучшая и самая главная профессия у сталелитейщиков — сталевар. У меня вон на второй электропечи родной сын.

Степан Микитович как бы между прочим примерял взглядом каждого из нас, надо думать, не без мысли, кто из нас мог бы оказаться наиболее подходящим на роль второго подручного в его звене. И... остановив свое внимание на мне, так прямо и сказал:

— Вот ты, сынок, — иди ко мне работать вторым подручным! Не пожалейшь, поверь мне, старому...

— Согласен! Иду работать с вами, Степан Микитович! — и он пожал мне руку, сказал: «Завтра выходи во вторую смену!»

Тогда же моему примеру последовал и еще один юноша, Иван Белофастов. Все остальные нашли свои места в разных отделах и цехах «Можереза»: формовочное отделение, меха-

нический цех по холодной обработке металла, кузнечно-прессовый, транспортный и другие.

Вечером этого дня, наверно, в последний раз мы собрались в общежитии все вместе, поскольку большинству из нас предстояло работать не только в разных местах, но и в разных сменах.

Я и Ваня Белофастов в первый день явились на рабочее место загодя, имея в виду, что работать на печах можно только в спецодежде, которой у нас не было. Степан Микитович помнил об этом и тоже пришел на целый час раньше обычного. С его помощью этот вопрос был решен без особых хлопот — к началу смены мы были в сталеварской спецодежде. Успели прикрепить и очки с синими стеклами к козырькам наших кепок. Когда же меня увидел таким Гетун, то подозвал к себе, пожал руку и сказал: «Желаю тебе, Ваня, стать настоящим сталеваром. Будь ближе к моему первому подручному — парень понимающий, знает где, что и как нужно делать. При желании человек скоро может многое понять, а когда поймешь, то полюбишь и дело».

Я продолжал работать на «Можерезе» и после нашей семейной встречи в Смоленске работал на той же электропечи, с тем же сталеваром Степаном Микитовичем, но уже многое изменилось в моих понятиях о работе и в моих обязанностях: теперь я был уже далеко не новичок — первый подручный сталеваара Гетуна! Чувствовал себя порядком поднатворевшим, обязанности свои выполнял свободно и уверенно, с полуслова понимал своего старшего товарища, работал с увлечением, порой до изнеможения. В цехе все выглядело грубым, тяжелым, для новичка — неприглядным: брезентовая роба, тяжелые нехитрые инструменты: лопаты, ломы, скребки, кувалда, металлическая ложка для взятия проб весом до 15-ти килограммов — все говорит об очень нелегком труде у плавильных печей. Если же ненароком случись человеку, никогда не работавшему у плавильной печи, увидеть сталеваара в какой-либо напряженный момент, то можно с уверенностью сказать, что первой его мыслью будет: «...и не приведи боже таким трудом добывать хлеб насущный...»

Все мне хорошо памятно, пишу как о вчерашнем дне, хотя картина эта пятидесятилетней давности. Теперь все иначе: но тогда, в середине тридцатых, было именно так. Люди верили в лучшее завтра, верили в непогрешимость «Отца всех народов», воодушевлялись тем, что «Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести...» Радовались принятию сталинской Конституции — имя Сталина всячески прославлялось в печати и по радио. Верили. И все же не все и не всему, что вещали газеты и радио, о чем говорились на собраниях. Людей призывали к постоянной бдительности, утверждалось, что «враги» среди нас повсюду — в каждом городе, в каждом селе, на каждом предприятии. Эти несочетаемые утверждения меня огорчали и физически изнурили — вселялись в сознание страх и печаль, чем, конечно, я ни с кем не делился.

Оснований для моих тревог было предостаточно. Во-первых, однажды я был приглашен в спецчасть, где после обычных вопросов: «фамилия, имя, отчество, год и место рождения», мне было предложено заполнить анкету. Даже сам факт приглашения в эту таинственную для меня секцию был неприятен, тем более что как-то не приходилось слышать, чтобы кто-то из прибывших на завод вместе со мной побывал там. Ответить на вопросы анкеты по всей правде у меня не хватало сил, но и неправду писать тоже, ох как нелегко. Вопросы касались не только меня, но и родителей: социальное положение, судимости, кем были мать и отец до революции, подвергались ли репрессиям, место их проживания и т. д. и т. п. Так что отвечать приходилось с тревогой, из-за риска быть проверенным и разоблаченным, как «враг», проникший в рабочий коллектив. И тут как бы хорошо ты ни работал — ничто не поможет.

Во-вторых, в военном столе я уже был приписан к очередному призыву в ряды Красной Армии, где так же должен был ответить на подобные вопросы. И в-третьих, комсорг цеха предложил мне вступать в комсомол. Но я понимал, что если рассказать о себе всю подноготную правду, то меня не примут, после чего я буду лишь сожалеть, что сделал такую попытку, и на предложение комсорга ничего определенного не ответил. Это немало удивило последнего. Честно говоря, я и сейчас, когда пишу эти строки, не могу с уверенностью сказать, как я должен был поступить перед угрожающей волной репрессий.

Так уж повезло мне: попал к сталевару Гетуну-старшему, а вот оказавшийся со мной рядом Ваня Белофастов был

поставлен к Гетуну-младшему. Мы работали на электропечах, стоявших рядом: я — на первой, Ваня — на второй. В общежитии наши койки стояли тоже рядом, и мы всегда имели возможность видеть и знать, без малого, все друг о друге, как на работе, так и в общежитии. Частенько Ваня подсмеивался надо мной по поводу якобы излишних моих усердий угодить старому Гетуну. Он брал какой-либо эпизод из рабочего дня, где, по его суждению, выглядел я рабски услужливым, готовым хоть в огонь, хоть в воду по первому знаку своего сталеваара. Критику такого рода я принимал за шутку, хотя доводы товарища кое в чем имели и основания. Я сам хорошо понимал, что некую работу приходилось делать помимо своих прямых обязанностей, но считал это не услужением, а необходимостью при совместном труде — Степан Микитович слыл строгим и требовательным человеком, был он еще и немало честолюбив — не позволял себе и думать, чтобы уступить первенство по выплавке стали. Подогревалось же это его стремление еще и тем, что каждодневно и повсюду звучали призывы работать по-стахановски, что, в свою очередь, обещало и особый обед — «столы для стахановцев», и премию к праздникам, и тот самый подъем духа и самочувствия, которые так будоражили воображение. Поскольку же Степан Микитович физически был не в лучшей форме — возраст давал о себе знать, то приходилось ему надеяться на своих подручных и порой не очень щадить их. Работать с таким человеком, надо признаться, было нелегко, но ни досады, ни каких-либо мелочных обид на старого опытного рабочего у нас не накапливалось.

Во второй половине 1936 года Александр Трифонович, переезжая в Москву наительство и учебу в МИФЛИ, свою жилплощадь (комнату, где проживал в Смоленске со своей семьей) передал семье отца, которая прибыла в Смоленск в июне того же года из Кировской области. Изредка, нерегулярно я получал письма от родителей, из них мне было известно, что в смоленских газетах появились публикации о якобы кулацких тенденциях в творчестве А. Твардовского. Я не был уверен, что Александр Трифонович точно знает, каким образом наш отец смог перевезти семью из Зауралья на среднюю Вятку. Беспокоило — известно ли ему, что отец самовольно оставил место ссылки, если нет, так это же риск! И переписка моя потому была крайне сдержанной, чтобы поменьше было известно, кто и где находится.

И тут вот какая неожиданность. В этом же 1936 году, в августе, придя в общежитие, я увидел нового, поселившегося на соседней койке человека в военной форме. Нет, он ничем не был похож на сотрудника НКВД — демобилизованный красноармеец из какой-то технической воинской части, назвался по фамилии Долбежкин, я назвал свою фамилию — Твардовский. Так вот мы и познакомились. Он рассказал, что служил один год, поскольку имеет среднее образование, устроился на «Можерез» крановщиком, комсомолец. Затем перевел наш разговор на то, что фамилия Твардовский ему знакома, что в Глинковском районе, на его родине в Смоленской области, были Твардовские, и что теперь их там нет — раскулачили и куда-то сослали. Я, право же, ничего не мог сказать, что-то невнятное промямлил, как бы про себя: «Н-да-а...», *сам подхватился, как бы узнать насчет чая, а в лицо, почувствовал, хлынул жар, будто я приблизился не к титану, а к электропечи.

Пока я ходил да готовил чай, наш новый сосед познакомился и уже беседовал с моим коллегой Ваней Белофастовым. Мало-помалу я переборол в себе шоковое состояние.

В последних числах сентября того же года вызвал меня инспектор отдела кадров. Вызов этот передала табельщица моему сталевару в тот момент, когда я с ключом в руках работал у электродержателей, стоя на своде, в нестерпимой жаре, готовый принять от крана графитовый электрод, навинтить на одну из фаз и закрепить ключом.

— Чего ему там надо, твоему инспектору? — сквозь шум и гудение слышались слова Степана Микитовича. — Не можешь ему сейчас!

— Но я передаю так, как мне было сказано.

— Освободится — придет.

Человек, который меня вызвал, предложил сесть. Удостоверившись, что перед ним именно я — Твардовский Иван Трифонович, он, однако, не сразу объяснил, зачем я понадобился ему — медлил, подыскивал слова, начинал не с того конца.

— Так вот, здесь у меня список, в который вы тоже записаны, — начал было он и прервался, прикусив губу.

Подумал. — Вопрос, понимаю, не простой, но в моих силах предложить... и, вероятно, это будет лучшее из возможного... — Я слушал, гадая, каким может быть его предложение и о чем.

— По проверенным анкетным данным мы не можем оставить вас на заводе. В связи с этим вам лучше уволиться по собственному желанию.

Должен признаться, я был готов услышать любую неприятность: донос, навет, угрожавший обвинением, или нечто другое. Но рассудка не лишился, хотя и понимал, что я — изгой. И не знаю, дорогой читатель, не знаю, чем объяснить, но я себя почувствовал более свободным, снявшим с себя довлевший над душой призрак преследований и разоблачений.

Тогда же, не выходя из кабинета инспектора кадров, я попросил лист бумаги и написал заявление, где просил освободить меня от работы на заводе «Можерез». Зная, что так или иначе я должен буду объяснить своему сталевару об уходе, я спросил инспектора, как я должен это сделать.

— Сегодня продолжайте работать. О причине вашего ухода разглашать не нужно, если вы не хотите иметь неприятности. Сталевара Гетуна мы сами поставим в известность — мы знаем, как это сделать. Надеюсь, вы понимаете, к чему я это говорю.

— Понимаю.

— Ну вот, в этих рамках и держите себя!

Возвращался я к рабочему месту, охваченный щемящей душой горечью. Вырваться из этого состояния, смягчить нервное напряжение не удавалось, но я зывал к себе: «Крепись! Тебе нельзя падать духом!»

Трудно было скрыть свое волнение от человека, с которым проработал более двух лет, от Степана Микитовича. Когда я подошел к нему, то первым его вопросом был: что случилось? Я вижу — что-то у тебя неладно! Зачем тебя вызывали в отдел кадров?

Я уклонился от ответа, говорю, что, дескать, ничего особенного, что нужно было уточнить место моего рождения... Пытался перевести разговор, но все это, похоже, не было убедительным, он молча взглянул на меня с прищуром, как бы молвя: «Так ли?»

В тот последний день моей работы, о чем знал пока только я, Степан Микитович, сдав смену, попросил не уходить, подождать. Оказалось, что он хотел бы видеть меня у себя дома. Я был рад побывать у него, но понимал, что он хочет сегодня же узнать о том, что мне сказали в отделе кадров, а потому, всячески поблагодарив его за приглашение, идти отказался. Про себя решил побывать завтра днем в отделе кадров, а к Степану Микитовичу прийти лишь проститься, с благодарностью и признательностью за все доброе, что он сделал для меня.

Есть какое-то правило или закон жизни: не во всем сокровенном должен человек открываться — не принято. И носит порой человек в душе тяжкую ношу, не смея выплескивать наружу. Так вот, годами томила и жгла меня несправедливость жизни: ведь в это же время гибли невинные или точнее — невиноватые.

Этот долгий сентябрьский день был для меня полон тревог и сбивчивых размышлений обо всем, что угрожало мне жестокой мстью за якобы лично мною содеянные ошибки, оправдаться за которые не удастся ни трудом, ни давностью времени. «Нет, нет! — рассуждал я с самим собой. — Что-то есть страшное и преступное в этой социальной системе, если даже дети заносятся в списки врагов и по наследству несут рабский крест вины».

Вечером, придя в общежитие с работы, в нашем уголке я увидел беседующих Долбежкина с Ваней Белофастовым. О моих печалях им не было известно. У них была своя забота: собирались во Дворец культуры, но у Долбежкина не было никакой другой одежды, кроме той, армейской, в которой он ходил постоянно и которая ему так надоела, что рад хоть на час-два заменить ее гражданской. Так же и с обувью — кроме кирзовых, цвета золы, сапог, у него ничего не было. Вот об этом и было мне поведено, с явным прищелком услышать, как я среагирую. Но для меня ничего нового в этом не было — сам, случалось, обращался к ребятам, то «одожди брюки», то что-либо другое, чтобы можно было посвободнее чувствовать себя среди людей, не чуждаясь, не избегая встреч, не стыдясь перед любопытствующим взглядом за свое незавидное положение. Позволю себе упомянуть, что в те тридцатые годы материальное положение

молодежи, оказавшейся в отрыве от родительской семьи, было более чем трудное. Прожиточный минимум оставался очень высоким, молодые рабочие за свою зарплату едва могли прокормиться, занятые на тяжелых работах. Выкроить что-то из зарплаты на приобретение одежды просто не удавалось, да и купить ее можно было лишь на рынке, по спекулятивным ценам.

Я с удовольствием был готов присоединиться и пойти вместе с Ваней Белофастовым и Долбежкиным во Дворец культуры, чтобы как-то скоротать вечер, развеять мое плохое настроение, и, конечно, был рад помочь принарядить молодого человека. Общими стараниями мы смогли собрать и одежду, и обувь.

Для меня было кстати как-то поглубже понять Долбежкина, чтобы, помилуй бог, не грешить на него. И я был рад, что повода для подозрений не было — молодой человек показал себя простым, открытым товарищем. И не моя вина в том, что я так и не сказал этому человеку, что семья Твардовских, которых «...раскулачили и куда-то выслали», как раз и есть семья моего отца, и что я был в ссылке вместе со всеми. Но не принял этого наказания без вины — из ссылки бежал. С тех пор и несу свой тяжкий крест. Об этом я не сказал, как и о том, что мне предложено уволиться с завода. Потому что знал: в таких случаях товарищи начинают или не замечать тебя, или вообще держатся подальше...

Порядочно помыкавшись после вынужденного увольнения, я был рад прибиться к любому причалу, где есть крыша, тепло и, может, любая работа. Таким местом стал подмосковный совхоз «Старый большевик», что был неподалеку от станции «Отдых», Раменского района. Произошло это, можно сказать, случайно, как, должно быть, и бывает в трудный час. Хозяйство совхоза «Старый большевик» было в самом начале своего развития, нужны были люди, и поэтому принимали всех без отказа, хотя шли сюда неохотно — пустыня и неуютна была картина этой неухоженной низменности. Но вся неуютность и невзрачность совхозной усадьбы воспринимались мной как некая резервация для неугодных, где все же есть возможность остановиться, что-то заработать, оглядеться, подумать о дальнейшей судьбе. Рассуждая примерно так, я понял, что есть смысл пережить здесь всю предстоящую зиму, не бросаясь невесть куда.

Числа 13 или 14 декабря 1937 года, наконец, я приехал в Смоленск. Было часов 8 вечера. Трамваем я не воспользовался, прошел пешком от вокзала до самого дома на Краснознаменной, где в то время жила наша мама и сестры. Было темно, и я не без труда нашел этот дом. Их комната находилась на первом этаже, это я знал — был в 1934 году у Александра. Я тихо постучал в дверь, но ответа не услышал. Повторил погромче — услышал: «Войдите!» — слово это прозвучало силпо и немощно, но все же я узнал — отвечала мама. Открыв дверь, я увидел ее и сразу заметил обеспокоенность: ладонью приподнятой руки в момент моего приветствия она старалась дать понять, чтобы я не говорил громко, сама же, приблизившись, шепотом сказала, что живут они давно в постоянной тревоге, стараются не говорить в голос... «...боимся стука в дверь... в городе ползут слухи о врагах, вредителях, шпионах...».

Я еще не успел раздеться, еще не подошел к сестре Анне, склонившейся над кроватью младенца — родилась девочка, а мама успела назвать имена нескольких наших родственников, которых взяли за последние месяцы: дядю Григория Митрофановича Плескачевского, дядю Ивана Борисовича Вицкопа, Семена Зубрицкого и кого-то еще из знакомых... — о всех уже не могу и вспомнить. Я, конечно, знал, что мама всегда была легкоранимой, тревожные слухи она переживала тяжело, подавленно, но тут она называла такие факты, что вряд ли кто мог оставаться равнодушным. Врагом народа был назван первый секретарь Смоленского обкома Румянцев, эта же участь постигла председателя Смоленского облисполкома Ракитова, были арестованы несколько смоленских литераторов.

— Мне страшно! — слышал я слова мамы. — Мы ведь знаем только самое малое обо всем, что происходит в городе. Если куда-то увозят ночами таких, как Иван Борисович Вицкоп (он работал-то коннохом), значит, так же могут взять и нашего Трифона Гордеевича. Он и уехал на Кубань, к Косте, — боялся, что так же вот заявятся ночью и увезут. И ни слуху ни духу.

Рассказала мама еще и о том, что в школе, где наша Мария учится, на обложках школьных тетрадей, в виньетке возле портрета Пушкина, обнаружили в самом рисунке слова

против Советской власти. Об этом она шептала чуть ли не на ухо: «Что это такое? Говорят, все тетради с портретом Пушкина изъяли у учеников».

— Ты вот, Ваня, приехал, а я боюсь: так и думаю, что кто-нибудь из тех, кто следит за нами, заметит, что кто-то ночью пришел — заявит, и могут, знаешь, приехать и забрать тебя. Ты, Ваня, не боишься?

Новости и опасения мамы портили настроение, к тому же оно у меня хорошим и не было, так что мне уже и самому не хотелось, чтобы кто-то приметил, что я нахожусь здесь. Тогда же я узнал о неудачном замужестве сестры Анны. Очень недолго продолжалась ее супружеская жизнь и закончилась тем, что в один печальный вечер она не дождалась мужа с работы. Куда-то таинственно исчез, и все ее попытки узнать о его судьбе ни к чему не привели. Незадолго до моего приезда она стала матерью, крошку девочку назвали Надей, и была эта девочка самым дорогим подарком в судьбе сестры. Ныне кандидат педагогических наук Надежда Ивановна Твардовская живет и здравствует в Москве, благодарно забывая о своей 76-летней маме Анне Трифоновне.

Моя побывка у мамы в конце 1937 года в Смоленске памятна кошмарами, страхами: три родные ее сестры пережили аресты мужей, судьбы которых навсегда остались неизвестны. Одной же из сестер — Анне Митрофановне, при второй ее попытке узнать о судьбе мужа, было отвечено: «Если вы еще раз посмеете наводить подобные справки, то угодите туда, где тот, о ком вы интересуетесь» — после такого ответа она поняла, что надо молчать. И молчала.

Той же декабрьской ночью 1937 года я расстался с мамой и сестрами на долгие годы. Младших братьев, Павла и Васю, повстречать не удалось, хотя были они в это время в Смоленске, но желания задержаться в городе даже на один день у меня не было.

Более двух суток, почти не слезая с полки, я ехал из Москвы до станции Нижний Тагил. Поездка моя была результатом долгих раздумий: очень хотелось осесть на постоянное местожительство. Таким местом как раз и представлялся Нижний Тагил, где с начала тридцатых годов было развернуто строительство Уралвагонзавода — одной из крупнейших строек тех лет. Об этом я знал не только из газет, но и по различным объявлениям в отделах организованного набора рабочих.

Был поздний вечер, когда я приехал, но в первые же минуты услышал передававшееся по радио объявление: «Уважаемые товарищи, прибывшие на Уралвагонстрой, выходите на привокзальную площадь, вас ждет транспорт!» Объявление прозвучало полной неожиданностью, и потому были сомнения.

На бортовой автомашине с закрепленной будкой и сиденьями для людей нам, собравшейся группе численностью около двадцати человек, было предложено ехать до «Вагонки», где предстояло переждать до утра в специально отведенном помещении.

От вокзала до «Вагонки» было, наверно, всего километров десять — двенадцать, и мы их проскочили так быстро, что даже не заметили, как машина остановилась у барака с заиндевевшими от мороза окнами. Это было то помещение, где временно должны были находиться вновь прибывшие. В этом бараке мы встретились с людьми из Сибири, которые приехали несколькими часами раньше. Теперь всех можно было видеть и слышать, и я понял, что и сибиряки и прибывшие вместе со мной — все из мест заключения: из Бамлага, из Вяземских лагерей и других мест «не столь отдаленных». На Уралвагонстрой их направляли в порядке трудоустройства: гарантировалось место работы, по возможности общежитие, спецодежда, не исключалось и получение небольшой суммы аванса. Все это было очень и очень важно для тех, кто был, по лагерной пословице: «Яко наг, яко благ — яко не имел ничего». Меня несколько не пугало общение с людьми, отбывшими срок в лагерях, — я понимал, что среди них, как всегда и везде, люди разные и только время покажет, кто чего стоит. Мне даже казалось, что устроившись на работу вместе с такими людьми проще и легче, поскольку мое собственное положение было весьма незавидным.

...Утром нашему взору предстала Вагонка — поселком-городом из множества жилых строений барачного типа. Стояли и первые капитальные здания: многоэтажная боль-

ница, Дом дирекции и пока немногие каменные многоквартирные дома. В стороне же вступившего в строй Уралвагонзавода были видны огромные, по несколько сот метров длиною, производственные корпуса, дымящиеся заводские трубы, мощные газопроводы, движущиеся паровозы на подъездных путях, сплошной поток спешащих на смену рабочих. Все это воистину было впечатляющим, даже торжественным свидетельством воплощенного труда тех, кто начал с нуля, на необжитой, дикой уральской земле, мирясь с неуютностью и бытом палаточных городков. На эту стройку были привлечены и тысячи спецпереселенцев. Их положение было еще более трудным — многие из них умирали от истощения и болезней.

Но вот формальности были окончены: баня, санобработка одежды, инструктаж по технике безопасности, беседа с представителем милиции о правах и обязанностях гражданина...

Группу человек из десяти, в том числе и меня, направили в распоряжение конторы № 4, входившей в трест Уралмашстрой, которая вела строительство объектов завода № 56 и рабочего поселка под названием «Северный». Стройка эта находилась в 6—7 километрах от Вагонки, но автобусного сообщения туда еще не было, и нам пришлось добираться туда пешком. Было морозно и ветрено в тот день, наверно, градусов 35 ниже нуля, да и ветер встречный. У большинства же моих попутчиков, как и у меня тоже, одетая и обувь были не по сезону — мерзли мы жутко, и никакая дерзкая наша храбрость не спасала. Но кое-как добрались до конторского барака, ввалились в коридор, прогрелись по скрипучему промерзшему полу и были радешеньки, что дошли до места.

Нас тут же поселили в единственный, построенный на отшибе барак. Поселок состоял из десяти двухэтажных брусковых домов. Все эти дома были заселены семьями рабочих-строителей, преимущественно спецпереселенцами, очень уплотненно — в каждой комнате по две и даже по три семьи. Сейчас и представить трудно, как это могли жить семьи, когда на душу приходилось по два-три метра жилплощади.

Январь 1938 года. На строительную площадку каждый день поступают десятки вагонов и платформы различных грузов: песок, щебень, кирпич, цемент, пиломатериалы. Я и мой товарищ Сергей Соколов — грузчики погрузбюро железнодорожного отдела. Морозы в ту зиму стояли жестокие, до минус 40 градусов. Но, к великому нашему сожалению, на складе есть только лапти лыковые, выдаваемые взамен валенок. И ничего иного нет. Нам необходимо работать, поскольку нет никаких других возможностей для существования, но нет ни теплой обуви, ни рукавиц...

— Как быть и что делать? — обращаюсь к Сергею. Мнется, что-то взвешивает, прикусывает губу, наконец, сдержанно: «Лапти, конечно, можно попробовать, знакомая штука, только вот, чтобы толком — онучи шерстяные нужны. В общем, знаешь, берем! Найдем и онучи... портянки, впрочем, надо спросить у хозяина...»

Так вот, подобулись в лапти, и пошло у нас с Сергеем дело, как говорится, «куда с добром!».

В работу по разгрузке стройматериалов мы впряглись с Сергеем с полной серьезностью и отдачей: в ночь, в полночь шли по первому сигналу, с совковыми лопатами на плече (личные, хорошо присаженные и тобой приработанные лопаты — вопрос очень значащий), не боясь ни мороза, ни работы. Вскоре на стройке нас стали отмечать как самых достойных, и бывали случаи, когда администрация присылала в общежитие нарочных, чтобы уведомить нас и поздравить с премией. И было это в самом тревожном 1938 году, но страха на этой простой и грубой работе грузчика не чувствовалось. В планах на ближайшее будущее я не загадывал каких-либо перемен своего положения, но перемены произошли.

(Окончание следует)

Л. ЛАЗАРЕВ

«ЧИТАЮ МЕМУАРЫ РАЗНЫХ ЛИЦ...»

Кажется, всегда, во все времена эти книги пользовались необычайным успехом. Наверное, и две тысячи лет назад римские легионеры — участники Галльской войны зачитывались только что появившимися записками Цезаря и до хрипоты спорили, верно ли, скажем, описан переход через Рубикон, посулил ли автор тогда всем воинам золотые кольца всадников или это им померещилось, воздал ли он по заслугам, в соответствии с совершенными подвигами их любимым центурионам. Не знаю, правда, устраивали ли они для обсуждения книги «круглые столы» и читательские конференции, как делают нынче участники Великой Отечественной? Не знаю, досаждал ли им книжный дефицит, мог ли каждый того желающий ветеран свободно купить «Записки о Галльской войне»? У нас ведь это нелегкая проблема, попробуй приобрести нужную тебе книгу, а воспоминания были среди самых ходовых, спрос на них был огромный, неутолимый. Когда в пятидесятые годы Воениздат стал выпускать серию «Военных мемуаров», книги эти шли нарасхват, их рвали из рук, немалый тираж спроса не покрывал...

Но уже в семидесятые годы эта серия, пользовавшаяся такой большой популярностью, стала чахнуть — и чем дальше, тем больше, число ее поклонников таяло на глазах, в пору жесточайшего книжного голода она, на удивление всем, перестала быть дефицитной. Конечно, в дефиците, нехватке нет ничего хорошего, но несколько не лучше, а может быть, даже и хуже издание книг, которые никому, кроме их авторов, не нужны. Уже не один год можно наблюдать безрадостную картину: многие томики с серийной маркой «ВМ» застревают на полках книжных магазинов, пылятся в библиотеках с девственно чистыми формулярами, — их плохо покупают, их почти не читают.

Что же случилось, почему отворачиваются читатели от книг, которые должны были бы вызывать у них самый острый интерес, ведь в них рассказывается о событиях, участниками или очевидцами которых они были, да еще о каких событиях — о войне? Попробуем в этом разобраться...

Судьба мемуарной литературы, ее процветание и упадок прямо зависят от общественной атмосферы, от отношения власть предержащих к истории — уважаема ли правда или с нею не считаются, поощряется ли она или преследуется, выкорчевывается? В двадцатые годы, как к ним ни относиться, страха перед недавней историей не было, широким потоком печатались воспоминания о революции и гражданской войне, в том числе и лидеров контрреволюции — от В. В. Шульгина до П. Н. Врангеля, от А. И. Деникина до Я. А. Слащева.

В тридцатые годы публикация мемуаров, в сущности, прекращается, а то, что появилось в предшествующее десятилетие, изымается из обращения, оказывается за семью печатями «спецхранов». Тем более что почти все авторы воспоминаний, активные участники революции и гражданской войны, были во время «больших чисток» или уничтожены, или отправлены в лагерь. Начался всеобъемлющий процесс фальсификации прошлого, напоминающий описанную Оруэллом в его знаменитой антиутопии «1984» деятельность Министерства правды, которое неусыпно следит за тем, чтобы пресса былых лет «обновлялась» в соответствии с нынешними обстоятельствами и оценками. На словах фариисейски осуждая принцип: история есть политика, опроки-

нутая в глубь веков, — Сталин на деле неукоснительно проводил его в жизнь. И не только с помощью средств пропаганды, лжеистория насаждалась и охранялась карательными органами. Даже за освященную авторитетом Ленина книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» можно было угодить в лагерь.

Все годы сталинского правления мемуарная литература была в загоне. Сталин отдавал себе ясный отчет, какая в ней таится серьезная опасность, даже несмотря на то, что она могла подорвать созданную под его бдительным контролем лжеисторию. Когда вскоре после войны маршал А. М. Василевский доложил ему, что подготовлены два сборника воспоминаний о Великой Отечественной войне — «Штурм Берлина» и «От Сталинграда до Вены» (о 24-й армии), Сталин эту затею наивных военных зарубил, как говорится, на корню, решительно и бесповоротно: «Не пришло время для мемуаров». И судьба мемуарной литературы о войне была решена. Только после смерти Сталина, после XX съезда партии начинается — сначала робко, в долгие годы вынужденного всеобщего молчания страх был вбит основательно, а потом со все большим напором — публикация мемуаров. Это породило своеобразную цепную реакцию, первые напечатанные мемуары, вызвавшие громкий общественный резонанс, подтолкнули многих людей, которым было что рассказать о выпавших на их долю трудных испытаниях, засесть за свои воспоминания. Вот тогда возникла и завоевала широчайшую популярность мемуарная серия Воениздата. Такую же серию — еще более высокого уровня — стало выпускать издательство «Наука». В это дело включились и многие другие издательства. Было издано немало книг, способствовавших постижению подлинной истории.

Смещение Хрущева, скрытая, но беспардонная ревизия решений XX съезда партии о культе личности и его последствиях, тихая, но неуклонная ресталинизация (главным «мотором» ее был Сулов, но она активно и радостно поддерживалась широким кругом занимавших командные посты высокого ранга, не бескорыстно заинтересованных в этом лиц) тотчас же сказалась на состоянии мемуарной литературы, на этой важной площадке поднявшая голову сталинщина развернула наступательные бои. Сигналом к атаке наследникам Сталина послужил разгром книги А. Некрича «1941.22 июня». Ни по выводам, ни по материалу — в ней широко использовались опубликованные уже мемуары — эта популярная работа не содержала ничего предосудительного. Показательная расправа с нею — крупные неприятности были не только у автора, но и у тех, кто осмелился, дорожа правдой, защищать книгу от несправедливых нападок, — означала, что исследованию причин ошибок, поражений, преступлений, потеря кладется конец.

Шрамы тогдашних увечий видны еще и сегодня. Ни разу не переиздавалась книга Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова «На службе военной» — в ней резко критиковался Сталин. Не переиздавалась опубликованная в «Новом мире» книга генерала армии А. В. Горбатова «Годы и войны» — одно из самых сильных произведений этого жанра, книга попала в черный список, потому что автор подробно рассказывал, как его арестовали, какими методами вели следствие, каково было в лагере.

Но это отдельные примеры, а наступление шло на широком фронте. Совсем прекратить публикацию мемуаров, как при Сталине, было уже невозможно, решено было их «обезвредить», поставив под неусыпный, жесткий контроль: о поражениях сорок первого — сорок второго годов — самой быстрой скороговоркой, об их причинах — ни слова, о репрессиях, от которых высший командный состав армии понес потери в три раза большие, чем от пуль и снарядов фашистов в годы Великой Отечественной войны, — ни полслова.

В то время постановлением Госкомиздата мемуарная литература о войне была отдана почти целиком в самодержавное владение Воениздата, позиция которого весьма наглядно проявилась уже хотя бы в том, что он десятилетиями не печатал ни К. Симонова, ни К. Воробьева, ни В. Быкова. А то немногое, на что осмеливались журналы или другие издательства, должно было получить визу некоей специально созданной при Главпуке комиссии, которая определяла, что можно, а что нельзя вспоминать, была наделена полномочиями разрешать и запрещать. Старалась эта комиссия воево. Константин Симонов, когда его фронтовые дневники «Разные дни войны» проходили через это «чистилище», сказал мне, что теперь ему Главлит — все познается в сравнении — кажется сверхлиберальной организацией.

В эти годы Воеиздат и налаживал поточное производство мемуаров. Они за редким исключением писались по одной схеме, все на одну колодку, содержали минимум новой информации (существовало негласное указание, что каждый факт автор воспоминания обязан подтвердить ссылкой на уже опубликованные источники), ничего не давали ни уму, ни сердцу. Да и появление той или иной книги мемуаров сплошь и рядом определялось не ее содержанием, не тем, что ее автор пережил и видел на войне, а его нынешней должностью. «Для того, чтобы написать свои воспоминания, — заметил Герцен, — вовсе не нужно быть великим человеком или выдавшим виды авантюристом, прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать». Надо сказать, что ни одному из этих двух обязательных условий не отвечало большинство книг серии «ВМ», важна была лишь высокая должность, до которой нынче дослужился автор.

В эти годы, именуемые теперь застойными, и погубили серию «ВМ». Был подорван не только интерес, но и доверие к публикуемым воспоминаниям — настолько бесстыдно откровенной была фальсификация, которую требовали, которую вымогали, которой добивались редакторы и цензоры всех рангов. От этого целенаправленного произвола не спасали ни овеянное славой имя, ни великие заслуги перед Отечеством — выбрасывали, вписывали, правили.

С автором совершенно не церемонились — он рассматривался как поставщик материала, из которого можно лепить что заблагорассудится. Вскоре после смерти Буденного в «Литературной газете» появилась заметка А. Золототрубова — то ли его адъютанта, то ли литературного секретаря, — в которой он с обескураживающей откровенностью писал: «Семен Михайлович не успел завершить свою четвертую книгу «Пройденный путь». Я хорошо знал его замыслы, и теперь дело нашей чести — закончить книгу мемуаров, этот волнующий рассказ о судьбе легендарного человека — завещание молодым строителям коммунизма». Самое удивительное, что редакцию совершенно не смутил заявленный способ писания мемуаров за кого-то, тут уже было все дозволено...

В одном из недавно написанных стихотворений Булата Окуджавы есть такие строки:

Читаю мемуары разных лиц.
Сопоставляю прошлого картины,
что удастся мне без труда.
Из вороха распавшихся страниц
соорудить пытаюсь мир единый...

С этой трудностью сталкивается не только исторический романист, но каждый внимательный читатель: воспоминания нередко спорят, сознательно или ненароком опровергают друг друга, цельной картины не получается. Мемуары субъективны — иными они по самой своей природе быть не могут, их авторы обо всем — о событиях и людях — судят со своей колокольни. Поэтому воспоминания (равно, как и другие свидетельства — официальные документы, газетные публикации, дневники, письма и т. д.), если их используют в качестве исторического источника, требуют тщательного и всестороннего критического анализа, сопоставления с другими доступными нам материалами. Без такого анализа, приняв целиком на веру какую-то одну книгу воспоминаний, невозможно докопаться до подлинной истории. Это тем более необходимо, что выходящие и в наши дни мемуары все еще обнаруживают брежневско-сусловскую методологию намеренных умолчаний, лакировки прошлого, подспудной апологетики сталинизма.

Передо мной законченная в ноябре 1984 года и вышедшая в прошлом году уже после смерти автора в серии «ВМ» книга «Во имя Победы. Записки наркома вооружения» Д. Ф. Устинова. Наверное, у многих сегодняшних читателей вызовет неприятие нежное чувство описание в идиллических тонах первой встречи автора со Ждановым:

«Андрей Александрович поднялся нам навстречу, крепко пожал руки, поздравил с назначением.

— Ну вот, — сказал он с удовлетворением, — теперь у вас упряжка получится сильная. Должна получиться! Ведь вы с Рябиковым, если не ошибаюсь, знакомы давненько и далеко не шапочно. Знаний вам не занимать. Порох тоже, мне кажется, есть в достатке. Верно? Ну а опыт — дело наживное.

Все это Жданов говорил, пока мы шли от середины просторного кабинета, где он нас встретил, к столу, пока усажи-

вались на стулья, говорил приветливо и просто. И я почувствовал, как схлынуло напряжение, в мыслях появилась спокойная, созвучная ждановскому тону ясность».

Меня совершенно не смущает, не коробит то, что пишет Д. Ф. Устинов здесь о Жданове, так, наверное, было: на автора, находившегося в радостном опьянении от нового назначения, облакавший его высокий руководитель произвел самое благоприятное впечатление, — он искренне об этом рассказывает. Не коробит меня и его лирически проникновенный рассказ о пережитом им потрясении, когда он на XVIII съезде партии впервые слушал Сталина.

Тут в мемуарах Д. Ф. Устинова я тоже не вижу ничего, бросающего на автора хоть какую-то тень. У меня нет никаких сомнений, что тот трепет, тот восторг Д. Ф. Устинов тогда действительно пережил. Больше того, этот эпизод дает представление об умонастроении довольно широкого круга людей в те годы.

Читая эти страницы в мемуарах Д. Ф. Устинова, я вдруг вспомнил другую книгу, которую мне недавно подарили. Это сборник «Колыбель флота», изданный в Париже бывшими выпускниками Морского кадетского корпуса (нынешнего Высшего военно-морского училища имени Фрунзе, в котором когда-то учился и я). Сборник посвящен 250-летию основания Петром I Школы математических и навигацких наук, впоследствии ставшей Морским корпусом, и состоит из документальных и мемуарных очерков. С таким же придыханием, с каким Д. Ф. Устинов пишет о Жданове и Сталине, офицеры довоенных выпусков вспоминают тот счастливый день, когда Николай II — это было высокой привилегией Морского корпуса — присутствовал на их производстве в офицеры и лично вручал им мичманские погоны. Вспоминая об этом звездном часе их жизни, они и в голове не держат, что на обожасом ими монархе лежит тяжелая вина за бездарно загубленный на Дальнем Востоке в 1904 году флот, который так им дорог, за то, что он привел страну к краху и они лишились родины и любимого дела. И на склоне лет, большая часть которых была прожита в эмиграции, они со слезами умиления вспоминают Николая II, вручавшего им погоны: «Для нас, его современников, служивших Ему и Родине, которой Он являлся символом, слова «Император Николай II» звучат как-то сухо, официально... В сердцах у нас Он — Государь, наш Государь... для нас, моряков, чиста и светла должна остаться память о нашем Государе...» Впрочем, их можно понять и пожалеть — это было время их юности, надежд, потом жизнь их не баловала. Вот они и сохранили навсегда восторг молодых, мало что понимающих мичманов...

Автор книги «Во имя Победы...» пережил Сталина, присутствовал не только на XVIII, но и на XX и XXII съездах партии, пережил Хрущева, стал членом Политбюро и все-таки сохранил мичманский трепет и пишет о Жданове и Сталине с мичманским умилением. Но это уже не юношеская сентиментальность, а политическая позиция. Я имею в виду не его впечатления от первых встреч с ними, а общие характеристики этих руководителей, итог многочисленных встреч с ними на протяжении довольно долгого времени.

«...Мне не раз приходилось встречаться с Андреем Александровичем, — пишет Д. Ф. Устинов о Жданове, — и я вновь и вновь убеждался в том, что стремление вовремя помочь, ободрить, подсказать пути решения самых острых проблем, основанное на способности тонко и верно чувствовать психологическое состояние как отдельного человека, так и многих людей, — не случайность, не эпизод в деятельности одного из видных руководителей нашей партии, а неотъемлемый элемент этой деятельности». Мы, зная, что Жданов был одним из тех, кто в тридцатые годы старательно раскрывал кровавое колесо массовых репрессий, кто руководил послевоенным разгромом нашей науки и культуры, не приемлем устиновскую характеристику Жданова. Как и Сталина, хотя здесь автор петляет, старается замести слишком уж явные следы почтительной любви и восхищения, для видимости прибегает к оговоркам: «Следует сказать, что полная и объективная политическая оценка деятельности И. В. Сталина была в свое время дана Центральным Комитетом КПСС в специальном постановлении», — делает вид, что разделяет эту оценку, но тут же опровергает ее. Д. Ф. Устинов восторгается Сталиным, какими только достоинствами он не наделяет тирана: «обладал уникальной работоспособностью, огромной силой воли, большим организаторским талантом», «живо откликался на проявления разумной инициативы, самостоятельности, ценил независимость суждений», «у него

был аналитический ум, способный выкристаллизовывать из огромной массы данных, сведений, фактов самое главное, существенное, во время войны, стоившей нам в немалой степени по вине Сталина такой крови, таких неисчислимых жертв, оказывается, «сильные стороны его личности проявились наиболее сильно», Сталин даже последовательно осуществлял принципы коллективного руководства, «многое доверял членам Политбюро ЦК, ГКО, руководителям наркоматов, сумел наладить безупречно четкую, согласованную, слаженную работу всех звеньев управления» и т. д. и т. п.

Все это, разумеется, без особого труда можно опровергнуть. Но автору книги «Во имя Победы» не отказать в искренности, он не очень-то скрывает, что преклоняется перед великим вождем, он в открытую восхищается его верным соратником Ждановым. Хорошо, что многое он говорит впрямую: отношение автора к происходящему, к окружающим характеризует и его самого, кто он, что ему по душе, а что он не принимает, какова его гражданская и нравственная позиция. Гораздо хуже, когда автор воспоминаний что-то утаивает, замалчивает, — такого рода «подчистки» прошлого не каждый читатель замечает, ложная картина оседает в его сознании.

Д. Ф. Устинов, окончив институт в 1934 году, работал сначала в Ленинградском артиллерийском научно-исследовательском морском институте, а затем на заводе «Большевик», в марте 1938 года стал директором этого очень крупного предприятия — карьера поистине головокружительная. Но вакансии тогда открывались в большом количестве, то были годы массовых репрессий, начавшихся в Ленинграде сразу после убийства Кирова, раньше, чем в других местах, этих заключенных в лагерях называли «кировским потоком». Хотя ответственность за убийство Кирова была тогда официально возложена на «троцкистско-зиновьевское подполье», из Ленинграда отправили в ссылку и десятки тысяч бывших дворян¹. В общем, творилось нечто невообразимое — апогея разгул беззакония достиг в 1937—1938 годах.

Автор книги «Во имя Победы» подробно рассказывает об этой поре своей жизни, о том, как под его руководством «из дня в день улучшались показатели участков, цехов, отделов», о «мерах по повышению действенности социалистического соревнования», даже о работе заводской многотиражки... и ни одного слова о тех многих тысячах людей, которых тогда вырвали из жизни, отправили в лагеря, замучили пытками, расстреляли.

Может быть, ни научно-исследовательского института, ни завода, где работал Д. Ф. Устинов, эти страшные события не коснулись? Может быть, существовали такие «оазисы», в которых люди жили, не зная страха перед ночным стуком в двери, где никого не репрессировали? Вряд ли. Но если все-таки такой невероятный случай имел бы место, то добросовестный летописец обязательно бы отметил, что произошло чудо, вокруг был мрак и ужас, а данный институт или завод эта жуткая волна каким-то непостижимым образом миновала. Но, увы, подобных чудеса тогда не случались, не было «оазисов», которые бы обходили своим вниманием «мундиры голубые», на действительность тут не сошлешься, все дело в авторе, решившем почему-то совершенно не касаться этих черных событий нашей истории, сделать вид, что их не было. Почему? То ли и на него, принадлежавшего к самому высшему руководству страны, распространялись требования цензуры — репрессий не касаться, но тогда непонятно, кто же давал установки Главлиту, кому он подчинялся? То ли это тяжелая абберация памяти. То ли, что вероятнее всего, автор намеренно, вполне сознательно скрывает все то, что ставит под сомнение обоснованность его восхищения Ждановым, преклонения перед Сталиным, его ликующего восприятия тридцатых годов, все то, что изобличает ждановщину и сталинщину.

И это не единственный случай такого рода целенаправленной «прополки» истории. Двухтомная книга мемуаров А. А. Громыко «Памятное» заучена автором и вышла в свет в 1988 году в Политиздате. В своем рассказе о былом

автор был совершенно свободен, трудно представить себе, что кто-то решился бы редактировать члена Политбюро, Председателя Президиума Верховного Совета страны, да и не стояла уже эта проблема, когда книга готовилась к печати, Главлит сюжетами, о которых пойдет речь, уже не занимался — они стали «открытыми». Я обращаюсь в основном к тем страницам «Памятного», которые посвящены годам массовых репрессий, об остальном лучше судить специалистам по международным отношениям².

У автора книги хорошая память. Она сохранила много подробностей неожиданного начала его дипломатической деятельности. Он прекрасно помнит, как его пригласили в комиссию ЦК, занимавшуюся кадрами Наркомата иностранных дел (она и заседала в здании Наркомата на Кузнецком мосту). Помнит даже, какие вопросы ему задавали и что он отвечал. И кто входил в эту комиссию — сразу узнал В. М. Молотова и Г. М. Маленкова. И все-таки, как выясняется, запомнил А. А. Громыко не все и не всех. Или рассказывает не обо всем, что помнит...

Одновременно с выходом в свет «Памятного» в июльской книжке «Нового мира» за 1988 год были напечатаны воспоминания «Себя не потерять...» Е. А. Гнедина, который был в том же 1939 году заведующим отделом печати Наркоминдела. Е. А. Гнедин многое запомнил лучше, чем А. А. Громыко. Скажем, состав комиссии ЦК, по его свидетельству, был шире — в «Памятном» названы не все: «...Войдя в большой кабинет наркома, я оказался перед столом, за длинной стороной которого восседали: в середине — Молотов, справа от него — начальник ИНО НКВД пресловутый Деканозов, назначенный заместителем наркома иностранных дел, слева от Молотова сидели Берия и Маленков. По правую сторону от Молотова, но значительно ниже Деканозова, у самого торца стола, сидел М. М. Литвинов». Конечно, кому нынче охота вспоминать, что твою судьбу решали и такие деятели, как Берия и Деканозов, что и они одобрили твою кандидатуру? Но если так было, к чему это утаивать, — разве А. А. Громыко сам подбирал состав комиссии? Впрочем, быть может, комиссия в разные дни собиралась в разном составе, и тогда, когда беседовали с А. А. Громыко, не было там ни Берия с Деканозовым, ни Литвинова. Все может быть...

Так случилось, что обе эти книги — А. А. Громыко и Е. А. Гнедина — я прочитал подряд, одну за другой. Эффект от этого получился оглушительный: книги столкнулись, между ними возникла острая полемика. Не знаю, успели ли их авторы тогда познакомиться, ведь в первой половине 1939 года судьба на какое-то время свела их в Наркоминделе, но какую разную картину они рисуют! Нет, я нисколько не иронизировал, говоря, что у А. А. Громыко хорошая память, — то, что он рассказывает, он помнит точно. Например, попав впервые к Сталину, он запомнил не только все его вопросы и реплики, указания и поучения (в том числе и такой мудрый совет: «А почему бы вам временами не заходить в американские церкви, соборы и не слушать проповеди церковных пастырей? Они ведь говорят четко на чистом английском языке. И дикция у них хорошая», — которым А. А. Громыко, однако, осмелился не воспользоваться), но и как выглядел его кабинет.

Но уж очень зависима его память от его нынешних представлений о том, каким должно было быть прошлое, —

² Замечу лишь, что эти специалисты, со своей стороны, указывают на искажающие картину событий пробылы в освещении внешней политики. Политический обозреватель «Известий» С. Кондрахов писал недавно:

«О том, как принимались в те дни (речь идет о карибском кризисе.— Л. Л.) решения «на самом веру» и какие прорабатывались варианты, у нас писать не принято. По уникальному полувекскому опыту участия в мировой политике сейчас на планете нет человека, подобного А. А. Громыко. Однако в своих мемуарах, рассказывая о беседе с Кеннеди, он не сообщает, что докладывал Хрущеву в дипломатических депешах из Вашингтона и по возвращении в Москву. И симпозиум (речь идет о советско-американско-кубинском симпозиуме, посвященном карибскому кризису, который состоялся в Москве в феврале 1989 г.— Л. Л.) не очень-то нарушил это молчание.

Чем объяснить такую традиционную немногословность наших государственных деятелей, когда сама история требует от них открыто поделить опытом и тем самым внести посильную лепту в устранение одного из острых наших дефицитов — дефицита политической культуры, который сказывается и в нынешних издержках демократического процесса? Той же манерой секретности? Свообразным обетом молчания, который налагают на себя — из поколения в поколение — наши руководящие круги? Или ставшей второй натурой конспиративностью, институализированной Сталиным, что бы держать в своих руках все звенья власти, не подотчетной народу?»

¹ Среди недавно опубликованных записей Федора Абрамова есть такая: «В 35-м году из Ленинграда вывели 200 тысяч человек. Таков был счет ленинградцам за убийство Кирова. Людям на сборы давали 3 дня. Сумей за это время собраться, распродать имущество и т. п. и т. п. Жертвы, само собой, разорялись дотла, а всякие жулики и мерзавцы сколачивали состояние. В ход пускалось все: ложь, демагогия и, конечно же, «революционная» бдительность...

Один из эшелонов И. Э. провожала лично. 60 вагонов и 2 паровоза. Плакали уезжающие, и плакали те, кто провожал.

Так и прозвали эти эшелоны в народе эшелонами слез.

прошлое им постоянно редактируется, иногда до неузнаваемости. А. А. Громыко тогда, в 1939 году, недолго проработал в Москве, около полугода, но это было особое время — шел разгром коллектива Наркоминдела, осуществлявшийся бериевским ведомством. Е. А. Гнедин, арестованный в ту пору, вспоминал: «У палачей, пытавших Е. В. Гиришфельда, как и у тех, кто пытал меня, была одна и та же задача: любым способом опорочить еще находящихся на свободе или только что арестованных дипломатических работников и таким образом опорочить вместе с нами М. М. Литвинова. Последнее было, конечно, главной задачей, или, выражаясь языком режиссеров, сверхзадачей... Шла лихорадочная подготовка «дела врагов народа в НКВД».

У автора «Памятного» и намека нет на повальные аресты, которые идут в Наркоминделе, он даже не упоминает, что в это время назначен новый нарком — Молотов сменил Литвинова, а это было событием мировой политики (кстати, ничего он не рассказывает, как ему работало с Литвиновым в первые годы войны, когда тот был назначен послом в США). Но может быть, Е. А. Гнедин сгущает краски, чрезмерно драматизирует ситуацию (это так естественно, жизнь его тогда была сломана — десять лет в лагере, а потом ссылка «навечно», вот он и видит все в мрачном свете) и прав А. А. Громыко — в Наркоминделе все идет своим чередом, там тишь да гладь?

Нет, правдивую картину нарисовал Е. А. Гнедин, его воспоминания подтверждаются сегодняшними исследованиями историков. «В 1937—1939 гг., — пишет Л. Н. Нежинский, — трагически оборвалась жизнь если не большей, то весьма значительной части опытейших советских дипломатов, а также специалистов в области внешней торговли. Трагедия была не только в том, что погибли честные, ни в чем не повинные, верно служившие социалистическому Отечеству люди, но и в том, что были уничтожены профессионально подготовленные, опытейшие практические работники в области дипломатии и внешней торговли. В результате образовалась зияющая брешь. Чтобы заполнить ее, в трудные предвоенные годы для работы в аппарате НКВД стали привлекаться агрономы, инженеры, счетоводы, врачи — короче говоря, кто угодно, но только не профессионально подготовленные люди, имеющие необходимые знания и навыки для нелегкой дипломатической работы. Естественным стало снижение общего уровня ведения внешнеполитических дел нашей страны в эти годы».

Так неужели автор «Памятного» ничего этого не замечал тогда, попав в Наркоминдел по одному из таких наборов «людей со стороны», и не хочет знать и признавать сегодня? Ведь если бы не трагические обстоятельства, о которых пишут Е. А. Гнедин и Л. Н. Нежинский, разве бы его, не имевшего никакого опыта дипломатической работы, назначили бы вот так сразу заведующим американским отделом НКВД, а через несколько месяцев советником посла с перспективой заменить К. А. Уманского, занимавшего пост посла СССР в США, но чем-то не потрафившего Молотову и Сталину? Конечно, столь стремительное возвышение, расположение высокого начальства не могло не греть сердце начинающего дипломата: «...мне доверяют, дают важное поручение», — ликовал он.

Он и сегодня испытывает почтительное благодарное чувство к тем, кто заметил, оценил и выдвинул его. Но если бы только это, еще куда ни шло, — их политика, их дипломатические решения, созданная ими система авторитарного правления страной, — все принимается и одобряется, ничего не оспорено, не пересмотрено, ничего не подвергнуто критическому анализу. О Молотове (как Д. Ф. Устинов о Жданове) ни единого осуждающего слова — всем и во всем хорош. И о Сталине по той же колодке, что Д. Ф. Устинов. Если не считать нескольких с трудом выдавленных из себя дежурных фраз («...Видеть только одно положительное в Сталине было бы неправильным. Сталин еще и глубоко противоречивая, трагически (?) противоречивая личность» или «Партия коммунистов, история в основном (?) уже сказали свое слово о нем»), о Сталине написано в «Памятном» почти коленопреклоненно: он и «железной воли революционер», и «человек мысли» — мудрый, проницательный, дальновидный, он прекрасно образован, очень отзывчив, тонко чувствует музыку и т. д. и т. п. Автор тут переходит к высокой патетике, начинает изъясняться чуть ли не стихами: «Казалось, само время прекращает бег, пока этот человек занят делом». Это мне напомнило образный строй величальных песен середины тридцатых годов:

Созвездий и месяца
Солнце светлей,
Но, Сталин, твой разум
И солнца светлей.

По-иному — без патетики, это уже стиль газетной статьи о международном положении, — пишет А. А. Громыко о XX съезде партии: «Основываясь на объективном анализе общего состояния международных отношений и обстановки в мире, XX съезд КПСС (14—26 февраля 1956 г.) сделал важный вывод о том, что социализм оказывает во многом определяющее влияние на ход мирового развития и что новая мировая война не является фатально неизбежной, так как миролюбивые силы способны не допустить ее возникновения». А что доклад Хрущева о культе личности, который был главным событием съезда, потрясением для миллионов людей и в нашей стране, и за рубежом? Снова фигура умолчания — словно и не было этого доклада, который перевернул нашу жизнь. И не существует ли связи между системой умолчаний, касающихся массовых репрессий, беззаконий, пороков командно-административной системы, разоблачения злодеяний Сталина на XX съезде партии, и апологетическим отношением автора «Памятного» к Сталину и Молотову? Не этим ли объясняется бросающаяся в глаза избирательность его памяти? Не потому ли так старательно «редактирует» автор историю, что не хочет подвергать себя риску предстать перед ее судом?

Мы редко обращаем внимание на нравственную позицию сочинителя мемуаров, а между тем во многом от нее зависит и доброкачественность, и ценность его свидетельств. Как часто сталкиваешься с тем, что автор обличает и судит других, забывая о своих собственных заблуждениях и грехах. Что говорить, себя судить очень трудно, дело это мучительное. Но если прошлое оценивается по двойному счету — один, строгий, для окружающих, другой — снисходительный, льготный для себя, неизбежны серьезные искажения истины, многое в мемуарах предстанет в деформированном виде.

XX съезд партии был одним из самых глубоких водоразделов нашей истории. Он разделил наше общество на противников сталинизма и его охранителей. Это принципиальное противостояние, порожденные им открытые и скрытые общественные конфликты определяли на протяжении последующих десятилетий вплоть до нынешних дней содержание нашей жизни. Жгучий интерес ко времени «оттепели», к началу крушения сталинщины, к первой неудавшейся попытке перестройки понятен. Это не только история — демонтаж командно-административной системы идет сегодня, и, надо признать, идет туго. В немалой степени потому, что им по службе, по должности занимались и занимаются те, кому это дело совсем не по душе, чей образ мыслей, симпатии и антипатии, навыки, привычки сформированы этой системой, и они, наверное, с куда большим пылом ее бы реставрировали, а не разрушали. «Весь руководящий состав правительства, включая министерства (речь идет о хрущевских временах. — Л. Л.), получил закалку в предвоенное и военное время. Поэтому стиль и методы руководства практически оставались теми же, что и при Сталине. То же самое — относительно руководства республиками и областями», — это свидетельствует В. Н. Новиков, сам занимавший тогда высокие государственные посты — председателя Госплана РСФСР и СССР, заместителя председателя Совета Министров СССР.

«Скажу честно, что многие из нас, работавших при Сталине на руководящих постах, восприняли это выступление (речь идет о докладе Хрущева о культе личности на XX съезде КПСС. — Л. Л.) с чувством угнетенности. стыдно было и за Сталина, с именем которого мы строили социализм и одержали победу в войне, и за себя. Кто же тогда мы все? Выходит, не с тем мы работали, с кем надо», — рассказывает он в опубликованных в январском и февральском номерах журнала «Вопросы истории» воспоминаниях «В годы руководства Н. С. Хрущева» (это наблюдение помогает лучше понять природу тех странных зияний в мемуарах Д. Ф. Устинова и А. А. Громыко, о которых я говорил). А кому как не ему знать эту среду, взгляды, интересы, настроения партийных и государственных деятелей этого ранга! Да не будь в них в годы сталинского правления вбитая привычка к дисциплине и послушанию, ставшая второй натурой, они бы, пожалуй, на штыки подняли Хрущева за его разоблачения.

Откровенное признание (В. Н. Новиков вообще о многом пишет прямо, без утайки, и это большое достоинство его

мемуаров) делает честь автору — он ведь и себя не выделяет из этого круга недовольных, возмущенных, выбитых из колеи привычных представлений. Он тоже принадлежит к тем, кто считал, что дела при Сталине у нас шли очень недурно: «После смерти новому руководству осталось наследство хотя и тяжелое, но во многих отношениях неплохое». Он полагает, что виноват во всех последующих бедах и кризисах — идеологических, экономических, производственных — не Сталин, создавший командно-административную систему, неэффективную, разорительную, губительную для страны, а Хрущев, решивший перестраивать сталинское здание, в котором жить по-человечески было невозможно¹ (хотя после Хрущева, когда эта перестройка была заморожена, в течение двух десятилетий дела у нас шли все хуже и хуже): «...Государственная машина, раскрученная до 1953 г., продолжала работать и двигалась в основном вперед, независимо от того, кто где сидел. Мне даже представляется, что если бы тогда «там» вообще никого не было, страна продолжала бы существовать и развиваться по линии, намеченной ранее... С моей точки зрения, в масштабе СССР сбить государство в целом на худший ритм работы можно было только искусственными или нарочито глупыми мерами, а при нормальном состоянии страны налаженное хозяйство при сложившихся кадрах и достигнутом уровне технического прогресса, при наличии талантливых конструкторов, технологов, ученых и квалифицированных рабочих могло сохранять набранные темпы более 10 лет. Нашу огромную махину неспроста было раскатать, но нелегко и остановить». Значит, государственную машину, отлаженную Сталиным так, что она самоходом могла больше десяти лет безостановочно двигаться вперед, Хрущев глупыми мерами развалил, она завязла в трясине, стала буксовать — это хочет сказать В. Н. Новиков? Не Сталин, а Хрущев виновник наших бед? Вообще Хрущев вызывает у него неприязнь (не потому ли В. Н. Новиков участвовал в тайной подготовке его смещения), он предъявляет ему очень большой счет (прошу

¹ С еще большей откровенностью и резкостью об этом говорил в 1980—1981 гг. в пространственных беседах с журналистом В. Литовым И. А. Бенедиктов, возглавлявший с 1938 по 1958 год сельское хозяйство страны. Запись этих бесед, опубликованная в апрельском номере «Молодой гвардии», когда моя статья была уже написана, представляет собой многостраничный гимн сталинщине, исповедь человека, взгляды которого — законченное выражение идеологии командно-административной, тоталитарной системы, хотя редакция рекомендует И. А. Бенедиктова как «убежденного, даже в догмах своих, марксиста, сознательно подчинившего всю свою жизнь строгой, безжалостной логике классовой борьбы». Как он считает, при Хрущеве «страна сошла с ленинских рельсов развития, потеряла темпы, пострадали интересы десятков, а может быть, если взять международные аспекты, сотен миллионов людей». Суждения И. А. Бенедиктова, а он затрагивает множество проблем и вопросов, требуют самостоятельного критического разбора. Я тут коснусь лишь двух моментов, связанных с элементарной исторической правдой, приведу несколько цитат, которые, по-моему, не нуждаются в комментариях.

Вот как оценивает И. А. Бенедиктов положение дел в руководимом им при Сталине сельском хозяйстве: «Конечно, партия, правительство, лично Сталин делали многое для подъема сельского хозяйства, улучшения жизни крестьян — подтверждаю это как человек, возглавлявший отрасль в течение двух десятилетий. И деревня сделала мощный рывок вперед к современной организации производства и труда, цивилизованной культуре и быту». Больше того, оказывается, «в своей основной массе и колхозники, и рабочие совхозов были довольны жизнью и смотрели на будущее куда более оптимистически, чем сейчас, в условиях немыслимого для той поры материального достатка. Говорю это потому, что не раз доводилось слышать стенина о бедственном положении деревни в 30-е и 40-е годы».

Репрессии и беззакония сталинской поры представляются И. А. Бенедиктову «объективно назревшим процессом оздоровления и омоложения кадров», быть может, у него были личные основания так думать, он ведь и был этим здоровым и молодым кадром — в тридцать пять лет стал наркомом. Но на этом его мысль не останавливается: «Репрессии 30-х и 40-х годов вызваны главным образом объективными факторами. Прежде всего, конечно, бешеным сопротивлением явных и особенно скрытых врагов советской власти». «В целом крупномасштабная, решительная чистка партийно-государственного аппарата, армии укрепила страну и сыграла положительную роль». Хотя и принесла душевные муки чувствительной натуре Сталина: «Сталин, несомненно, знал о произволе и беззакониях, допущенных в ходе репрессий, переживал это и принимал конкретные меры к выправлению допущенных перегибов, освобождению из заключения честных людей»; «По вопросам, касавшимся судеб обвиненных во вредительстве людей, Сталин в тогдашнем Политбюро слыл либералом. Как правило, он становился на сторону обвиняемых и добивался их оправдания, хотя, конечно, были и исключения». Что тут скажешь, разве что припомнишь Пушкина — «над вымыслом слезами обольюсь»...

прощения за пространную цитату — я хотел бы быть максимально точным, излагая соображения В. Н. Новикова):

«Разве не был Хрущев одним из соратников Сталина? Не он ли громко восхвалял тогда Сталина и старался замазывать негативные явления?»

А что конкретно сделал тогда Хрущев для облегчения доли невинных заключенных? Для спасения осужденных? Разве сам он не давал согласия на арест тысяч людей в центре страны? Или судилища Москвы и области оставались вне поля зрения первого секретаря МК и МК ВКП(б)? Все делалось по указанию Сталина, но конкретно — руками других людей, включая его верного службиста Хрущева, старавшегося покрепче сидеть в своем кресле. С 1938 по 1949 г. Хрущев возглавлял Украинскую партийную организацию, где тоже творилось немало несправедливостей. С 1949 г. Хрущев — секретарь ЦК ВКП(б) и вновь во главе Московской парторганизации, бок о бок работает с Берия и его пособниками. По совести говоря, Хрущев был верным соратником (тогдашняя терминология) Сталина...

Упреки и обвинения В. Н. Новикова не лишены оснований: вместе с другими «соратниками Сталина» Хрущев несет ответственность за многие злодеяния той поры. Но читая это место воспоминаний, я не мог избавиться от чувства, что гнев В. Н. Новикова вызван в действительности не столько былыми грехами Хрущева, а тем, что Хрущев, как он выражается, «носил камень за пазухой», втайне накапливал ненависть к сталинской бесчеловечности, что не был он верным сподвижником Сталина, а самое главное, при первой же возможности попытается сломать казарменно-лагерный режим в стране. Сейчас В. Н. Новиков соглашается с необходимостью разоблачения культа личности. Больше того, он совершенно справедливо пишет — не могу этого не отметить: «Чтобы репрессировать сотни тысяч невинных людей, необходимы тысячи исполнителей. Но где же эти преступники, куда они пропали? Гитлеровских палачей мы разыскиваем больше 40 лет и наказываем, а свои исчезли без следа?.. Пишут, что виновата была в целом обстановка. Это не оправдание. Совесть и честь должны быть у каждого человека... Еще при Хрущеве, который разоблачил культ личности и его последствия, проявилось стремление организовать всепроникновенным людям, являвшимся преступниками при Сталине... По той простой причине, что многие тогдашние руководители тоже имели нечистую совесть и должны были ответить за репрессии». Но, судя по его мемуарам, когда Хрущев выступил на XX съезде партии, вряд ли эти мысли приходили ему в голову, он был угнетен разоблачением Сталина и сталинских порядков. И опять же, судя по его воспоминаниям, которые подтверждаются многими другими источниками, на верхних этажах власти это было очень широко распространенное, если не преобладающее настроение. И надо было обладать недюжинным политическим и человеческим мужеством, чтобы отважиться на такой шаг, как доклад о культе личности на XX съезде.

Да, при Сталине Хрущев глубоко тайл свои мысли и чувства, но за одно неосторожное слово, косой взгляд тогда расплачивались жизнью, иных мер Сталин не признавал, не считал их действительными, это понимал и В. Н. Новиков. И выпрыгнуть из служебной колесницы, уйти в сторону, стать частным лицом было тогда невозможно — только пулю в лоб. Но мало у кого доставало на это сил. Вот и старался Хрущев «покрепче сидеть в своем кресле» — иначе пуля, своя или чужая, другого выхода не было...

Я не стал бы этого касаться, если бы не один эпизод в мемуарах В. Н. Новикова. Он заставлял меня вернуться к тому, что я уже говорил: если судишь других, то и себя суди по такому же кодексу, не прощай себе того, за что осуждаешь других, иначе вынесенный тобой приговор теряет силу.

«Как-то поздней осенью 1958 г., — вспоминает В. Н. Новиков, — звонит мне заведующий сельхозотделом ЦК КПСС В. П. Мыларшиков и говорит: «Товарищ Новиков, Никита Сергеевич поручил мне передать Вам, что надо организовать работу для переделки 100 тыс. прицепных комбайнов на самоходные». Тогда основным комбайном был прицепной (к трактору), выпускавшийся Ростовским комбайновым заводом. Я просто опешил: предложение дикое, где взять 100 тыс. дизелей или моторов? Да и вообще комбайн надо заново проектировать, а не просто переделывать. Отвечая, что вряд ли возможно сразу взяться за переделку 100 тыс. комбайнов, не зная, во что их превратим: это оставить село без комбайнов. Слышу: «Вы понимаете, товарищ Новиков, от кого исходит инициатива? Надо не вопросы ставить,

а заняться выполнением поручения». Вижу, дело заходит далеко. Утром звоню: «Владимир Павлович, все продумал и предлагаю кратчайший путь: разрешите мне к весне тысячу комбайнов в двух-трех вариантах переделать в самоходные. Летом или даже еще весной в южных районах мы их опробуем и тогда уверенно переделаем все 100 тысяч в короткий срок... Мы часть комбайнов (конечно, с великими трудностями) превратили в самоходные, но при первых же, самых легких, работах они развалились, как и следовало ожидать. На этом эпопея была закончена...»

В. Н. Новиков рассказывает об этой истории с некоторым торжеством, он уверен, что одержал победу, что достойно, во всяком случае, с самым минимальным из всех возможных ущербом вышел из весьма затруднительного положения. Но что-то мешало разделить с ним торжество. Конечно, хорошо, что загробили не сто тысяч комбайнов. Но и те, что были вполне сознательно превращены в металлолом, — тоже ведь не пустяк. Все-таки очень уж недешево обходится нам невежественные, сумасбродные «задумки» высокого начальства и служебное рвение послушных, вымуштрованных подчиненных. И не дает мне покоя мысль: а почему В. Н. Новиков не обратился напрямую или не написал Хрущеву, стараясь растолковать, что пришедшую ему в голову идею нельзя, невозможно воплотить в жизнь. А вдруг бы Хрущев вынул его аргументам, он ведь все-таки был человеком, не лишенным здравого смысла (что подтверждает другой рассказанный В. Н. Новиковым эпизод: когда он растолковал Хрущеву, что его указание выдворить из Москвы сельскохозяйственную академию обойдется в четыре миллиарда рублей, Хрущев от этой затеи отказался).

А если бы Хрущев не посчитался с его доводами, если бы даже очень рассердился, чем рисковал В. Н. Новиков, что грозило ему? Но он не решился обратиться к Хрущеву, не стал перечить Мыларщикову, а принял выполнять поручение, которое считал бредовым. Почему? Да потому, что Мыларщиков, как он пишет, «так умел доложить Хрущеву любой вопрос, что все знали — от его доклада зависит судьба всякого руководителя — усидит на своем месте или нет». Оказывается, все дело в страхе лишиться начальственного места. Не расстреляли бы, не сгноили в лагере, как при Сталине, а всего лишь отобрали вельможное кресло. Да и назначили бы, наверное, не рядовым инженером, а в самом худшем случае директором завода. Или отправили бы на пенсию — как писал Борис Слуцкий:

Теперь не каторга и ссылка,
куда раз в год одна посылка,
а сохраняемая дача,
в энциклопедиях — столбцы,
и можно, о судьбе судача,
выращивать хоть огурцы.

Но я слишком мрачно смотрел на вещи, на самом же деле, когда по предложению Хрущева В. Н. Новиков был снят с поста председателя Госплана, он получил назначение председателем Комиссии по внешнеэкономическим вопросам в ранге министра.

Неужели, укоряя Хрущева за то, что тот был «службистом», старался покрепче сидеть в своем кресле (это при Сталине, в обстоятельствах немыслимых, ужасных), В. Н. Новиков не замечает, не отдаст себе отчета, что во времена куда более благополучные — ни тюрьма, ни сума ему не грозили — он вел себя несколько не лучше, и чтобы усидеть на своем месте, жертвовал и пользой дела, и своим достоинством.

Разве сам он выглядит лучше, хотя, хочу снова это напомнить, и времена уже другие, и Хрущев не Сталин:

«В одну из очередных встреч Хрущев пригласил присутствующих вместе с ним пострелять по летящим тарелочкам... Я сбил подряд четыре первые же вылетевшие пластмассовые тарелки. Вставляю пятый и шестой патроны. Чувствую, сзади меня за пиджак кто-то усиленно дергает. Глянул мельком — Ф. Р. Козлов. Я сразу сообразил, что рекорд мне ставить нельзя. Начал «мазать», но для порядка сбил еще тарелочку. Хрущев сбил семь тарелочек, гордо сказал мне: «Вот как надо стрелять!» Все были довольны, я — тоже».

Буйно расцветшее при Сталине в той среде, к которой принадлежал В. Н. Новиков, раболепие, наущничество, интриганство¹, не очень-то пошло на убыль при Хрущеве, —

только теперь почвой всего этого было одно лишь желание выслужиться, сделать карьеру...

Как редко в современных мемуарах встречаются слова, столь естественные для человека, умудренного нравственным опытом прожитой жизни, подводящего ей итог: «Я тогда ошибался...», «Я несу за это ответственность...», «Теперь я вспоминаю об этом с горечью и раскаянием...» Разумеется, это воля каждого — один прислушивается к голосу совести, у другого, занятого лишь устройством своих дел, нравственный слух атрофировался, один считает, что всегда и во всем был прав, другой не прощает себе ошибок и заблуждений. И в мемуарах, как бы порой ни старался это сделать автор, он не может скрыть, кто он такой в действительности. Мемуары пишутся не для себя — это объяснение с людьми, с прошлым, с историей, не зря Герцен писал, что мемуары — это «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Рассказывая правду о себе, автор мемуаров рассказывает правду и об истории. «Сочиняя» себя, он «сочиняет» и историю, надеясь, что все будет шито-крыто, все быльем порастет, никто не докопается до истины. Эти надежды, как правило, иллюзорны, проходит какое-то время — увы, иногда, правда, немалое, — и тайное все равно становится явным, выходит наружу. Это происходит сейчас, в наши дни. После долгих лет тьмы резкий свет истины освещает наше прошлое — и относительно давнее, и то, что еще находится в двух шагах от нас, и его деятелей, ушедших от нас и еще живых. То, что иные вершители судеб былых лет рассчитывали сохранить в глубокой непроницаемой тайне, выходит на белый свет, стало, становится явным.

Закономерно возникает вопрос, а надо ли публиковать мемуары людей, которые не в ладах с правдой, которые сознательно творят из горького прошлого сладостную легенду, чтобы таким образом уйти от ответственности? Если эти люди в свое время — так случилось — оказались на дороге истории, то, думаю, непременно надо печатать их воспоминания. В них тоже отражена история, только в кривом зеркале. «При наличии методов дешифровки заведомая фальшивка может быть источником ценных сведений, при отсутствии их самый достоверный документ может сделаться источником заблуждений», — заметил один из самых авторитетных наших литературоведов, Ю. Лотман. Это верно. Только к этому нужно добавить, что для верной дешифровки нам необходим доступ к фактам, мы должны иметь возможность мемуары, которые вызывают у нас сомнение, сравнить с документами, с другими воспоминаниями, и тогда они могут стать, станут источником ценных сведений...

Один из участников «круглого стола» историков, состоявшегося в 1987 году в журнале «Коммунист», утверждал: «Мы уперлись не в нехватку архивных материалов, а в явную недостаточность общесоциологических идей и подходов, которые вывели бы нас здесь из тупика. Мне кажется, прежде чем идти в архив, мы должны иметь ясную исследовательскую программу, которая бы включала в себя не только уверенность в том, что культ личности — это плохо». Думаю, что это ошибочная точка зрения. Мы не выберемся из тупика, если концепции выводить не из фактов, а подыскивать, подбирать факты для иллюстрации умозрительных или хуже того ложных схем. К чему это приводит, мы имели возможность убедиться в прошлом самым горьким образом, и не один раз. Пока мы все еще испытываем острый дефицит фактов и в том числе мемуарных свидетельств, но потребность в фактах уже осознана обществом (что подтверждает, например, фантастический — двадцать один миллион с лишним экземпляров — тираж недавно еще прозябавшего бюллетеня «Аргументы и факты»). И не надо быть пророком, чтобы предсказать в самое ближайшее время мемуарный «взрыв». В сущности, он уже начался — в последний год любой уважающий себя и чутко реагирующий на запросы своих читателей журнал почти в каждом номере печатает воспоминания. И те, что написаны давно, но лежали спрятанные от посторонних глаз. И те, что написаны недавно, когда расчет с прошлым, восстановление исторической правды были осознаны как необходимое условие нашего духовного возрождения.

Март 1989 г.

в «Известиях ЦК КПСС»: «Так называемое «ленинградское дело» было спровоцировано и организовано И. В. Сталиным, который стремился поддерживать среди высших руководителей атмосферу подозрительности, зависти и недоверия друг к другу и на этой основе еще больше укреплять свою личную власть...»

¹ Это отмечается в подготовленной Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС и Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС справке «О так называемом «ленинградском деле», опубликованной

Жизнь под угрозой

Иван КУНИЦЫН,
Алексей НИКОЛАЕВ

ТЯЖЕЛА ЛИ ШАПКА... МИНЧЕРМЕТА?

Всесоюзная независимая комплексная экологическая экспедиция «Юности» завершила свою работу в городе Магнитогорске. На этом этапе ее участниками были:

Абдрашит БИГЕЕВ — заведующий кафедрой металлургии стали Магнитогорского государственного металлургического института, доктор технических наук, профессор;

Олег ЕФРЕМОВ — врач, патологоанатом;

Всеволод МАРЬЯН — редактор отдела науки журнала «Юность», руководитель экспедиции;

Владилен МАШКОВЦЕВ — писатель;

Владимир РАЗУМОВСКИЙ — заместитель главного инженера Магнитогорского металлургического комбината по экологии;

Валерий ТИМОФЕЕВ — лидер магнитогорского патриотического объединения «Встречное движение»¹.

«Покорность судьбе — какое жалкое прибежище».

Людовик ван Бетховен

Редкая птица долетит до середины ММК — Магнитогорского металлургического комбината. По крайней мере со стороны коксохимического производства. Не случайно крыши цехов его прозваны «кладбищем голубей».

Воздух над комбинатом перенасыщен «всякой всячиной»: тяжелыми металлами, окислами серы, азота, канцерогенами... Вываливаясь из бесчисленных труб и дыр, дым собирается в плотные серо-буро-малиновые, пахучие и мохнатые облака, заставившие над предприятием в виде гигантской шапки. Из-под нее густыми и едкими потоками расплозаются в разные стороны газы. Переправившись через Урал, наступают на город, ползут по улицам, заполняют дворы, проникают в квартиры.

С правого берега реки едва можно различить — во мгле пыли и копоти — творение научно-технической мысли 30-х годов, некогда потрясавшее воображение миллионов, — легендарную Магнитку.

Не покушаясь на ее славу и воздавая должное героям-металлургам, не забудем, однако, вспомнить при этом и о бе-

зыманных наших соотечественниках, обращенных репрессивной машиной в лагерных рабов и согнанных на эту якобы ударную комсомольскую стройку для воплощения очередной идеи сталинской индустриализации. Пора, пора вспомнить о тех, кто в действительности строил комбинат, и поклониться им.

Магнитогорский писатель Владилен Машковцев давно занимается историей своего города.

МАШКОВЦЕВ: «Например, в январе 1933 года на стройке было осужденных только по 58-й статье — 26 тысяч 786 человек. А комсомольцев — 17 тысяч, коммунистов еще меньше — 12 тысяч. Основной же строительной силой являлись «спецпереселенцы». В этот период их было здесь 40 тысяч человек. Как видите, нельзя согласиться с существующей точкой зрения, что комбинат возведен руками только политзаключенных, равно как и с официальной версией о том, что он построен комсомольцами. К тому же у «политических» был малопродуктивный труд. Документы тех лет свидетельствуют, что как рабочая сила они были вовсе не нужны. Выдерживали здесь, на суточном хлебном пайке в 100 граммов, месяца два-три и умирали. Их пригоняли сюда, чтобы уничтожить».

А годы были тридцатые. Полным ходом шла индустриализация и — милитаризация.

— Стране нужен металл, — тихо сказал Иосиф Виссарионович.

— Даешь металл! — прокатилось по стране.

— Вытянись в нитку — не подведи Магнитку! — с тех пор стало не просто лозунгом, а жизненным правилом в Магнитогорске.

МАШКОВЦЕВ: «Сталин ведь не только кнутом действовал, но и пряником. Допустим, отдается приказ — расстрелять 240 человек за плохую работу. А следом — наградить 600 за хорошую! То есть и радости было много. Массовые репрессии невозможны без массового психоза».

Вклад Магнитогорска в победу над фашизмом неосценим. Родина звала на подвиг. И-сталеваары свершили его, как другие советские люди — на фронте, в колхозах, везде.

Война кончилась, но подвиг продолжался и, скажем без преувеличения, продолжается. «Вытянись в нитку!..» — по-прежнему правило жизни, а не просто лозунг для магнитогорцев, хотя и воспринимается ими уже далеко не всерьез.

На разговор с Владимиром Разумовским мы шли, честно говоря, как на бой. Все-таки — заместитель главного инженера комбината по экологии, представитель высшего эшелона администрации, с действиями которой трудовой люд привычно и не без оснований связывает все свои беды. В городе не раз приходилось слышать: «И что только Разумовский думает?! Поговорите с ним». Готовились к встрече с функционером, который привычно будет нас заверять, что все в общем-то в порядке, страхи преувеличены, претензии необоснованны. Но наш собеседник оказался истинным патриотом Магнитки, остро чувствующим все ее беды.

РАЗУМОВСКИЙ: «Физическая и моральная напряженность людей на комбинате поразительная! Живучесть их, выживаемость тоже — по-ра-зи-тельная! Я отработал двадцать лет на коксовом производстве начальником смены и вот что скажу. Иногда мне приходится слышать, будто бы наш рабочий класс разделился, — меня подобные заявления, простите, в бешенство приводят. Даже просто стоять у мартена, видеть расплавленный металл, вот этот монстр... когда надо выпустить 900 тонн стали за какие-нибудь несколько минут, вдыхая смрад, разлить по изложницам, повезти опять в печку, там снова нагреть, затем первая прокатка, обжатие, оттуда на среднелистовой, тонколистовой... Колоссальное, просто чудовищное звено, с низкой производительностью, но с тяжелейшими условиями труда. Каждый день работы здесь — подвиг».

Рабочие комбината должны еще ездить в колхоз на сельскохозяйственные работы. Кроме того, им надо изыскать время и для своего сада или огорода. Таким образом, наш рабочий физически просто не восстанавливается. «Пашет» на износ.

А женщины, которые работают на коксохиме по 10—15 лет? — да перед ними преклоняться надо! Каждой орден дать!

Традиции рабочего класса магнитогорского — они уже в генах. И дело тут даже не в «нитке»... Судите сами. Зима, на улице бывает 30 градусов мороза, трамваи стоят, а люди через дамбу — бегом-бегом, закрываясь вот так, вот эдак, обмораживаясь, — только бы не опоздать на работу! Потому что главным критерием жизни для магнитогорцев всегда были успехи в труде. И любое охаивание рабочего класса,

¹ В работе нашей экспедиции участвуют народные депутаты СССР и члены Верховного Совета СССР: В. Астафьев, Г. Фильшин и другие. См. «Юность» №№ 5, 7 и последующие номера. — Ред.

в частности Магнитки, я считаю, аполитично! Если этот накал патриотизма распатеем... мы просто упадем... Да уже падаем».

Бессспорно, заводской патриотизм — явление неоднозначное. Не отрицая его положительных черт, мы, однако, не отказываемся и от уже высказанных нами доводов («Юность» №№ 7, 8) против развившихся на многих производствах уродливых его форм. Прежде чем ратовать в его безоговорочную поддержку, не следует ли задаться вопросом: ради чего он? Ради бессмысленных тонн, мертвых кубометров, уничтожения природы, подорванного здоровья населения, и в первую очередь самих же рабочих, и т. д.? Кому нужен ведущий к этому патриотизм?

Времена «голового» энтузиазма и каждодневного подвига ради подвига, хотим мы этого или не хотим, уходят. На смену им идет новая эпоха, призванная вернуть к жизни по недомыслию, а может быть, напротив, с великой хитростью десятилетиями предававшийся анафеме фактор личной выгоды. Материальной и духовной. Личной выгоды от результатов и самого процесса работы, от сохранения здоровья, природы, от нормальных условий труда и нормальных производственных и человеческих отношений, наконец, личной выгоды от общего блага.

Трудолюбие, основанное на традициях, привычке и патриотизме, должно быть заменено или соединено с трудолюбием заинтересованности. Мы не утверждаем, что одно совершенно исключает другое, что рабочие традиции несовместимы с деловым духом и коммерцией, за которыми будущее. Мы выступаем против того худшего вида заводского патриотизма, сложившегося у нас за десятилетия промышленного рабства, когда или вовсе не требовалось ответа на вопрос: ради чего? Или он отыскивался в области идеологических абстракций, а не здравого смысла и экономических законов.

Ради чего?

По данным, приведенным в справке комиссии ЦК ВЛКСМ «О состоянии окружающей среды, охраны и укрепления здоровья жителей г. Магнитогорска» (1988 г.), детская заболеваемость в этом городе превышает среднесоюзный уровень в 2 раза, а профессиональная — в 7 раз. Заболеваемость раком легкого и молочной железы за последние двадцать лет увеличилась в два раза, раком толстого кишечника и кровеносных органов — в 3, а мочевыводящих путей — почти в 4 раза. За тот же период в 1,5 раза возросла смертность. Растет выход на инвалидность по предприятиям города. Частота осложнений беременности у женщин и врожденных аномалий у новорожденных здесь также выше, чем в среднем по стране. А вот темпы прироста населения значительно отстают.

Это официальная статистика, с которой, кстати, надлежащим образом так и не ознакомили население города. Видимо, «отцы» Магнитогорска по-прежнему считают, что уровень сознания рабочих еще не настолько высок, чтобы правильно отреагировать на столь страшные показатели их уровня жизни. А вдруг испугаются, расстроятся, выйдут на улицы — ослабят «нитку» и подведут Магнитку? Но все труднее становится скрывать правду. Многие тайное стало явным благодаря активно действующему объединению «Встречное движение» — самостоятельной общественной организации сторонников перестройки. Олег Ефремов — активный сотрудник объединения.

ЕФРЕМОВ: «Как патологоанатом, я могу сказать, что в нашем городе практически «эпидемия» рака легкого...»

90 с лишним процентов детей страдают болезнями верхних дыхательных путей. А мертвыми или с физическими дефектами детей рождается больше, чем в миллионном Челябинске и шести прилегающих к нему районах, вместе взятых. Что касается детской смертности в Магнитогорске, то, согласно официальной статистике, она вроде бы «в норме», то есть не превышает среднесоюзного показателя. Но что вообще означает это — «в норме»?

Тут хитрость вот какая. Если по правилам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) жизнеспособным считается плод весом не менее 500 граммов, то в Советском Союзе — 1 килограмм. То есть недоношенные дети, как правило, не выживающие, у нас не включаются в статистику детской смертности, которая, думаю, в противном случае была бы просто ошеломляющей.

Недавно мне стало известно о случаях облысения магнитогорских детей. Вообще, надо сказать, дети глупеют, труднее поддаются обучению.

Постоянное отравление организма тяжелыми металлами приводит к ухудшению его иммунной функции, что в условиях Магнитогорска усугубляется недостаточным (на 60 процентов) притоком ультрафиолета — результат промышленного смога. Это практически тот же СПИД. Только не вирусного, а экологического происхождения.

В системе здравоохранения города не хватает половины положенных по штату врачей. Это о чем говорит? Кто бежит с корабля? Да те, кто лучше других понимает, что происходит.

Больницы в ужасном состоянии. Плохо обеспечены оборудованием. Нехватка лекарств в среднем до 70, а по некоторым — до 93 процентов».

Валерий Тимофеев — лидер патриотического объединения «Встречное движение». Он считает, что без скорейшего решения социально-бытовых проблем не может быть преодолена кризисная экологическая ситуация.

ТИМОФЕЕВ: «Школы перегружены — занятия в три смены. С детскими садами плохо. Жилья катастрофически не хватает. Сталева, в течение десяти лет получивший квартиру, считает себя счастливым. А до недавнего времени ее к тому же еще и отбирали, если он уходил с комбината. Такое вот своего рода закрепощение наряду с пропиской».

Невероятно остра транспортная проблема. В этой связи весьма примечателен следующий факт. Местные власти, изыскав средства, приняли решение о строительстве четырехрядного моста через реку Урал от жилых районов к комбинату. И вдруг из центра поступает корректировка — строить двухрядный. Никогда не ездившие в наших всегда битком набитых трамваях московские чиновники посчитали, дескать, больно жирно будет им четырехрядный мост иметь».

И еще пример того, как государство отплачивает магнитогорским сталева, за самоотверженный труд. Несколько тысяч людей вот уже десятки лет живут в районе, расположенном под самым боком комбината, аккуратно под его ядовитой шапкой. Дома, построенные из серых бетонных плит, под воздействием промышленных выбросов давно приобрели здесь радикальный коричневый цвет. Трудно представить, как вообще можно жить в этой в буквальном смысле слова газовой камере.

Но, будучи подлинными патриотами своей родины и завода, люди безропотно жили на этой так называемой «метизной площадке» и только года два-три назад стали бороться за свое выживание. Местные власти обратились в Минчермет (Министерство черной металлургии, ныне объединено с Министерством цветной металлургии, министр С. В. Колпаков) с просьбой выделить средства, необходимые для переселения жителей из опасной зоны. Министерство долго «ломалось», но наконец выдало «от цедрот» аж 400 тысяч рублей (это на полдевятышажки)! Правда, не всего, а в год. Так что, возможно, в будущем тысячелетии люди выселены с «метизной площадки». Если они и их дети доживут, конечно.

К вопросу: «ради чего?» осталось добавить следующее. На Магнитогорском комбинате ежегодно выплавляется 16 миллионов тонн стали, а проката он дает 12 миллионов тонн. Куда идут целых 4 миллиона тонн? На так называемую обрезь, которую опять загружают в печь. Таким образом, из-за несовершенства технологии сталева, в каторжных условиях целый квартал работают «холостую. Мало того. Ценой здоровья и невероятного напряжения сил выплавленный металл Магнитки, попадая в круговорот нашей «самодеской» экономики, используется в основном вовсе не для производства действительно необходимой людям продукции (стиральных машин, пылесосов и т. д.), а для изготовления тех же монстроподобных никому не нужных тракторов или экскаваторов, извлекающих из недр руду только затем, чтобы из нее опять получить металл, из которого — новые экскаваторы. И при этом мы ежегодно закупает за рубежом листовую сталь на два миллиарда рублей.

Дело в том, что из-за технологической отсталости мы не в состоянии в необходимых количествах производить высококачественный прокат. Поэтому покупаем. На это легко сказать: так давайте на те два миллиарда построим новый — более совершенный комбинат — но гораздо труднее построить. Более того. Происходящая в настоящий момент реконструкция ММК призвана, в частности, обеспечить нас отличным по нынешним меркам литьем. Однако закончена она будет в лучшем случае в начале XXI века, когда экономике наверняка потребуются сталь еще более высокого качества, чем сейчас: научно-технический прогресс. Что ж, будем по-

купать. Как говорится, круг замкнется. А точнее: замкнется очередной виток спирали. Спираль пресловутого соревнования систем, в котором мы с известных пор — в роли догоняющих, если не подгоняемых.

О том, чего на свете нет

Обратимся еще раз к документам комиссии ЦК ВЛКСМ: «Применяемые на предприятиях (Магнитогорска. — Ред.) технологические схемы предполагают значительный выброс загрязняющих веществ в атмосферу и со сточными водами». И далее: «Специфика ММК заключается в значительном износе и крайне высокой нагрузке оборудования, что приводит к значительным объемам неорганизованных выбросов...»

Опять эти набившие оскомину словосочетания: несовершенство технологий, износ оборудования, неорганизованные выбросы...

Не менее надоели и эти: технологическое перевооружение, внедрение малоотходных и безотходных технологий и т. д. А главное — неопределенность сроков этого перевооружения и внедрения. Боже! Как они «вечны», если учесть их постоянные срывы, гуттаперчивость, нереальность! Взять, к примеру, реконструкцию ММК. Как уже отмечалось, ее планируется завершить к 2000 году. По нашим темпам строительства, намерение довольно оптимистическое. Но даже если оно осуществится, то, во-первых, реконструкция эта, улучшив условия труда и качество стали (но, конечно же, не до мировых стандартов), экологических проблем не решит. А во-вторых, помешает сосредоточению усилий (замкнув все на себя) на социальном развитии города, а значит, не будет способствовать росту благосостояния людей. Спрашивается: хватит ли патриотизма у магнитогорского рабочего класса, чтобы в очередной раз все это вытерпеть?

Подобная ситуация довольно типична и, пожалуй, неразрешима при сохранении существующих экономических структур. Но предположим, что бессмысленное наращивание производственных мощностей будет приостановлено, а высвобожденные средства направлены на экологию и социальную сферу. Допустим также возможность быстрой децентрализации управления экономикой. Сможет ли наука активно включиться в этот процесс и предложить решения, соответствующие требованиям времени как по качеству разработок, так и по срокам их реализации?

Конкретно черная металлургия. Каковы шансы перестройки в этой важнейшей отрасли народного хозяйства? — спрашиваем профессора А. М. БИГЕЕВА, создателя принципиально новой практически безотходной технологии выплавки чугуна и стали. Еще в 1962 году предложил он ее, но только в 83-м (!) она была рассмотрена, одобрена и принята к реализации на коллегии Государственного комитета по науке и технике СССР. Однако ж до сих пор экспериментально не опробована, не говоря уже о широком внедрении.

— И экологические, и все другие проблемы черной металлургии, — сказал Абрам Мусеевич, — могут быть решены лишь при освоении полностью автоматизированных, непрерывных процессов выплавки стали в абсолютно герметичных агрегатах. Это позволит: свести к нулю все выбросы, кроме углеиспользования газа, но, думаю, в будущем можно избавиться и от него; максимально улучшить условия труда, фактически исключив ручные операции и все эти чудовищно трудоемкие циклы современного нашего сталеплавильного производства; решить серьезнейшую металлургическую проблему, как я ее называю, увеличения створа в ножницах качества: требования к металлу повышаются, а качество сырья снижается. Дело в том, что в доменные печи можно загружать руду с содержанием железа не менее 55—60 процентов, но таких руд у нас почти не осталось: все «скушали». Процесс же обогащения маложелезосодержащих руд очень дорог и трудоемок. Поэтому надо создать «всеядный» агрегат, который примет то, что есть в природе.

Вместо дорогостоящего кокса в таком агрегате возможно использовать в качестве топлива обычный энергетический уголь, тем более что мы имеем достаточно большие его запасы. Производительность труда может быть увеличена втрое — опять же за счет непрерывности плавки. И таким образом снижена себестоимость стали, по моим расчетам, тоже в три раза.

— А ваша технология позволит поднять ее качество до уровня мировых стандартов?

— Выше. Выше! Кроме того, при этом можно с умом использовать отходы — шлак, которого у нас сейчас горы накопились. Скажем, пока он еще в жидком состоянии,

добавить оксида кальция и некоторых других компонентов и получить цемент. Для современных технологий невозможно такое совмещение выплавки стали и изготовления цемента — в настоящее время также весьма нерационально организованного производства.

— На Западе есть тому аналоги?

— Понимаете, речь идет о процессах, которых на свете нет. Кстати, когда я 25 лет назад предложил разработку своих идей в Южноуральский совнархоз, меня тоже спросили, есть ли это за рубежом? Нет? Значит, дескать, не заслуживает внимания...

— А в отношении энерго- и ресурсосбережения каков будет эффект вашего агрегата?

— Общее энергопотребление снизится в полтора-два раза. Потери железа уменьшатся втрое.

Культура в стрессовой ситуации

Что и говорить, терпелив русский мужик и покорен судьбе. И в поле, и у мартеновской печи, да и вообще терпелив и покорен. Но всему, как говорится, есть предел. Даже терпению и покорности русского мужика.

Жители Магнитогорска больше не хотят дышать промышленным смрадом. А ведь еще совсем недавно большинство из них относилось довольно-таки индифферентно к «шапке Минчермета» — выбросам ММК. Из 1200 опрошенных два года назад магнитогорцев 970 самым вредным для своего здоровья экологическим фактором назвали... бачки для пищевых отходов. Теперь уже совсем, совсем не то. Сегодня не на шутку сердиты люди на комбинат и, в частности, на его руководство, за частую потворствующее, по мнению общественности, загрязнению окружающей среды. Однако в ходе разговора с Владимиром Разумовским мы поняли, что проблема эта не настолько однозначна, как может показаться на первый взгляд.

РАЗУМОВСКИЙ: «Я считаю, в экологическом бедствии нашего города на 90 процентов повинны мы сами, исполнители. Мы ведь привыкли к тому, что всегда и во всем партия и правительство решат, устроят, сделают. В нашем случае роль партии и правительства играет директор...»

По моему мнению, причиной тут низкая культура всех нас, советских людей, — от министра до уборщицы. Ведь все мы воспитывались с ориентацией на одно — план, план, план. Где-то до начала 60-х годов ничто не заставляло нас задумываться о вредных последствиях производственной деятельности. Пока не возник дефицит питьевой воды. Чуть позже мы заговорили о том, что, наверное, дышим не тем, чем надо. Не во всеуслышание, конечно, а так, в кругу друзей. В начале 70-х осознали, что охраной природы надо заниматься и заниматься капитально. В середине 70-х поняли: господа! да как мы низко пали, оказывается. И давай плодить всевозможные экологические мероприятия. Не имея ни достаточной для того научной базы, ни оборудования, ни серьезной экономической тому оценки. Во всех наших природоохранных действиях был налет, по сути, легкомыслия. Казалось: вот постановление примем, и все будет хорошо. Приняли — не действует: Значит, жестче надо. Опять не получилось. И так далее. И только пять-шесть лет назад наука заработала в этом отношении по-настоящему.

Впрочем, профессор Бигеев, например, уже более двадцати лет «колотится» со своей безотходной технологией. Я не раз присутствовал на ее обсуждениях, и у меня сложилось мнение, что в ней есть исключительно рациональное зерно, но есть и недоработанные звенья, которые как раз и должны быть доведены экспериментом. Полагаю, наше родное министерство, конечно, обязано было пойти на испытание технологии Бигеева, рискнуть необходимыми для того 10—15 миллионами рублей. Почему-то, скажем, американцы идут в таких случаях на риск, а мы — нет. Может быть, это происходит из-за нашей бюрократической заскорузлости, а возможно, в силу «особой» культуры инженеров-металлургов, — я имею в виду то, что, будучи по 16 часов в сутки сконцентрированы на выполнении плана, технике безопасности, вопросах зарплаты и т. д., они просто психологически не могут воспринимать новое. Это, однако, мое личное мнение со стороны, сам я не инженер-металлург.

Надо сказать, трудящиеся начинают осознавать, что экологические проблемы за них никто не решит. Но крайне медленно. Ведь как эта шапка над комбинатом образует? Рабочий перестанул чуть-чуть гаснуть на крышке — неорганизованная струйка дыма. А по всему комбинату в тот же момент — 700 таких струек... Или сталевар даст чуть боль-

ше кислорода в мартеновскую печь, — пойдет в атмосферу больше бурого дыма. А между прочим, им, как правило, известно, насколько увеличиваются выбросы от подобного нарушения технологии. Поймашь, прижмешь его — сморщит с виноватой физиономией, знает, что его можно наказать, оправдывается: я, мол, больше не буду. Но стоит мне уйти, станет делать так, как делал. Потому что — план! Соцсоревнование! Почести! Премия!

Еще пример, несколько другого характера. Прихожу к какой-нибудь машинистке насосов на коксохимическом производстве. Здрастье — здрастье. Я такой-то, вот мой мандатик, хочу посмотреть, как у вас тут дела. Технологию расскажет изумительно. Куда какой насос или труба что качает... а этих труб там до сотни, клубком. Какую задвижку надо открыть в случае аварийной ситуации, — все доложит она. Молодец! А вон, говорю, насосик в углу у вас, — что это из него вытекает? Случайный, отвечает, аварийный разлив, видите ли, из салника. Здесь толуол, там бензол бежит — все знает. А куда, спрашиваю, вся эта дрянь течет? Как куда! — удивляется, — на улицу... То есть, по ее представлениям, так всегда было — так всегда и должно быть. Опять-таки — культу-ура.

Безусловно, общественность вправе требовать от руководства мер по оздоровлению экологической обстановки. И природоохранные органы тоже правы, предъявляя к комбинату свои законные претензии. Но давайте посмотрим на проблему шире. Я реалист и хочу обратить ваше внимание на следующие обстоятельства.

К примеру, бессточная схема водоснабжения обойдется нам где-то в 150 миллионов рублей. Реальные же возможности наших строительно-монтажных организаций — освоить 5 миллионов рублей капвложений в год, ну 10, что маловероятно. Таким образом, 15—30 лет мы будем внедрять бессточную схему. За это время, по всей вероятности, технология металлургии уйдет куда-то совсем в другую сторону.

А в трамваях наших вы ездили?... И вот поставьте себя на место директора и подумайте, мысленно сев на полупустой, если не пустой, мешок с деньгами: на что выделить деньги? На бессточную схему? Или на решение транспортной проблемы, которая тоже на комбинате «висит»? Или на строительство жилья, больниц и так далее? Да еще в условиях нынешней бюджетной политики и дефицита может не оказаться средств ни на то, ни на другое. А если, упаси господи, завтра еще юдн Чернобыль?... И плюс ко всему этому значительная часть промышленных инвестиций будет сейчас «пересбрасываться» в сельское хозяйство. Ситуация, согласитесь, щекотливая.

Давайте же посмотреть на экологию не изолированно, а в контексте всех социально-экономических проблем в целом. А то у нас что получается? Заболеваемость растет в промышленных центрах, продолжительность жизни снижается, — что причиной? Очень часто приходится слышать безапелляционный ответ — загрязнение окружающей среды. Конечно, это серьезнейшая наша беда, но нельзя же забывать вместе с тем и о тех просто ужасных условиях жизни и труда, выпавших на долю жителей этих городов.

А как объяснить то, что в нашем городе высок уровень психических расстройств и нервных заболеваний? Я считаю, это обуславливается, главным образом, социальным укладом жизни населения, живущего в условиях постоянной стрессовой ситуации.

На ММК работает более 60 тысяч человек. Их жизни и судьбы накрепко связаны с комбинатом. Всеми чаяниями и надеждами, печалью и радостями, прошлым и настоящим, видами на будущее. И при всей разности этих жизней и судеб их объединяет одна великая сила — привычка жить и работать так, как всегда жили и работали. Привычка не видеть света белого. Привычка не думать о том, что так жить и работать просто нельзя. Ибо такой труд — неблагодарный, а такая жизнь не стоит по крайней мере того, чтобы продолжаться в поколениях.

...Возвращаясь к феномену заводского патриотизма, надо сказать, что если мы хотим сохранить такие его положительные черты, как, например, трудолюбие и дисциплинированность, то следует скорее подводить под них новую экономическую основу, ибо старая держится на честном слове и того гляди улетучится вместе с самим патриотизмом — без всякой помощи со стороны печати, что иногда хотят ей приписать!

Однако как же сделать так, чтобы эти трудолюбие и дисциплинированность не оборачивались экологическими капризами, как в настоящее время? От экологических

потрясений — что прозвучало, в частности, и на Съезде народных депутатов СССР — стонет вся страна и как будто не видно спасения. Как заставить рабочего закручивать гасчку на крышке, что называется, тютелка в тютелку, а сталевара подавать кислород в печь строго по технологии, дабы пресечь, наконец, неорганизованные газовки, вносящие непомерный вклад в загрязнение окружающей среды? Как изобрести заместителя главного инженера ММК по экологии от его нелепой обязанности — наказывать машинистку насосов, которой в пору орден дать? Да, загрязнять атмосферу, воду и почву безнравственно. Но нравственно ли наказывать за это тех, кто поставлен в такие условия, в каких невозможно не губить природу?

А может быть, все очень просто? Вот отдадим фабрику рабочим и уж тогда будем штрафовать их, хозяев, безбожно, имея на то полное моральное право. Глядишь, вскоре и культура к ним привьется (во всяком случае, экологическая), а отсутствие которой мы так сетуем. А пока — откуда ей взяться в стрессовой ситуации?

«Дурмашина»

На Магнитогорский завод железобетонных изделий № 2 лом, как правило, привозят в вагонах, не очищенных от остатков угля, минеральных удобрений и прочих перевозившихся в них раньше грузов. Освобождают их от этой грязи при помощи специальной реактивной установки образца 70-х годов, за некоторые свои незамысловатые свойства прозванной рабочими «дурмашинкой». И действительно, немудрено со страшной силой и ревом выдуть весь мусор на сотню метров вверх. После этого месиво из металлической стружки, ржавчины, химикатов и кто его знает чего еще оседает на головы трудящихся, разсекает им глаза и набивается во рты.

Долгое время рабочие относились к «дурмашине» с безысходной терпеливостью, но года два-три назад решительно высказались против такого технологического анахронизма. В конце концов администрация предприятия вроде бы сдалась — «дурмашина» была остановлена. Однако альтернативных агрегатов в наличии не оказалось, и было принято решение очищать вагоны вручную. Тяжелый, немусилимый труд, к которому было привлечено до 300 оторванных от своих рабочих мест человек. В результате, как сказал зам. председателя горисполкома С. П. Арефьев, человек весьма рассудительный (что мы поняли еще у него в приемной, обнаружив в шкафу для верхней одежды — была зима — противозащитный, висевший на крючке, что называется, «на изготровку»), «пострадало гораздо больше людей, чем во время работы «дурмашин».

Дабы ликвидировать возникшие осложнения на столь ответственном участке металлургического производства, городские власти поручили руководству комбината предпринять энергичные шаги в направлении механизации процесса очистки вагонов с учетом допущенных ошибок. По-видимому, впопыхах (по обыкновению) созданная щеточная установка не оправдала себя, оказавшись малоэффективной. И было принято решение вернуться... к «дурмашине». Сделав, однако, все возможное для ее технического усовершенствования. А после того, как она со страшной силой и ревом вступила во «временную эксплуатацию», последовало еще одно постановление исполкома, предписывавшее администрации ММК продолжать работу по дальнейшему совершенствованию незамысловатой технологии выдувания мусора — абсурдной в принципе.

Вот такой печальный опыт «технологического перевооружения» имел место на Магнитогорском металлургическом комбинате.

— Что это? — вопрошали мы, мысленно обращаясь к Минчермсту, стоя на берегу великого, но грязного Урала. — Единичный ли факт или же типичное, характерное для всей нашей перестраивающейся экономики явление?

Наш воображаемый собеседник, закрывшийся по уши своей мохнатой шапкой, помедлил и наконец ответил на вопрос отдаленным ревом «дурмашин».

Магнитогорск

Попечители экспедиции: московские кооперативы «Саят-Нова», «Фархад», «Белка», «Автосток».

РАНДЕВУ С ПРЕКРАСНОЙ ДАМОЙ

(Читательские отклики на письмо В. Зарубина
«О Душе и Прекрасной Даме» (№ 10, 1988))

НЕЛЬЗЯ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ отчасти с автором сер-
дитых заметок — мало пишут молодые поэты о любви.
Я снова перечитала стихи, напечатанные в десяти номе-
рах «Юности» за 1988 год. Много молодых. Они стремятся
осмыслить жизнь, прошлое и настоящее, найти себя. Оль-
га Ильницкая, Инна Кабыш, Олеся Николаева. Но стран-
но! Ни у кого нет стихов о любви. Они есть у поэтов
старшего поколения. Вот только у Татьяны Поляченко
вырвалось: «Буду слабой: бабой, дамой — все равно... Пожа-
луй меня, хотя бы пригласи в кино...» Что же произошло?
Неужели оскудение чувств? И все равно — «бабой, дамой»,
и жизнь красивую можно смотреть только в кино, и непо-
нятное самоуничижение... Обидно. И как тут не согла-
ситься: «если Дамы нет, кого любить?».

Страшно становится, как вдруг «попрет со своей голой
правдой, доведенной до бешенства», вот такой читатель,
который «насобачился» писать.

А может, и винить его нельзя, коли человек был лишен
красоты истинной? Путеводителя не было. Бегал со своим
фонариком, выхватывая лучиком кое-что. Спасите Душу
его. Чтобы научился он поэтов отличать не по тембру
голоса, а по Мысли.

А. ЕЛИЗАРОВА, г. Симеиз

А МНОГО ЛИ В СВОЕ ВРЕМЯ БЫЛО ПОНИМАЮ-
ЩИХ МАНДЕЛЬШТАМА, ЦВЕТАЕВУ, БЛОКА? Добавлю
сюда Лермонтова или того же Слуцкого (список довольно
велик). Мало их было, понимающих, мало!

До сих пор в нашей отечественной поэзии это явление
типичное. Мы как бы уже свиклись с посмертными восхва-
лениями, с замалчиванием либо откровенной травлей при
жизни.

Да, времена не те. Но люди-то те! И если они вчера не
хотели понимать Пастернака, то, действительно, к чему
им сегодня Парициков?

Мы уже четвертый год выстаиваем по утрам длинные
очереди к газетным киоскам. И публицистика, внесенная
в стихи, уже много уступает по силе воздействия газетной
полосе или автобиографической заметке узника сталинских
лазерей в журнале. Отсюда и прокручивание поэтического
колеса, сетование многих критиков на отсутствие лично-
стей в литературе, которая изначально была ориентиро-
вана на запрет.

Не я один думаю об этом: к чему мы придем, когда
кончится поток полочных произведений и произведений
уехавших, иссякнет запас запретных тем (иссякнет ли)?

Мне кажется, наши поэты в конце концов вернутся
к той самой Прекрасной Даме (понятие Душа лучше поме-
стить сюда же, отдельно оно порядком набило оскомину).
Они уже ищут подходы к ней. Но это не будет блоковская
Незнакомка или пушкинская Татьяна.

Стихи Гребенникова, Комильцева, Шевчука, Бутусова —
почему они только тексты? Я думаю, молодые, и не
только они, с удовольствием читали бы в печати подборки
своих музыкальных кумиров.

А требовать поэзии однотипной, общей для всех — за-
чит тащить ее назад.

И если Виктор Коркия или Юрий Арабов воспринимают-
ся несколько легче, это не значит, что за ними будущее,
а за другими «молодыми» его нет. Это говорит лишь
о моих вкусах и способности к восприятию поэзии, кото-
рая ближе мне. И я ни в коем разе не собираюсь свое мнение
насаждать и требовать подчинения того же Александры
Еременко моим вкусам.

То, что поэзию не читают (и здесь я с Зарубиным
полностью солидарен), как раз и есть результат ее упроще-
ния и обнищания, результат многолетнего стремления
угодить всем и вся. И пусть молодые ищут новые формы
(А. Еременко, А. Парициков, Т. Щербина, Н. Искренко) или
идут более традиционными путями (В. Казакевич,
А. Амлинский, М. Гаврюшин) — в любом случае возвраще-
ния к поэзии конъюнктурной, к поэзии прославляющей,
обсасывающей по поводу и без повода такие высокие поня-
тия, как Любовь, Душа, Родина, Гражданственность, уже
не будет.

В. ЛЫСЫХ, 23 года.
г. Узловая Тульской обл.

МЕНЯ В. ЗАРУБИН ПОРАЗИЛ ПУТАНИЦЕЙ, у него
концы с концами явно не сходятся. Хочет быть требова-
тельным и правдивым, а срывается на претенциозность.
Видимо, это от некультурности. Я прочитал его новое
сочинение в журнале «Молодая гвардия» (№ 2, 1989). Тут
уж действительно молоко с керосином! И пить нельзя,
и не горит. «В великом народе и пьянство бывает вели-
ким», — гордо пишет он и объясняет: «от тоски спивают-
ся. С горя пьют. Горе-то откуда? — скажут. От патри-
отизма, замененного интернационализмом». Что за бред?
Значит, достаточно восстановить дореволюционное по-
нятие патриотизма, и проблема пьянства разрешится
сама собой?! А вот еще мысль: «Если сегодня советский
интеллигент «осмелится» писать Бог с большой буквы, то
надо знать этому интеллигенту, что Бог всегда был на
стороне народа, на стороне униженных и оскорбленных». Господи, хоть святых вон выноси! По Зарубину выходит,
что зря пели: «Боже, царя храни». Оказывается Бог был
против царизма. И против интеллигентов, которые, ко-
нечно, главные «враги народа». Весь ваш Зарубин, прости-
те, состоит из общих мест и дикой отсебятины. Диску-
тировать с ним неинтересно.

К. ШЕВЧУК, г. Николаев

ТРЕБОВАТЬ: «РАСТИТЕ НАШИ ДУШИ!» — ТОЖЕ АБ-
СУРД. Искусство не предназначено для выращивания чьих-
либо души. Души растут, приобщаясь к Моцарту, и то не
все, а только настроенные в унисон, только те, которые
хотят расти, хотят понимать. У нас есть Окуджава,
у нас открывается, входит в свет Пастернак, но все ли
души приобщаются к Пастернаку? Только те, которые
хотят. Они и вырастут. Но задача приобщения к искус-
ству не является задачей поэтов. Цель поэта — поэзия.
Приобщение к ней, выращивание Прекрасных Душ — задача,
наверное, учителей, искусствоведов, редакторов и т. д.,
общества, наконец.

Равно абсурдно требование, чтобы поэзия понимала
В. Зарубина. Во-первых, искусство просто никому и ничего
не должно. Искусство не призвано понимать Человека, оно
его выражает, запечатлевает. Во-вторых, поэт постига-
ет, понимает, взглядывается в Человека, которым явля-
ется он САМ, выражает и изливает Самого Себя, и через
Себя все Человечество в целом...

Л. БОЛЬШАКОВ, г. Москва

ПО-МОЕМУ, ВСЕ 70 ЛЕТ ИДЕТ НАПОРИСТАЯ «ПО-
ЛИТИЗАЦИЯ» ПОЭЗИИ — рассудочность в ней убивает
и чувства, и живую душу. А поэзия — это настроение, это
чувство в первую очередь. Народ ведь не читает стихов —
ни стар, ни млад (я два года в библиотеке работала, на
выдаче книг, — было интересно, как писателю, посмотреть
поближе, что сегодня читают люди). Ну, Ахматову спра-
шивают, Цветаеву, Рубцова... Остальные сиротливо сто-
ят на полках. Спрашиваю, почему? «Да в нынешних стихах
одна идейность, для души ничего нет», — отвечают.

Забывали мы, поэты, что у людей, кроме головы, есть еще и душа, и сердце... При умной, живой душе и разум светел, а при пустой душе — и у разума «ни кола, ни двора»... В чем мы сегодня на каждом шагу и убеждаемся, глядя на молодежь: бедные, серые, неприкаянные, пустые души...

Короче, я искренне верю тоже: «Красота спасет мир». Не время? А завтра может быть поздно...

Н. ЖИБРИК, Марийская АССР, пос. Мочалище

СЕЙЧАС ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ, НОВИЗНЫ, ВРЕМЯ НОВОГО ВЗГЛЯДА. А тов. Зарубин не желает понимать ассоциативной или метафорической поэзии. Кстати, такая возникла не вчера. Были Тютчев, Анненский, Маяковский, Цветаева, Хлебников, Волошин, Пастернак. Были другие. На их плечах выросли современные поэты, лучшие из них, в том числе и Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский. Это только первоначально казалось, что гармония возможна и гений — слепок пушкинской души. Времена меняются. Сложные времена. Парадоксальные. Чудовищные. Восторженные. Страшные. Яркие. XX век — век метаморфоз, смещения представлений, проникновения в глубь естества, в суть явлений. Это уже время не Ньютона, а Эйнштейна. Должно ли измениться в этих условиях искусство? Должно! И оно изменяется. Что не отрицает того же Пушкина, например.

Сейчас — время повышения интереса людей к общественной жизни. Должны ли поэты реагировать на это? Да еще как! Иначе они будут, как Куняев и К°, только числиться поэтами.

В. Зарубин, похоже, сводит понятие поэзии только к любви. Может быть, это в силу своего возраста, круга своих интересов? Да, согласен, тема любви, женщины — это как бы пробный камень для любого поэта. Здесь проявляются его истинность, его духовная чистота, способность быть жертвенным и высоким. Но такие стихи, к примеру, у А. Вознесенского есть. Лично я считаю его лучшим из троих, самым спрессованным — и чувством, и мыслью, у которой есть и двойное дно. А значит, и тайна.

Н. ПЧЕЛИН, г. Богородск Горьковской обл.

ВЫ, ВЫСТУПАЯ ОТ ИМЕНИ НАШЕГО РАБОЧЕГО КЛАССА, ТРЕБУЕТЕ: за вами Слово, товарищи Поэты! Народ вас прокормит. Вы мыслите: мол, имею на то полное право.

Однако так ли это?.. Комбайны крестьянам сегодняшнего рабочего класса делает с браком, обувь шьет такую, что подметка отлетает на третий день. Да и вообще слово «отечественный» стало сегодня уже нарицательным. Воров в своей среде рабочие именуют с умилением «несунами». Так кто же в этом виноват: ИТР, тень Сталина или, быть может, современные поэты, не сумевшие на должном уровне зарифмовать текущий момент?

Нет! Виноват в этом каждый конкретный рабочий человек.

Ю. ПОСТЫЛЯКОВ, г. Владивосток

ТАЛАНТОВ ВСЕГДА МЕНЬШЕ, ЧЕМ БЕЗДАРНОСТЕЙ, и борьба между ними всегда будет неравной, но жалеть таланты не надо. Вспомним Максимилиана Володина:

Почетней быть твердым наизусть

И списываться тайно и украдкой,

При жизни быть не книжкой, а тетрадкой.

Далее вы пишете: «Падение нравственности и духовное обнищание наступают тогда, когда народ отвергается от своих поэтов и перестает их читать».

И далее справедливо сетуете, что мы не имеем возможности читать Ахматову, Мандельштама, Цветаеву. Простите, но арифметика здесь ни при чем, и падение нравов, если таковое существует в природе, зависит не от оказавшихся крайними конкретных поэтов.

«Исчезла Прекрасная Дама». А без Дамы жизнь плохая... А поэты отлынивают и не обеспечивают нас бесперебойным поступлением Прекрасных Дам... Нехорошо, ребята! Хлеб-то чей жрете, дармоеды?!

А я вот думаю, что образ Прекрасной Дамы надо носить в себе, иметь его, и тогда ты узнаешь ее в Татьяне

Лариной, в Наташе Ростовской, в Аксинье Астаховой, найдешь ее в стихах Тютчева, в сонетах Шекспира.

Разные там музыканты, актеры, танцоры, лекари, художники, учителя, писатели, поэты — сами ничего не производят, а едят, едят! За чей счет, спрашивается?! Лично я тридцать лет слышу, что ем чужой хлеб, но прочитать это обвинение, растражированное в трех миллионах экземпляров... Холодок по спине. На ваши оскорбления я отвечу не менее резко, не обессудьте! Нет, не мы вам обязаны, тов. Зарубин, что, ничего не производя, ходим сытые и одетые, это вы нам обязаны тем, что вообще имеете человеческий облик! Это мы, художники, создали модели одежды и проекты построек, пусть плохие, но все лучше, чем бизонья шкура и дыра в земле, прикрытая сучьями.

С прискорбием добавляю, что, помимо метафорической поэзии, вас, тов. Зарубин, не поймут и не оценят такие, например, явления искусства, как «Месса си-минор» Баха или «Девятая симфония» Малера, гравюры Дюрера или полотна Эль Греко. Ну, что ж, пусть им хуже будет!..

Нет, тов. Зарубин, нет. Достоевский говорил: «Красота спасет мир». Неправильно говорил Достоевский. Красота не спасет мир, она его спасает уже многие тысячелетия, еще до пророка Исайи! Красота спасает нас от первобытного зверства голых инстинктов, пусть плохо спасает, пусть пестрит наша история Чингисханами, Иванами Грозными и Пол Потами, но все равно, мы уже не обезьяны стадо. Красота бержет нас, барахтающихся, на плаву. Красота, Искусство через Художника и Ученого подтягивают нас к себе, часто за волосы, а не опускаются до потребительских аппетитов обывателя. И Красота не персонафицируется отдельным Евтушенко, Высоцким и Магомаевым, как и отдельным Петраркой, Франсуа Вийоном и Марио дель Монако. Она в творениях и формулах бесчисленных живописцев и звездочетов, музыкантов и математиков, зодчих и физиков, и нет отходную Красота пока рановато, тов. Зарубин.

Н. ДЕМЕНТЕНКО, г. Павлоград

ЧТО Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ ВЛАДИМИРУ ЗАРУБИНУ?

Духовность из поэзии исчезнуть не может, так как является ее составной частью. Можно обойтись без рифмы, но без духовности — никогда. Пуды книжного г...., завалившего прилавки, — не поэзия, и странно, что это нужно объяснять. Прекрасной Дамы не видно за ударными строчками, за мутной строчкой самиздата, который тоже в своем роде дефицит; и часто в нем есть очень хорошие стихи, коим не видать света еще сто лет...

Потом: «Наша высоконравственная поэзия способствовала падению нравов»? Это уж, мягко говоря, слишком... Поэзия никак не могла этому способствовать, иное дело — секретарская, секретутская, верноподданническая писанина, забывшая периодик с 27-го, от Казина с Александровским до 90% нынешних авторов.

«Падение нравственности и духовное обнищание наступают тогда, когда народ отвергается от своих поэтов и перестает их читать»? Ну, полноте, разврат и при Пушкине — разврат, да и многие ли тогда читали Пушкина? Нравственность, говорите, а была ли она когда-нибудь? Всегда были порядочные люди, но всегда хватало и дерьма... Как был в крепостной деревне разврат, так он и в колхозе имени XX съезда разврат; как тогда Пушкина не читали, так и теперь Бродского не читают, хорошо, если на магнитофоне Высоцкий, а не «Верасы» с «Песнярами», а не «мимо тещино дома...». Да где в деревне взять книжки, если их и в городе нет? Если «День поэзии» за 68-й год мне только в этом купить удалось, потому что там стихи диссидентов Корнилова, Коржавина и Ликнянского и валялся он двадцать лет на складе книжной лавки? Нравственность если и падает, то по вине издателей и торговцев, а не поэтов, потому что человек, даже способный к восприятию поэзии, лишен доступа к ней. Ну, оставим колхозы, из пролетариев — многие ли читают стихи? Прозу еще иной раз берут в руки, а стихи... Ну, человек трех я знаю на все три цеха. В институцких лабораториях, среди ИТР, еще не так страшно дела...

Есть у нас и поэты, и Прекрасная Дама, просто еще должны быть и их КНИГИ. Незачем предъявлять претензии к непонятным поэтам, не нравятся, — не надо, не читай. Найди своего Поэта.

Г. ЛЮБОМИРОВ, г. Ленинград

ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ

Маленькая пьеса для балагана

ПЕРВЫЙ. Как вы думаете, есть уже шесть часов?

ВТОРОЙ. Что вы называете шестью часами?

ПЕРВЫЙ. То, что обычно принято под этим понимать. То есть не пять и не семь.

ВТОРОЙ (смотрит на часы). Сейчас ровно без пяти шесть. Даже без двадцати. Будем считать, половина шестого. А на ваших?

ПЕРВЫЙ. На моих всегда два.

ВТОРОЙ. Вот как? Но ведь это должно быть неудобно?

ПЕРВЫЙ. Зато не надо на них постоянно смотреть, знаете, как некоторые то и дело смотрят на часы. А кроме того, всем известно, что на моих часах два, — нравится это кому-нибудь или не нравится, но к этому уже привыкли.

ВТОРОЙ. Пожалуй. Но позвольте, а что же вы делаете в те дни, когда идете в театр?

ПЕРВЫЙ. В те дни я беру часы у кого-нибудь другого. Например, у моей матери.

ВТОРОЙ. А на ее часах бывает шесть часов?

ПЕРВЫЙ. Как правило — да. Но бывает, что и ее часы останавливаются на двух.

ВТОРОЙ. Что же вы тогда делаете?

ПЕРВЫЙ. Опаздываю.

ВТОРОЙ. Это неприятно. Уж тогда лучше приходить в два и дожидаться начала. В этом случае можно хоть быть уверенным, что прочтешь все газеты.

ПЕРВЫЙ. Необязательно. Вы можете взять с собой все газеты и, прочитав пять или шесть, сбиться со счета.

ВТОРОЙ. Почему?

ПЕРВЫЙ. А по какому признаку вы отличите одну газету от другой?

ВТОРОЙ. По названию.

ПЕРВЫЙ. Этого недостаточно. Название часто бывает обманчиво. Я скажу вам больше, я еще ни разу не видел газеты, чье название соответствовало бы ее содержанию. Все утренние выпуски, по существу, вечерние, а все вечерние — утренние.

ВТОРОЙ. Вы хотите сказать, что их название следует воспринимать только условно, так же как дни недели?

ПЕРВЫЙ. Совершенно верно. Это все равно как если бы слово «среда»

понимать буквально. Ведь когда мы

говорим «среда», мы имеем в виду четверг, а когда мы говорим «четверг», мы имеем в виду субботу.

ВТОРОЙ. Когда я говорю «четверг», я имею в виду вторник прошлого месяца, а когда я говорю «среда», то имею в виду окружающую меня среду и ничего другого.

ПЕРВЫЙ. Один мой знакомый утверждал, что все дни недели — воскресенья, и так основательно это доказывал, что ему в конце концов присудили доктора наук.

ВТОРОЙ. Наш директор в последнее время стал часто оговариваться. В его возрасте уже трудно себя контролировать. Он сознался мне, что, говоря «понедельник», он имеет в виду понедельник, а говоря «вторник», имеет в виду вторник.

ПЕРВЫЙ. Это хорошо. Он, как человек, долго не имевший национальности, должен быть особенно осторожным. Если вам оказали доверие, то из этого не следует, что вы должны доверять всем и каждому. В данном случае вы можете получить, но не имеете права давать. Понимаете? Обратная теорема. «Если ты пользуешься доверием, то это не значит, что ты можешь его оказывать», и так далее. И потом, конечно, знаменитая формула: «Доверяя не доверяй».

ВТОРОЙ. Именно тогда, когда я усвоил это золотое правило, я перевел свои часы на десять лет вперед.

ПЕРВЫЙ. Это разумный шаг.

ВТОРОЙ. Это шаг вперед.

ПЕРВЫЙ. Если хотите — да. У времени своя логика, помните это знаменитое положение: если твой друг опоздал родиться в нужное время, значит, он твой враг.

ВТОРОЙ. Безспорно, это истина и, как всякая истина, она имеет два толкования. Достаточно сместить времена, взяв один и тот же факт в разных временах, и мы в этом убедимся.

ПЕРВЫЙ. Безусловно, время — серьезный фактор. Наука еще не научилась рассчитывать время. Кетати, как вы думаете, есть уже шесть часов?

ВТОРОЙ. Не могу вам с точностью ответить на этот вопрос. Я могу только утверждать, что сейчас не

пять и не семь. Вывод делайте сами. ПЕРВЫЙ. Кажется, я не успеваю пообедать. Но я не могу опоздать в театр. Многие недооценивают роль театра в нашей жизни, но это — заблуждение. Театральность должна войти в нашу жизнь, во все ее проявления, должна переделать наше сознание, а не мне вам объяснять, как велика в нашей жизни роль сознания. Последние опыты с курицами это подтверждают.

ВТОРОЙ. Какие опыты? Я ничего не знаю.

ПЕРВЫЙ. Ну как же, это было в «Еженедельнике философии». Взяли двух куриц: одну поместили в чистый просторный курятник и кормили отборным зерном, другую держали в тесном ящике и кормили всякой дрянью, но зато ей была дана полная свобода. Она ходила, где хотела, и сама искала себе пропитание. Правда, потом пришлось ее привязать веревочкой за ногу, чтобы она не убежала в соседний двор. Как вы думаете, каков был результат?

ВТОРОЙ. Ну что ж, ответ напрашивается — первая курица потеряла в весе, а вторая, свободная, прибавила.

ПЕРВЫЙ. Как раз наоборот — вторая подохла.

ВТОРОЙ. Значит, опыт не удался?

ПЕРВЫЙ. Напротив, очень удался. Он показал, что важно не фактическое наше состояние, а сознание того, что мы в нем находимся. Понимаете?

ВТОРОЙ. Не понимаю.

ПЕРВЫЙ. Вот курица тоже не понимала, у нее не было сознания того состояния, в котором она находилась, поэтому она и сдохла. Наука говорит: сознание своего состояния гораздо важнее самого состояния. ВТОРОЙ. Однако вы рискуете опоздать. (Смотрит на часы.) Скоро пять.

ПЕРВЫЙ. Ваши часы идут назад? Вы их покупали в этом новом универсаме?

ВТОРОЙ. Да, откуда вы знаете?

ПЕРВЫЙ. Это опытная партия. Я хотел купить, но жена отговорова — зачем, говорит, тебе полностью часы, когда тебе все равно нужно только два.

ВТОРОЙ. На этих тоже бывает два.

ПЕРВЫЙ. Да, но не всегда. А что мне делать в остальное время? Правда, из моего окна видны большие часы на площади, на них всегда без десяти два. Но ведь они могут испортиться и пойти. Мы недавно купили стенные часы, механизм отличный, идут точно, но по старинке — не в ту сторону. А так с виду очень красивые, с инкрустацией. Приходите посмотреть.

ВТОРОЙ. Спасибо, как-нибудь.

ПЕРВЫЙ. Нет, серьезно, приходите в четверг или в пятницу.

ВТОРОЙ. Спасибо, с удовольствием. Только я бы хотел знать, что вы имеете в виду, когда говорите «в четверг» или «в пятницу»?

ПЕРВЫЙ. Когда я говорю «четверг», я имею в виду субботу, а когда я говорю «пятница», я имею в виду Робинзона Крузо. (Расклатывается.)

Страшная картина

Какая страшная картина,
Какой порыв, какой накал!
По улице бежит мужчина,
В груди его торчит кинжал.

«Постой, постой, мужчина резвый,
Умерь стремительный свой бег!» —
Вослед ему кричит нетрезвый
В измятой шляпе человек.

«Не для того тебя рожала
На Божий свет родная мать,
Чтоб бегать по Москве с кинжалом
И людям отдых отравлять!»

Часовой

Стоит на страже часовой,
Он склад с горючим охраняет,
О чем он в этот час мечтает
Своей могучей головой?

Картины мирного труда
Пред ним проходят чередою,
Вот он несет ведро с водою,
Чтоб ею напоить стада.

Вот он кладет умело печь,
Кирпич в руках его играет,
А сердце сладко замирает —
Он в ней олады будет печь.

Вот он, мечи
С большим трудом
Перековавши на орала,
Надел свой бороздит удало,
Инстинктом пахаря ведем.

Мечта солдата вдаль зовет,
Несет его к родным пенатам...
О, если был бы он пернатым,
Тотчас пустился бы в полет!

Но, как известно, неспроста
Стоит солдат на страже мира,
И не оставит он поста
Без приказанья командира.

* * *

Ероплан летит германский —
Сто пудов сплошной брони.
От напасти басурманской,
Матерь Божья, сохрани!

Кружит, кружит нечестивый
Над престольной в небеси,
Отродясь такого дива
Не видали на Руси.

Не боится сила злая
Никого и ничего.
Где ж ты, Троица Святая?
Где родное ПВО?

Где же ты, святой Егорий?
Или длинное твое
Православие на горе
Затупилося копьё?

Кружит адово страшило,
Ищет, где б ловчее сесть...
Клим Ефремыч Ворошилов,
Заступись за нашу честь!

Острой шашкою своею
Порази врага Руси,
Чтоб не смог у Мавзолея
Супостат раскрыть шасси.

А и ты, Семен Буденный,
Поперек твою и вдоль!
Иль не бит был Первой Конной
Федеральный канцлер Коль?!

Невский-князь, во время оно
У Европы на виду
Иль не ты крошил тевтона
На чудском неслабом льду?

Игорь ИРТЕНЬЕВ



Рисунок
Иосифа Оффенгендена

Но безмолвствуют герои,
Крепок их могильный сон...
Над притихшею Москвою
Тень простер Армагеддон.

Застойная песнь

Не говори мне про застой,
Не бери больную душу,
Мне прожужжали им все уши,
Меня тошнит от темы той.

Не говори мне про застой,
Про то, что Брежнев в нем виновен,
А я-то думал, что Бетховен,
Ну в крайнем случае Толстой.

Не говори мне про застой,
Про то, что нет в стране валюты,
Ведь нашей близости минуты
Летят со страшной быстротой.

Не говори мне про застой
И про инфляцию не надо,
И в даль арендного подряда
Мечтою не мани пустой.

Не говори мне про застой,
Не объясняй его причину,
Не убивай во мне мужчину
Своей наивностью святой,
Дай мне отпить любви настой!

Монолог на выдохе

В. Долиной

Нет, мы империя добра,
А не империя мы зла,
Как мы тут слышали вчера
От одного тут мы козла.
Не будем называть страну,
Главой которой был козел,
Мечтавший развязать войну,
От наших городов и сел
Чтоб не осталось и следа,
Но мы ему сказали: «Нет!»,
И он был вынужден тогда,
Чтоб свой спасти авторитет
Козлиный, с нами заключить
Один известный договор,
Который должен исключить
Саму возможность всякий спор
Решать насильственным путем,
А нам такой не нужен путь,
Поскольку к миру мы идём,
А если вдруг когда-нибудь
Другой козел захочет вдруг
С пути нас этого свернуть,
Ему мы скажем: «Знаешь, друг,
Вали, откудова пришел!»,
И он отвалит, тот козел.

Версия

— Не ходи, Суворов, через Альпы, —
Говорил ему Наполеон.
— Там твои орлы оставят скальпы,
У меня там войска миллион.

Говорю тебе я, как коллеге,
Как стратег стратегу говорю,
Там твои померзнут печенег,
На конфуз российскому царю.

Знаю, ты привык в бою жестоком
Добывать викторию штыком,
Но махать под старость

альпенштоком —
Нужно быть последним дураком.

Но, упрямый проявляя норы,
В ратной сформированный борьбе,
Александр Васильевич Суворов
Про себя подумал: «Хрен тебе!»

И светлейший грянул, как из пушки,
Так, что оборвалось все внутри:
«Солдатушки, браво-ребятушки,
Чудо, вы мои, богатыри!»

Нам ли узурпатора бояться?!
Бог не выдаст, не сожрет свинья.

Где ни пропадала наша, братцы?!
Делай, православные, как я!»

И, знаменем осенившись крестным,
Граф по склону первым заскользил,
Этот миг на полотне известном
Суриков, как мог, отобразил.

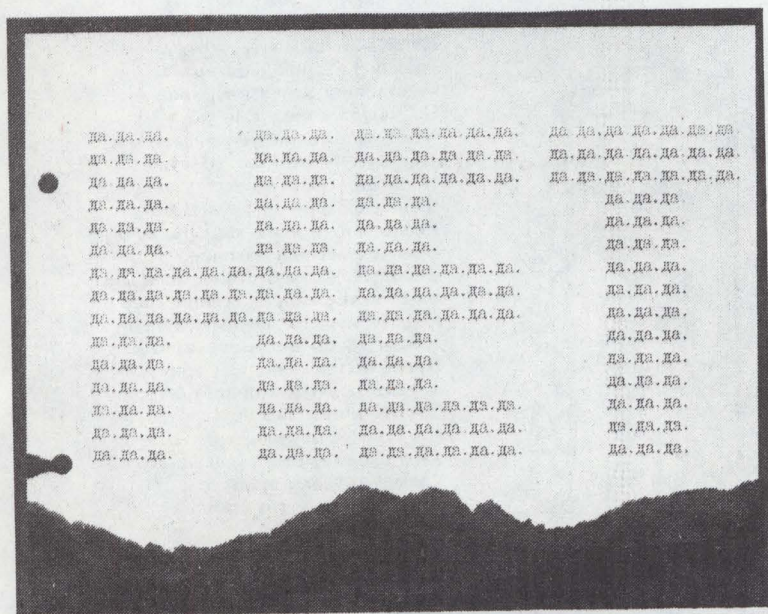
Так накрылась карта Бонапарта
Ни за грош, пardon, ни за сантим...
С той поры мы в зимних видах спорта
Делаем француза, как хотим.

Съедобное

Маша ела кашу,
Мама ела Машу,
Папа маму ел.
Ела бабка репку,
Лопал бабку дедка,
Аж живот болел.
Славно жить на свете.
Громче песню, дети,
Шире, дети, круг.
Ни к чему нам каша
На планете нашей,
Если рядом — друг.

Алексей НЕХОРОШЕВ

1937. ДОПРОС



Лев
КОТЮКОВ

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Борьба

Я сто раз во сне повторю наказ,
Завернусь в простыню,
как в знамя:
Кто не с нами — тот против нас!
А все прочие с нами...

И простор ночной повторит сто раз
Голосами живыми:
«Кто не с вами — тот против вас!
А все прочие с нами...»

Рывкну я тогда во сто первый раз,
И простор задрожит от рева:
Кто не с вами — тот против нас!
Но об этом ни слова...

Брожение умов

Сколько можно! — кто-то проорал.
Можно! Можно!... —
двор ответил эхом.

И с ума сошедший генерал
Разразился лошадиным смехом.

Сколько можно! — завопил сосед.
Можно! Можно!... — отразили стены.
Сколько можно! — грянули вслед
Все подъезды Солнечной системы.

Ну-ка тихо! — кто-то приказал,
И подъезды разом замолчали,
И замолк в испуге генерал,
Как перед Верховными очами.

То ли это небывь, то ли был —
Весь сюжет сего стихотворенья?!
И откуда властный голос был?
Может, из другого измерения?..

Сам не знаю, милые друзья!
Вы простите мне мое незнание...
Сколько можно — столько и нельзя —
Было, есть и будет в мирозданье!

Сергей ЕВТУШЕНКО,
Владимир ЛАДЧЕНКО

ПРО ФАТОВА

У Фатова в трамвайном катаклизме
какая-то ловкая сволочь вытащила
из кармана на ягодине бумажник,
и денег у него не стало.

Огорченный Фатов, чтобы обезопаситься
от прецедента, начал ездить
только на такси. И денег у него
стало меньше прежнего.

Тогда Фатов поднатужился, подключил
тещин чулок и купил автомобиль
марки горбатый «Запорожец». Но
заправка, ремонт, запчасти, воз-

ведение гаража, штрафы и техосмотры
отняли у него столько средств,
что Фатов в один роковой момент
понял: он нищий да к тому же
с огромными долгами. И начал ходить
пешком.

Так повседневная действительность
приучила Фатова к здоровому
образу жизни.

Образ жизни нищих — самый здоровый
образ жизни.

г. Уральск

В НОМЕРЕ:

Проза

Геннадий ГОЛОВИН. Чужая сторона. Повесть. Окончание (5)

Александр СКОРОБОГАТОВ. Палач. Рассказ (32)

Иван ТВАРДОВСКИЙ. Страницы пережитого. Документальная повесть (78)

Наша публикация

Борис БАЛТЕР. Самарканд (38)

Поэзия

Константин СИГОВ (29), Галина СЕРГЕЕВА (29), Гинтарас ПАТАЦКАС (29), Виктор КУЛЛЭ (29), Юлий ГУГОЛЕВ (30), Андрей ТРУНЕВ (30), Рифат ГУМЕРОВ (31), Александр ПИНЯГИН (31), Владимир КАНОЩЕНКОВ (31), Дмитрий БЫКОВ (34), Виктория ГЕТЬМАН (34), Юлия ПИВОВАРОВА (35), Елена КАЗАНЦЕВА (35), Дмитрий БУШУЕВ (35), Борис КЛЕТНИЧ (36), Михаил БОЛОТОВСКИЙ (36), Людмила ЛИНЬКОВА (37), Евгений СЕЛЫЦ (37), Вадим КВАШНИН (37)

Публицистика

Владимир ТИХОНОВ: Землю — крестьянам! (2)

Игорь АЧИЛЬДИЕВ. Идол (50)

Андрей ФАДИН. Страх-2 (66)

20-я КОМНАТА. Заседание двадцать восьмое (70)

Критика

От редакции (75)

Л. ЛАЗАРЕВ. «Читаю мемуары разных лиц...» (82)

Культура и искусство

Борис ЗАБОЛОТСКИХ. Мстиславова грамота (60)

Олег КОРОТКОВ. «Мы только в самом начале пути...» (65)

Т. ЯБЛОНСКАЯ. Несколько слов о Серее Хаджинове (76)

Наука и техника

Иван КУНИЦЫН, Алексей НИКОЛАЕВ. Тяжела ли шапка... Минчермета? (88)

Почта «Юности»

Рандеву с Прекрасной Дамой (92)

Зеленый портфель

Муза ПАВЛОВА. Первый, второй (94). Игорь ИРТЕНЬЕВ. Иронические стихи (95). Миниатюры А. Нехорошева, Л. Котюкова, С. Евтушенко, В. Ладченко (96)

Оформление обложки А. Гусева
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цицевский
Технический редактор О. Трепенюк.

Сдано в набор 21.07.89. Подп. к печ. 31.08.89. А 13350.
Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,68. Усл. кр.-отт. 19,53.
Уч.-изд. л. 17,75. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 988. Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1. Тел. 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правда», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1989 г.

**Гурбангельды
ГУРБАНОВ**
г. Мары.



Из серии:
«Люди моего аула»

Мир образов туркменского графика Гурбангельды Гурбанова многолик и богат, как древний восточный базар, что раскинулся под окнами мастерской художника. Многофигурные, густонаселенные графические композиции Гурбанова, в которых реальные знаки бытия самым тесным образом переплелись с игрой фантазии и вымыслом, лишь на первый взгляд кажутся эклектичными. Пристальный взгляд и внутренняя свобода, глубокая, порой неожиданная мысль художника открывают нам всю глубину, драматизм и движение жизни, образующей причудливый, но единый и неразрывный круг. Этот круг график зашифровал на своеобразном изобразительном языке: мы неожиданно находим его в орнаменте туркменской кошмы, в остовах кибиток, в замкнутом пространстве караванной тропы верблюдов, всегда возвращающихся к исходной точке, в плавных линиях сыпучих барханов.

Все работы Гурбанова — рассказ о туркменской земле, о ее тружениках, для которых пустыня — дом и все окружающее дорого и близко, как стены дома. Одну серию рисунков художник так и назвал — «Люди моего аула». Его аул — огромный мир, Вселенная, Космос. Рождение, и краткий миг жизни, с неотвратимостью летящий в небытие, и смерть, и вечность — все вместе в этих листах.

На мой взгляд, Гурбанов сделал всего одно открытие: перенес центр притяжения Земли в родной аул. И его творчество зазвучало в полную силу. А помогла ему найти духовную точку отсчета проза Чингиза Айтматова. Прочитав в первый раз повесть «Белый пароход», Гурбангельды испытал потрясение, которое, как он считает, и родило в нем художника. Проза Айтматова стала главной темой творчества Гурбанова. Но в лучших графических листах цикла «Читая Айтматова» — а это не иллюстрации, нет — продолжают жить люди его аула...

Графические листы Гурбанова закладывают в себе замкнутый круг, подобный тому, по которому движется солнце.

Мая НОБАТОВА



АНОЖ

Дорогие читатели!

Наш журнал предполагает опубликовать в 1990 году следующие произведения:

Владимир АМЛИНСКИЙ. «В марте 53-го». Повесть.
Василий АКСЕНОВ. «Остров Крым». Роман.
Леонид БОРОДИН. «Случай». Повесть.
Александр ГРИН. Из наследия.
Лев КОПЕЛЕВ. Избранные страницы.
Владимир НАБОКОВ. Рассказы.
Марк АЛДАНОВ. «Убийство Троцкого». Рассказ.
Лев ТРОЦКИЙ. Из книги «Портреты революционеров».
Эдуард ЛИМОНОВ. Рассказы.
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Эссе и воспоминания.
Юрий ЩЕРБАК. «Голод на Украине в 30-е годы». Документальная повесть.
Георгий ГАЧЕВ. «Жизнь с мыслью» (исповедь).
Лев ТИМОФЕЕВ. «Моление о чаше». Документальная повесть.

Страницы произведений П. ФЛОРЕНСКОГО, В. РОЗАНОВА, А. ЛОСЕВА, Н. БЕРДЯЕВА.

Ле КАРРЕ. «Маленькая барабанищица». Политический детектив.

Стихи мастеров и молодых. Под рубрикой «Испытательный стенд» — экспериментальные публикации прозы и поэзии молодых.

Нам обещали свои новые произведения
А. АЛЕКСИН, Б. ВАСИЛЬЕВ, Г. ГОЛОВИН, М. ЖВАНЕЦКИЙ.

